

Станислав Свяневич

В ТЕНИ КАТЫНИ



В ТЕНИ КАТЫНИ

Stanislaw Swianiewicz

**IN THE SHADOW
OF KATYN**

**Translated from Polish and annotated
by Vitaly Abramkin**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1989**

Станислав Свяневич

**В ТЕНИ
КАТЫНИ**

**Перевод с польского и примечания
Виталия Абрамкина**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1989**

Stanislaw Swianiewicz: V TENI KATYNI
Translated from Polish and annotated by Vitaly Abramkin

First Russian edition published in 1989
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Originally published in Polish
under the title "W cieniu Katynia"
(Instytut Literacki, Paryz 1976)

Copyright © Stanislaw Swianiewicz, 1976
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1989

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 36 2

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Israel

*ПАМЯТИ МОЕЙ ЖЕНЫ ОЛИМПИИ
ПОСВЯЩАЮ Я ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ*

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY
UNION INTERNATIONALE DE CHIMIE PURE ET APPLIQUEE

ВСТУПЛЕНИЕ

Автор этих воспоминаний был одним из польских офицеров, интернированных в советских лагерях вблизи Катынского леса. 29 апреля 1940 года он был отправлен из Козельского лагеря вместе с группой примерно в 300 офицеров, которых ожидал расстрел. 30 апреля, на станции Гнездовая, где польских офицеров высаживали из поездов и направляли на экзекуцию в близлежащий Катынский лес, поручик Станислав Свяневич был отделен от товарищей и по приказу НКВД помещен сначала в Смоленскую тюрьму, а позже — в московскую Лубянку.

Автор описывает события, приведшие его в конце концов к Катынскому лесу, свою жизнь в советских лагерях и тюрьмах, где советские власти нашли возможным изменить его статус военнопленного на статус политического заключенного и даже предъявить ему обвинительное заключение и приговор. Далее судьба привела автора в польское посольство в Куйбышеве, где он работал с 1942 года и где, как и все сотрудники посольства, он пытался выяснить судьбу пятнадцати тысяч польских офицеров и полицейских, интернированных советскими властями, о судьбе которых они отказывались что-либо сообщить. Автор тогда был единственным человеком, показывавшим, каким путем надо идти, чтобы найти следы узников Козельского лагеря.

В конце книги автор пытается взглянуть на катынское преступление с современной позиции.

Во время независимости Польши автор постоянно был связан с виленским университетом, где он был сначала студентом, потом ассистентом, доцентом и профессором кафедры

политической экономии. Одновременно он был заведующим одного из отделов Института Восточной Европы в Вильно. Его можно считать одним из лучших польских специалистов по вопросам советской экономики.

В экономике его прежде всего интересовала система хозяйствования тоталитарных государств. Первая его большая научная работа была опубликована в 1926 — 1927 гг. в краковском "Экономическом и юридическом журнале" ("Czasopismo Prawnicze i ekonomiczne") и была посвящена теориям Жоржа Сорела, имевшим, как известно, огромное влияние на Муссолини. В 1930 году виленский Институт Восточной Европы издал его книгу "Ленин — экономист", которая и до сего времени еще доступна в библиотеках ПНР. Тем же институтом спустя четыре года была издана его новая книга, посвященная изучению экономики Советского Союза. А в 1938 году варшавский еженедельник "Политика" ("Polityka") издает в своей библиотеке его новую книгу "Экономическая политика гитлеровской Германии".

После отъезда из России автор некоторое время заведует Исследовательским бюро в Иерусалиме, организованным польским правительством в эмиграции. После войны он вновь возвращается к научной работе. Несколько лет он был во главе отдела экономики и торговли Польского университетского колледжа, созданного английским правительством специально, чтобы облегчить сражавшимся под английскими знаменами полякам поступление в Лондонский университет. Позже он получает должность старшего исследователя в Манчестерском университете, где занимается причинами снижения числа сельских популяций в Восточной Европе и в Азии. В 1956 году он выезжает в двухгодичную командировку от ЮНЕСКО в Индонезию. По возвращении в Англию автор получает пост исследователя в Экономической школе при Лондонском университете. В 1963 году автор переходит работать на кафедру экономики и статистики университета города Галифакс (Канада). В 1965 году издательство Оксфордского университета издает его книгу "Принудительный труд и экономическое развитие". Книга эта вызвала большой интерес во всем ми-

ре. В 1966 — 1968 годах он преподает в университете Нотр Дам в Индиане (США), а в 1968 году возвращается в Университет Святой Марии, который в 1973 году присваивает ему почетный титул пожизненного профессора.

Автор родился в северо-восточной части бывшей Речи Посполитой и получил образование в гимназии, в молодежных конспиративных кружках — увлекался польской романтической поэзией. Во время Октябрьской революции он был студентом Московского университета. Характерной чертой интеллигенции того времени был глубокий интерес к русской культуре и в то же время стремление освободить народы Российской империи. В 20-е годы такие люди горячо приветствовали теорию Йозефа Пилсудского о национальных федерациях, выступали за независимость Белоруссии и Украины и готовы были далеко пойти в вопросе Вильно и компромисса с Литвой. В самой Литве вопрос этот часто был связан с традициями Великого Княжества Литовского, бывшего по своей политике антироссийским. Это была не ненависть, но поиск независимого и мирного сосуществования. Люди этого круга были любителями поэзии Лермонтова и Пушкина, поддерживали контакты с русской интеллигенцией и прекрасно чувствовали себя в русском окружении. И это находит свое выражение в последней части книги, где автор пишет о своем беспокойстве, как будущие поколения поляков будут относиться к России, зная о катынском преступлении.

Мемуарная литература складывается из описаний о делах, событиях и людях, рассматриваемых и описываемых сквозь призму авторских индивидуальности и мироощущения. И нам представляется стоящим закончить вступление отрывком из статьи лондонского журнала "Экономист", которую он поместил в сентябрьском номере 1965 года и посвятил выходу книги "Принудительный труд и экономическое развитие":

"Профессор Свяневич был последним польским офицером, покинувшим Катынь перед массовым расстрелом. Будучи одним из ведущих советологов, он очень интересуется своими бывшими мучителями. Он был под следствием, судом и был приговорен к принудительному труду, но освобожден по так на-

зываемой польской амнистии. И это замечательное совпадение, что все эти переживания достались интеллектуально развитому человеку, образованному не только в экономике, но и в других областях культуры, и — главное — обладающему подлинной объективностью”*

* The Economist, September 4, 1965.

ГЛАВА I

НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ

ПОЛЬСКО-НЕМЕЦКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Лето 1939 года было наполнено толками о надвигающейся войне с Германией. Я очень не хотел этой войны и надеялся, что в последнюю минуту найдется какой-то компромисс.

Я принадлежал к поколению, которое активно участвовало в борьбе за польскую независимость. Еще перед Первой мировой войной, будучи школяром в русской школе, я уже участвовал в польских подпольных организациях. В последний период войны я был членом ПОВ — Польской военной организации¹, а позже, в 1919 — 1920 гг., служил в польской армии волонтером. Мы были первым поколением, добившимся независимости, в то время как четыре поколения до нас, хотя и оставили нам огромные богатства духовной культуры, знали только горечь поражения. Польша, образовавшаяся в результате борьбы в 1918 — 1920 гг., не отвечала полностью моим идеалам: я мечтал не о национальном государстве, а о республике, представляющей собой федерацию народов. Однако завоеванную независимость я считал величайшим благом и богатством, которым мы не имеем права рисковать, вступая в войну, которая в любом случае уже на первом ее этапе принесла бы нам поражение. Поэтому я и был убежден, что надо сделать все возможное, чтобы избежать войны.

Я был уверен, что уже с 1934 года, когда Гитлер начал осуществлять интенсивную программу довооружения, а особенно с момента милитаризации Германией Рейнской области

в 1936 году, что сильно затруднило огромные возможности для нас получения французской помощи, наши шансы отражения немецкой атаки были крайне невелики. Это следовало и из конфигурации наших границ, особенно с 1939 года, когда Гитлер захватил Словакию. В то время мы практически находились в немецких клещах. Другим доводом в моем сомнении в возможности отпора немецкой агрессии была разница наших промышленных потенциалов. Если бы каким-то чудом нам и удалось бы отстоять нашу Центральную промышленную область, наш выпуск стали, а следовательно, и наши возможности производства основных видов вооружения все равно были бы несравнимы с потенциалом Германского Рейха.

В 1938 году редакция варшавской газеты "Политика" ("Polityka") в своем приложении "Библиотека политики" издала мою книгу "Экономическая политика гитлеровской Германии", которую я написал не только на основе изучения публикаций на эту тему, но и на основе своих наблюдений в поездках в Кенигсберг, Берлин, Кельн и Гамбург. Так что я неплохо ориентировался в немецком военно-промышленном потенциале.

Третьим доводом моего сомнения было убеждение, что любое наше вступление в войну на Западе одновременно будет означать занятие наших восточных территорий Россией. Естественно, я не мог предсказать, на каком именно этапе войны и под каким предлогом Советский Союз займет наши земли: то ли как враг, то ли как "друг", то ли как союзник Германии, то ли, что тоже было возможно, как умиротворитель Запада. Безусловно, это будет зависеть от конкретных условий. Я также нисколько не сомневался, что вступление Советской России в наши восточные воеводства будет означать для них конец существовавшему там польскому влиянию и отрыв этих территорий от Польши. В то же время я не был против передачи этих воеводств независимым Украине и Белоруссии, если бы такие существовали, но не видел смысла в передаче их Советскому Союзу.

Я также не был сторонником сохранения на наших восточных территориях польской власти, но, с другой стороны, я знал, что имения и усадьбы там часто были местами, где

веками накапливались огромные сокровища культуры и искусства, что там были прекрасные библиотеки, свидетельствующие о богатстве мысли и духовных исканиях минувших поколений. Я не сомневался в необходимости экономического переустройства, и особенно — переустройства в аграрной сфере, но желал, чтобы происходило это поэтапно, либо так, чтобы не нарушались те завоевания цивилизации, которых достигли литовская и русская шляхта в своем слиянии с польской культурой и польским образом жизни. Я верил, что эти завоевания культуры могли стать важным элементом возрождения украинского, белорусского и литовского народов, которым, в моем понимании, принадлежало будущее на восточных землях бывшей Речи Посполитой. Советское же вторжение на эти земли уничтожило бы те центры культуры и ту возможность свободного развития украинцев и белорусов, за которые боролись мои друзья, группируясь вокруг газеты "Курьер Виленски" ("Kurier Wilenski"). Этот страх перед восточным колоссом заставлял нас быть осторожными и в нашей западной политике.

Мое убеждение, что в тогдашней ситуации любое столкновение с Германией могло бы быть для нас катастрофой, отнюдь не было результатом эмоционального восприятия обстановки, а было основано на здравом анализе. Были и другие — хотя их было немного, — которые мыслили подобно мне. Приведу тут имена редактора виленской газеты "Слово" ("Słowo") Станислава Мацкевича, молодого публициста из "Политики" Адольфа Бохеньского и Вацлава Збышевского, который в то время часто приезжал в Вильно. Или, скажем, Владислав Студницкий, который на протяжении многих лет пропагандировал союз с Германией. Люди, мыслившие подобным образом, однако не имели реального влияния на внешнюю политику и не представляли интересы какой-то большой группы.

Стремление к пониманию часто приводит к компромиссу. Германские устремления, поддерживаемые всеми партиями, как, например, возвращение Данцигского коридора², были прекрасно видны левым кругам на Западе, в том числе и во

Франции. В 1928 и 1929 гг. я провел довольно много времени во Вроцлавском институте Восточной Европы, где писал свою книгу о Ленине как о экономисте и одновременно старался как-то участвовать в планах создания в Вильно аналогичного института. Я часто встречался с нашим консулом Раковским, жизнь которого там нельзя было назвать легкой. Бывал я и в его гостеприимном доме, где узнал о тех проблемах, которые приходилось решать нашим консулам в Германии. В основном это были трудности транзитного провоза грузов и пассажиров через польскую территорию в Восточную Пруссию, вызванные полным отсутствием четких правил транзитного передвижения. Раковский был уверен, что в интересах Польши необходимо поставить дело таким образом, чтобы немцы в своих поездках вообще не ощущали существования Коридора. Тогда я впервые услышал концепцию возможности дать Германии право на строительство в Коридоре экстерриториальной железной дороги и экстерриториального же шоссе. Как я тогда понял, проект этот предлагался Польшей и отвечал интересам обеих сторон. Раковский вовсе не поддерживал этот проект безоговорочно, но он считал, что идея эта должна быть более продумана и взвешена.

* * *

Уже после войны, в Лондоне, Стефан Тышкевич, некогда основатель и председатель Польской дорожной лиги (*Polska Liga Drogowa*), рассказал мне, что во второй половине 30-х годов существовал созданный польскими инженерами проект автострады и моста, который предлагалось построить над так называемым Данцигским Коридором. Тышкевич сообщил о проекте В. Годту, отцу германской программы строительства автострад. Последний, по словам Тышкевича, отнесся к проекту с большим энтузиазмом. Предполагалось, что большую часть расходов по осуществлению проекта возьмут на себя немцы. Кроме того, строительство подобной автостра-

ды обеспечило бы работой несколько тысяч польских безработных. Это было бы своего рода привнесением на польскую землю германской программы "Arbeitsbeschaffung" — кампании по обеспечению всеобщей занятости, в проведении которой сам Тодт играл не последнюю роль. С военной же точки зрения проект не представлял какой-либо опасности — ведь в случае войны мост легко мог быть заминирован и взорван нажатием одной кнопки. Тышкевич, как и консул Радовский, считал, что необходимо сделать все возможное, чтобы немцы не ощущали самого факта существования Коридора, отделявшего Восточную Пруссию от Рейха. Однако, когда Тышкевич представил проект заместителю министра путей сообщения Пясецкому, тот его сразу же отверг по чисто эмоциональным причинам.

Когда спустя пять лет, в 1934 году, маршал Пилсудский подписал с Гитлером пакт о ненападении сроком на десять лет, я воспринял это как большое достижение нашей дипломатии. Пакт был подписан в то время, когда велись оживленные переговоры о так называемом "Договоре Четырех" (Франция, Англия, Италия и Германия), который в конечном итоге должен был умерить германские аппетиты за счет Польши. Подписав пакт о ненападении, Пилсудский фактически торпедировал заключение Договора Четырех. Помимо того, подписание пакта о ненападении означало прекращение возврата Польшей немецкого имущества Рейху. Еще со времен Веймарской республики, как я уже упоминал, на первое место традиционно ставили вопрос ликвидации Коридора. Выдвигались Германией и другие претензии: ликвидация препятствий для объединения с Австрией, присоединение к Рейху чешских территорий, заселенных немцами, снятие военных ограничений, наложенных на Германию Версальским договором, и получение колоний. Конечно, пакт о ненападении не снимал немецких претензий по вопросу о Коридоре, но он все же давал десять лет для поиска компромисса и для подготовки общественного мнения в обеих странах для принятия этого компромисса. Вскоре после описываемых событий, как известно, маршал Пилсудский скончался.

В середине тридцатых годов я имел обыкновение выезжать на конные прогулки в окрестности Вильно со Станиславом Мацкевичем. Во время этих прогулок Мацкевич часто говорил мне о своем беспокойстве: министерство иностранных дел практически ничего не делает для ликвидации причин возможного вооруженного конфликта с Германией. Мацкевич был готов пойти на большие уступки в вопросе Гданьска (Данцига). Я же со своей стороны развивал концепцию Раковского и искренне верил, что она может привести к компромиссу в отношениях с Германией. Мацкевич также не уставал повторять, что политика нашего министерства иностранных дел, руководимого Йозефом Бекком, наполнена противоречиями, не поддающимися какому-либо логическому объяснению. И в самой Польше, и за ее пределами Бек воспринимался как представитель пронемецкой линии. На международной арене, и в особенности — в Лиге Наций, он проводил политику, облегчавшую Германии достижение своих целей. В то время, когда все наше общество старалось найти возможности компромисса в переговорах с Германией, МИД изо всех сил старался подорвать саму идею этих попыток. По убеждению Мацкевича, польско-немецкие отношения были наполнены множеством неучитываемых факторов. И если мы хотим избежать катастрофы, надо приложить все силы к тому, чтобы и поляки и немцы научились понимать точки зрения друг друга. Наш МИД же шел на контакты с Германией в сферах высокой дипломатии, полностью отвергая идею увеличения контактов между общественностью.

В точности оценок и прогнозов Станислава Мацкевича мне еще предстояло убедиться. Весной 1936 года (хотя могло это быть еще и в 1935 году — точно не помню) мне позвонил ректор университета профессор Витольд Станевич и сообщил, что он получил из министерства иностранных дел информацию, что вскоре в Вильно приезжает группа из примерно сорока студентов из кенигсбергского университета. Руководит группой молодой профессор экономики Теодор Оберлен-

дер. Он попросил меня встретить гостей и представлять виленский университет, так как сам он в это время будет в отъезде. Профессор Станевич добавил, что не хотел бы связывать себя различными возможными выступлениями, которые могут быть неверно поняты, а ведь он — бывший министр правительства маршала Пилсудского, положение обязывает быть осмотрительным. Кроме того, миссия моя не будет трудной — администрация нашего университета возьмет на себя размещение и заботы о транспорте для группы. Признаться, я был слегка ошарашен этим предложением. В моем понимании положение мое было недостаточно высоко, чтобы представлять университет. В то время я даже еще не был профессором, а всего лишь доцентом и заместителем профессора, который совмещал свою научную деятельность с постом министра имуществ. Хотя, с другой стороны, я был в нашем университете чем-то вроде эквивалента профессора Оберлендера, если смотреть с профессиональной точки зрения. Я уже имел несколько печатных работ, одна из которых была довольно благосклонно оценена в германских издательствах. И тем не менее среди виленских профессоров я считался мальчиком. Хотя сам Оберлендер, получивший степень профессора уже после прихода Гитлера к власти, был моложе меня.

Я постарался сделать все, чтобы Вильно произвело на гостей прекрасное впечатление: мы показали все памятники истории Великого княжества Литовского, свозили их в Трокайский замок, преподнесли в подарок издания Института Восточной Европы, разместили их в прекрасных комнатах и обеспечили прекрасным питанием в университетской столовой. Кроме того, гости имели возможность беспрепятственного контакта как со студентами университета, так и со слушателями Школы политических наук, которая в то время существовала при Институте Восточной Европы. Старших участников группы я пригласил к себе домой на Антокольскую, где моей жене удалось создать приятную атмосферу во время обеда. А по аппетиту гостей я понял, что талант нашей белорусской кухарки был опенен по достоинству.

Также я съездил с ними на кладбище немецких солдат, погибших в Первой мировой войне. В то время при Воеводстве был специальный отдел, занимавшийся уходом за могилами воинов, и кладбище в Закренчи, окруженное со всех сторон лесом, содержалось в образцовом порядке. Над каждой могилой был поставлен крест с табличкой, на которой были написаны имя, фамилия, звание и номер части, в которой служил погибший. Могил на кладбище было несколько сотен. Гости построились у могил в две шеренги и по команде отсалютовали погибшим, подняв, по гитлеровскому обычаю, правую руку, мы же, поляки, сняли шляпы. Некоторые из гостей были сильно растроганы. В этой части программы визита мы постарались показать гостям рыцарские качества польского народа, который может уважать солдат несмотря на то, что в последние годы войны Польская войсковая организация воела с ними.

Оберлендер постоянно подчеркивал свою принадлежность к национал-социалистической партии, членом которой он был еще до получения степени профессора. Я же со своей стороны также пользовался каждым удобным случаем подчеркнуть свое скептическое отношение к любому крайнему национализму и свою привязанность к идеалам, которые освящали нашу борьбу за независимость в прошлом столетии. Тем не менее мы оба соглашались, что, коль скоро Гитлер и Пилсудский подписали пакт о ненападении, нашей обоюдной задачей является не только понять друг друга, но и передать такой подход в германо-польских отношениях нашим студентам. В то же время не были мы и сторонниками абстрактного пацифизма. А как экономисты двух наиболее восточных в наших странах университетов мы часто беседовали о возможностях экономического сотрудничества в нашем регионе. Профессор Оберлендер как раз в то время подготовил к печати свою книгу о перенаселении сельских районов Польши. Я же собирал материал для работы по изучению методов Шахта по финансированию ликвидации безработицы. Оба мы согласились, что экономисты Вильно и Кенигсберга должны поддерживать между собой постоянный контакт.

В начале следующего года я получил из Кенигсберга письмо с приглашением мне и моим студентам посетить кенигсбергский университет. В письме также сообщалось о возможности включения в программу нашего ответного визита посещения исторических мест Восточной Пруссии. Перед тем как написать ответ, я поехал в Варшаву, чтобы узнать отношение МИДа к подобной инициативе. Там я беседовал с несколькими крупными чиновниками западного отдела. Из этих бесед я понял, что министерство иностранных дел не имеет ничего против поддержания мною контактов с кенигсбергским университетом, но оно определено против поездки туда студентов. Насколько я смог понять, господа из МИДа всячески хотели избежать любой возможности "братания" польских и немецких студентов. Мое же мнение было совершенно противоположным: наибольшая опасность в польско-германских отношениях была не в том, что было трудно прийти к соглашению на всех уровнях, а в спонтанно рождающейся враждебности в народах по обе стороны границы. И именно тут надо было что-то предпринимать. Единственное, что меня утешало после поездки в Варшаву, — что не все моменты политики мне известны, и оттого, возможно, не все в действиях Йозефа Бека мне понятно.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ГЕРМАНИИ

В конечном итоге я отправился в Кенигсберг сам и на собственный счет. Основной целью поездки я считал знакомство с работами Института экономики Восточной Европы (Institute für Osteuropäische Wirtschaft), главой которого недавно стал профессор Теодор Оберлендер. Эта моя недельная поездка дала мне много информации о польско-германских проблемах так, как они в то время представлялись. Жил я на частной квартире нашего консула, которую он занимал в здании консульства. Это был довольно пожилой господин, в возрасте около 50 лет, который еще перед Первой мировой войной имел адвокатскую практику в Гданьске. Позже он

уехал в Америку и некоторое время был секретарем Падеревского³. На устроенном им ужине для сотрудников консульства я узнал об оживленной иммиграции молодых немцев из Восточной Пруссии в Западную и Южную Германию. По их словам, население Восточной Пруссии в результате этого довольно существенно уменьшилось. Германское правительство пыталось, но не очень успешно, остановить миграцию, направляя в Пруссию множество дешевых кредитов. Консул просил меня постараться узнать, чем в действительности занимается Институт экономики Восточной Европы. Сам он, несмотря на свои большие связи, узнать этого так и не смог. Сейчас, живя в Канаде, я, к сожалению, не могу припомнить фамилию этого господина.

Мои гостеприимные хозяева сделали в мою честь три приема. На одном, официальном, присутствовало несколько профессоров экономики и проректор университета. Мне объяснили, что ректор не смог присутствовать из-за участия в армейских сборах, — черта сама по себе немало характеризующая германский милитаризм. Дело в том, что профессора, которые из-за своего возраста или других причин не смогли участвовать в Первой мировой войне и не имели воинских званий, регулярно призывались на армейские сборы, где они получали войсковую подготовку, и только после этого могли рассчитывать на подтверждение своего профессорского звания. Но лишь после следующих, более продолжительных сборов им присваивались офицерские звания. Другой прием проходил в доме профессора Оберлендера, где я познакомился с его молодой и очень милой женой. Третий — был ужин у дочента Петера-Ханса Серафима, на котором царил дух товарищества. На последнем были не только родители хозяина — отец его несколько лет, еще до Первой мировой войны, преподавал немецкий язык в Митаве, в Латвии, — но и несколько немцев из российских прибалтийских областей. В основном это были пожилые люди, они говорили мне о давней традиции братства между поляками и немцами — жителями российской Прибалтики. Ну а поскольку я родился в бывших польских Инфлантах, мы быстро нашли несколько общих зна-

комых, бывших перед Первой мировой войной приятелями моей матери.

Во время моего пребывания в Кенигсберге туда приехал Гитлер, и у меня была возможность посмотреть на него вблизи. Как и при первой встрече с гитлеровцами во Вроцлаве, моей первой реакцией был довольно юмористичный настрой. И только вид полных энтузиазма толп народа наполнил меня страхом. Толпы эти хорошо иллюстрировали массовый психоз. Видя патологический экстаз, охвативший народ, славившийся своей работоспособностью и огромными техническими и организационными талантами, я с тревогой думал о будущем Европы.

Основным выводом моего знакомства с работами Института было то, что главное место в них занимает изучение экономики транспорта в Коридоре. Хотя, надо признаться, мои хозяева не были склонны излишне информировать меня о подробностях своих работ. У меня сложилось впечатление, что они, обрабатывая статистические данные, готовят предложения для будущих переговоров с Польшей о ликвидации конфликта или аргументы для решения конфликта путем давления на нас. Я задумался, проводит ли кто-либо у нас подобное изучение вопроса. Ведь если бы мы начали переговоры о транзите через Коридор, наша делегация должна была бы быть вооружена достаточным количеством статистического материала. То же, что такие переговоры рано или поздно должны проводиться, вытекало из самого факта подписания пакта о ненападении с Германией.

Возвращался я из Кенигсберга по второразрядной железной дороге через Граево и Бялосток, так как более прямая дорога Вильно — Ковно — Кенигсберг была безжизненна из-за закрытой литовской границы. В дороге я размышлял о будущем всего этого региона, охватывающего Восточную Пруссию, Литву и польские области Вильно и Гродно. Мне казалось, что по исторической и географической причинам логично было бы связать весь этот регион единой экономической программой. Хотя разрыв в экономическом развитии отдельных частей региона был огромен. В Восточной Пруссии я наблю-

дал оживление строительства, у нас же — стагнация и ма-разм. Казалось, время в ближайшие годы работает против нас. С другой стороны, у нас наблюдался динамизм в росте населения, в то время как в Восточной Пруссии, несмотря на искусственный динамизм кредитования и финансирования, темпы естественного прироста населения явно снижались с каждым годом. Логично было предположить, что наши голо-дранцы способны восполнить эту пустоту в случае какого-то катаклизма, предвидеть причины которого никто не был в силах. Но я опять-таки был убежден, что мы должны стараться избежать катаклизма. Прежде всего, чтобы сохранить недавно полученную независимость. Во-вторых, как и каждый отец, я хотел, чтобы дети мои успели подрасти и встать на ноги до того, как наступят тяжелые времена.

В начале 1937 года я получил в университете отпуск на несколько месяцев и вновь отправился в Германию. На этот раз в Берлин, Гамбург и Кельн. Однако поездка не сильно повлияла на перерыв в моих лекциях. Вскоре после моего отъезда по стране прокатилась новая волна еврейских погромов. Инициаторы этих погромов, в частности, потребовали от ректора нашего университета издать распоряжение, по которому студенты из национальных меньшинств должны были на лекциях сидеть по левой стороне зала, оставляя правую свободной для представителей национального большинства. Характер этого требования прекрасно иллюстрирует моральный и интеллектуальный уровень, до которого опустились молодые польские интеллигенты в последние предвоенные годы.

Целью этой новой моей поездки было изучение неортодоксальных методов, которыми Ялмар Шахт, старый и опытный банкир, председатель Рейхсбанка, имевшего мало общего с гитлеровской мистикой, смог после прихода Гитлера к власти организовать финансовый механизм, приведший к увеличению производства и ликвидации безработицы. Незадолго до того, в 1936 году, вышла в свет книга Дж. М. Кейнеса "Общая теория рабочих мест. Капитал и деньги" (J. M. Keynes. "The General Theory of Employment, Capital and Money"),

которая как бы теоретически иллюстрировала финансовую политику Шахта. Буквально через несколько месяцев после выхода книги в Германии были опубликованы два ее перевода. Для одного из них Кейнес написал специальное вступление, которое подтверждало приведенную мною выше мысль.

Благодаря очень благоприятным отзывам обо мне из Кенигсбергского университета, я был встречен с распростертыми объятиями их коллегами в Кельне. Мне сразу же сказали, что если мне потребуются какие-либо материалы о политике Шахта из институтского архива, они мне будут немедленно предоставлены. Я с головой окунулся в дискуссии по эпохальной книге Кейнеса, хотя, честно говоря, и не до конца еще понимал все тонкости его теоретических построений. Отход от классической теории экономики в Германии того времени всегда был шумным, но не всегда достаточно серьезным. Тем не менее, некоторые профессора экономики в результате всего этого потеряли кафедры. Во время моего пребывания в Кельне сотрудники института устроили на пивном вечере суд над homo economicus, т.е. над психологическим типом человека, которого классическая экономика считала основополагающим элементом своих теоретических построений. Этот несчастный, который еще недавно заставлял попотеть на экзаменах, был осужден на смерть, и кукле, представлявшей homo economicus, публично и при всеобщем одобрении была отсечена голова. Результатом моих работ в Кельне стала книга "Экономическая политика гитлеровской Германии", изданная в 1938 году в библиотеке газеты "Политика", которую редактировал тогда Ежи Гедроиц.

* * *

В Кельне я нашел комнату в доме вышедшего в отставку флотского инженера. Жил он со своей дочерью — старой де-вой. Вторая его дочь была довольно известной гамбургской оперной певицей. Его жена, чтобы оберегать достоинства этой второй дочери, также переехала в Гамбург. Таким об-

разом, в квартире образовалось достаточно свободного места, чтобы принять двух квартирантов: одним был капитан только что начавшей создаваться военно-морской авиации, вторым — я. Комнаты наши примыкали одна к другой. Наша хозяйка ежедневно около восьми вечера приносила кофе моему соседу и чай мне, оставаясь ровно по полчаса в наших комнатах. При этом она постоянно развивала свою идею — проблему разрушения христианских традиций в нашей жизни и способе мышления. Хозяйка наша была поклонницей Матильды Людендорф, супруги генерала Людендорфа, который был во время Первой мировой войны начальником штаба у Гинденбурга, а в двадцатые годы поддерживал национал-социалистическое движение. Доктор философии Матильда Людендорф написала книгу, пропагандирующую возрождение языческих культов древних германцев, христианство же в этой книге преподносилось не иначе как творение еврейского духа. Я называл нашу хозяйку "языческой девчушкой". Хозяин квартиры как-то сказал мне, что его одолевает ностальгия по тем счастливым временам, когда в здании Института мировой экономики (Institut für Weltwirtschaft) располагалось уютное казино императорского флота. В доме его была довольно обширная библиотека, которой мне было позволено свободно пользоваться. Как-то я нашел в ней "Будденброков" Томаса Манна. Когда мой хозяин увидел эту книгу в моих руках, он попросил меня ее выбросить, потому что она ein schmutziges Buch*. Томас Манн в то время уже был запрещен в гитлеровской Германии.

Такая атмосфера была в Кельне, в Гамбурге было несколько иначе. Гитлер там был намного менее популярен. Мне запомнился случай, когда в отель вошел какой-то приезжий и обратился к портье с нацистским приветствием: "Heil Hitler!" Портье со спокойным видом ответил ему традиционным "Guten Morgen" и начал после этого выяснять, есть ли свободные номера.

Несколько раз я расспрашивал знакомых экономистов — как

*грязная книга (нем.).

тех, что занимаются наукой, так и публицистов, — об их отношении к гитлеровскому антисемитизму, явлению, которого и в помине не было в итальянском фашизме. Казалось, что они считают антисемитизм нонсенсом или, во всяком случае, сильным перебором. Однако они что-то там пытались доказать о захвате евреями банковского дела и заводов, ссылались на работы Вернера Сомбарта. Складывалось впечатление, что они стараются как-то смириться с этим, ведь как никак, а антисемитизм — часть системы, которая, в отличие от классических экономистов, смогла побороть безработицу. Те из них, что вступили в национал-социалистическую партию, приспособились к этому пункту программы — борьбе с еврейством — без особого энтузиазма. Да и трудно себе было в то время представить, что из всего этого скоро возникнут печи для сжигания людей.

Из бесед, которые были у меня в Кельне, особенно запомнились несколько часов, проведенных с руководителем Гитлерюгенда* земли Шлезвиг-Голдштейн. Он как раз вернулся из Франции и с пренебрежением говорил о французах, которых считал разлагающейся нацией безо всякой воли к какому бы то ни было серьезному участию в жизни Европы. И мне трудно было с ним до некоторой степени не согласиться. Это был 1937 год, а всего за год до того немцы без единого выстрела заняли Рейнскую область, на что не имели никакого права ни по Версальскому договору, ни по подписанному Штресеманном⁴ Локарнскому договору 1925 года⁵. Безусловно, оккупация Рейнской области затрудняла оказание Францией помощи Польше и Чехословакии в случае агрессии против них. Характерно, что этот французский подарок, фактически спасший положение Гитлера, был воспринят молодыми национал-социалистами скорее с пренебрежением, чем с пониманием. Этот паралич воли француз-

*Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация в гитлеровской Германии, занимавшаяся воспитанием молодежи в духе национал-социализма. Была разделена на юношескую и девичью секции. (Прим. переводчика.)

ского правительства в вопросе милитаризации Германии немало сделал для создания убежденности у немцев, что какой бы то ни было отпор со стороны западных держав агрессивным планам Гитлера очень маловероятен.

Любопытно, что многие гитлеровцы в разговорах со мною часто признавались, что они хотели бы иметь на своей стороне в их действиях по переустройству мира только два народа — поляков и югославов, ибо это — народы-воины. Правда, это было время, когда отношения Германии с Польшей были много лучше ее отношений с другими странами. Пожалуй, даже лучше отношений с Италией — ведь Гитлер считал для себя первостепенной задачей вопрос аншлюса Австрии, а Италия этого очень опасалась. Да и сам маршал Пилсудский был очень популярной фигурой в Германии, где помнили, что во время Первой мировой войны предводительствуемые им легионы воевали против России, и где все еще свежа была память о его комплиментах в адрес германской армии, высказанных в Женеве в Лиге Наций. Видимо, все это вызвало некоторую растерянность у Штресеманна, основой политики которого было избегание любого упоминания о немецком милитаризме.

Перед самым отъездом из Германии я заехал в Берлин, где был приглашен на Vierabend (вечеринку с пивом), организованный ректором Берлинского университета в честь моей лекции о польской аграрной политике. На этом вечере, куда также был приглашен наш посол в Берлине Липский, я сидел рядом с майором немецких ВВС. Он мне напоминал чем-то ветерана Первой мировой войны. Я его спросил, чем вызван его интерес к аграрным вопросам. На что он ответил, что на вечере представляет геринговское министерство авиации и что они у себя в министерстве сейчас интенсивно изучают территории Восточной Европы. От этих слов мне почему-то сделалось не по себе. Позже, во время сентябрьского наступления, проходя по разгромленному немецкому аэродрому, я живо припомнил себе эту нашу беседу.

Общая черта Германии того времени, с первой же минуты бросавшаяся в глаза, — огромное число людей в мундирах,

причем не только военных, но и членов и сотрудников различных партийных учреждений. Очень часто можно было увидеть на вокзалах группы мужчин среднего возраста, с выпирающим брюшком — коричневые форменные нацистские рубашки особенно подчеркивали это, — отправляющихся на очередные военные учения. Мой коллега, виленский еврей, долгое время живший в Берлине и встреченный мною потом в Вене, как-то сказал мне, что особую радость немцам доставляет марширование строем и безоговорочное выполнение команд, безо всякого их осмысления. Мне эта черта немецкого характера представлялась каким-то извращением, превращением из живого человека в послушный автомат. Русского надо запикивать в строй, немец спешит в него по доброй воле. Гитлер предоставил немцам замечательную возможность сколь угодно заниматься этим извращением. Конечно, прежде всего эти мои выводы относятся к пруссакам, западных и южных немцев я наблюдал гораздо меньше. Пожалуй, методы Фридриха Великого оставили следы на многих поколениях немцев; и поныне в Германской Демократической Республике процветает любовь к традициям прусской муштры и коллективных гимнастических упражнений.

Некоторые социологи, как, например, Александр Герц, часто приезжавший с лекциями в Виленскую школу политических наук, утверждали, что психологический климат в Германии неминуемо приведет к войне. Станислав Мацкевич, часто ездивший в Германию и имевший широкие контакты в разных слоях германского общества, вынес из своих поездок убеждение, что Гитлер ищет малой войны, чтобы как-то разрядить психологический климат и умиротворить нацию малым кровопусканием. Хотя, с другой стороны, простые немцы войны не хотели и даже боялись ее — слишком еще свежи были воспоминания о тех тяготах и лишениях, что принесла им Первая мировая война.

Уезжал я из Германии тридцать седьмого года с ощущением, что страна эта, пребывающая в истерическом состоянии, принесет миру еще один сюрприз, но война, и особенно война польско-германская, не представлялась мне неизбежно-

тью. Но неожиданности сулил сам строй, возникший в Германии после национал-социалистического переворота. Гитлер создал то, что Жорж Сорел⁶ называл *социальным мифом*, т. е. образ социальных и политических перемен, активизировавших общество на мобилизацию производительных сил. Вопрос же о том, был этот образ реальным или бессмысленным, моральным или аморальным, не входил в круг изучаемых мною тогда экономических проблем. Акцент в моей книге, изданной вскоре после поездки, делался на факте проявления мобилизации производительных сил посредством создания мифа. Этим вопросом я занимался более серьезно на теоретическом уровне в своей докторской диссертации, посвященной психологической основе производства в учении Жоржа Сорела. Естественно, меня очень интересовало, какие последствия для мировой экономики мог иметь этот германский эксперимент. Если же говорить о политическом аспекте вопроса, которым я занимался более для души, то мне представлялось, что вероятность польско-германской войны после прихода Гитлера к власти скорее даже снизилась. Гитлер уже порвал с духом Рапалло, т. е. отошел от тихой военной кооперации с Советским Союзом, которая началась после подписания в апреле 1922 года в итальянском местечке Рапалло во время международной экономической конференции в Генуе советско-германского договора⁷. Выдвигая на первый план вопросы аншлюса Австрии и Судетской области и провозглашая лозунг борьбы с коммунизмом, Гитлер вытеснял на второй план вопросы о польско-германских границах. Это было еще одним поводом согласиться с Мацкевичем, что середина тридцатых годов — лучшее время для достижения договоренностей о транзите через Коридор и о статусе Гданьска. Достижение таких договоренностей помогло бы нам избежать вероятных конфликтов в будущем. Гитлер был еще слаб, чтобы разговаривать с нами с позиции силы, и это делало наше положение в переговорах более устойчивым.

Необходимо также помнить, что это именно Гитлер способ-

ствовал созданию массовой истерии в обществе, эмоциональный момент в его политике играл одну из первых ролей. Наша польская пресса, а особенно — левая пресса, читаемая широкими слоями народа, в основной своей массе имела антинемецкий настрой, а это только способствовало сохранению истерии в Германии. Если бы правительство задумало провести переговоры, как это следовало из заключения пакта о ненападении, нужно было бы хоть как-то, хоть на время приостановить публикацию антинемецких материалов в наших газетах. Наши же государственные чиновники, казалось, напротив, были вполне удовлетворены нарастающей снизу волной антинемецких настроений, которая все больше и больше охватывала наше мещанство, рабочих и университетскую молодежь. И подобное отношение чиновников оставалось для меня загадкой.

По возвращении я посвятил все свое свободное от занятий в университете время работе над книгой об экономике гитлеровской Германии. Из французских газет, иногда попадавших в мои руки, я сделал вывод, что на Западе все более склонны считать, что в случае войны помощь Польше, которая все еще была союзницей Франции, может быть оказана единственно при посредстве России. И Польше в этом случае следует согласиться на пропуск советских войск через свою территорию; некоторые польские франкофилы полностью соглашались с подобным подходом. Я же был убежден, маршал Рыдзь-Щмиглы⁸ никогда не согласится на пропуск советских войск. В любом случае нам всячески следовало избегать вооруженного конфликта с Германией, но не стоило и забывать, что перемирие с Пруссией во время восстания Костюшко⁹ тоже надежд не оправдало.

В будущем замаячил призрак нового раздела Польши; было два пути, ведущих к разделу. Первый — германо-советский военный союз, к которому, ссылаясь на дух рапалльского договора, призывали некоторые прусские генералы во главе с генералом фон Сектом, творцом рейхсвера после Первой мировой войны. Второй — союз России и западных держав против Германии. В первом случае Советы вошли бы на нашу

территорию как враги, во втором — как союзники, но конечный итог в обоих случаях был бы одинаков.

Задачи, вставшие перед нашей дипломатией, требовали огромных интеллекта и интуиции. Иногда мне казалось, ни Рыдзь-Щмиглы, ни Бек не отдавали себе отчета в той огромной ответственности, что легла на их плечи, а прятались от реальности за широкими жестами и пышными фразами. Я допускаю, Бек считал, что именно таким способом он выполняет заветы маршала Пилсудского. Я же считал, выход надо искать в создании союза стран Центральной Европы, в котором немцы — наиболее многочисленная и богатая нация — играли бы первую скрипку. Эта моя точка зрения было до некоторой степени отражением взглядов Владислава Студницкого, которые он излагал мне еще в студенческие годы. Но я и отдавал себе отчет в том, что, пока немцы одержимы гитлеровским психозом, они такой роли играть просто неспособны. Таким образом, в конкретной ситуации 1937 — 38 годов моя концепция могла иметь лишь чисто теоретический характер.

БЕЗУДЕРЖНАЯ ЭКСПАНСИЯ

В 1938 году международное положение менялось прямо-таки с калейдоскопичной быстротой. В марте произошел аншлюс, т.е. присоединение Австрии к Германии. Италия не могла противостоять этому из-за связавшей ей руки абиссинской авантюры¹⁰ и вынуждена была проглотить пилюлю. Об интервенции Франции или Англии не могло быть и речи из-за парализованной воли французского правительства и высшего военного командования. Я заметил методичное проникновение гитлеризма во все сферы австрийской жизни еще в 1935 году, во время своего пребывания в Вене, но никак не рассчитывал, что аншлюс пройдет так гладко.

В сентябре начался судетский кризис. Тогда же произошла и мюнхенская встреча глав западных держав с Гитлером, на которую главная заинтересованная сторона — чехи — не были

даже приглашены. Французы, подписавшие с Чехословакией договор о взаимопомощи, практически разорвали его, согласившись на передачу Судетской области Германии. В Англии парламент воспринял мюнхенские договоренности с огромным энтузиазмом и одобрением.

Наша же политика в то время была двоякой. Мы всячески старались во время распада Чехословакии получить область Заользе. Конечно, мы могли бы сделать это как-то менее обидным для чехов способом, но мы еще слишком хорошо помнили их действия, точнее полное бездействие, в 1920 году, когда Польша обливалась кровью в борьбе с большевиками, посланными Лениным на завоевание Европы¹¹. Вообще, могло сложиться такое впечатление, что наш МИД во время судетского кризиса имел какие-то договоренности с Германией, хотя мы и знаем теперь, что никаких договоренностей не было и в помине.

В дни судетского кризиса я не раз слышал по радио речи Гитлера, в которых он заявлял, что получение Судетской области — его последняя территориальная претензия в Европе. Это давало повод думать, что польско-немецкий территориальный вопрос, отложенный по подписанию пакта о ненападении до 1944 года, находится на пути мирного разрешения.

В марте 1939 года произошли события, которые испугали меня и других значительно сильнее аншлюса и Судетов. Это была прежде всего германская оккупация всей Чехословакии, проведенная вопреки недавним уверениям Гитлера. Другим событием была речь Сталина, которую было нельзя интерпретировать иначе, как открытое предложение к сотрудничеству с Гитлером. Мне казалось, что между этими двумя событиями существует некая связь.

Как только я узнал, что немецкие войска двигаются в направлении Праги, я сразу же позвонил профессору Витольду Станевичу и спросил, как он видит ситуацию. Он мне ответил, что происходящее — это, безусловно, подготовка к каким-то военным акциям, но еще не совсем ясно, в каком именно направлении будет нанесен удар. Я был с ним совер-

шенно согласен; с оккупацией Чехословакии немцы становились полновластными хозяевами Центральной и Юго-Восточной Европы. Чехи из-за наличия великолепных предприятий Шкода были европейским центром производства вооружения и имели одну из лучших армий в Европе. Они практически полностью создали арсенал так называемой Малой Антанты, в которую помимо Чехословакии входили Румыния и Венгрия. Малая Антанта, хотя и направленная прежде всего против Венгрии, была тем не менее важным орудием в руках союзников, приобретенным Францией после Первой мировой войны и используемым ею для обеспечения невозможности возрождения германского милитаризма. Теперь же весь этот арсенал переходил в руки немцев. Я в своей книге о германской экономике привел достаточно информации о немецких устремлениях на Балканах и Ближнем Востоке. Теперь к экономическому превосходству Германии добавилось превосходство стратегическое. Тем самым миновало время, когда с Германией можно было вести переговоры на равных. Но помимо того, оккупация Чехословакии имела и еще одну сторону, которой, кажется, Гитлер и не ожидал, — резкое изменение общественного мнения в Англии, которое теперь считало, что войны с Германией не избежать и мюнхенское умиротворение ее было огромной ошибкой англо-французской дипломатии.

Событием, произошедшим почти одновременно с оккупацией Чехословакии, была речь Сталина на XVIII съезде ВКП(б). В этой речи наряду с разного рода "антифашистскими" заявлениями Сталин заявил о стремлении "некоторых кругов на Западе" подтолкнуть Гитлера на войну с СССР и выразил надежду, что дело до этого не дойдет, что нет причин для конфликта между Берлином и Москвой. Это походило на некое предложение: невозможно было представить произнесение подобной речи без проведения закулисных переговоров с Германией. "Дух Рапалло", казалось, уже погребенный расстрелом в 1937 году маршала Тухачевского*, вновь восстал к жизни.

*Имеется в виду, что маршал Михаил Тухачевский был арестован,

Вскоре после того английский премьер-министр Чемберлен сделал заявление о готовности Великобритании оказать помощь Польше, Румынии и Греции в случае нападения на них Германии, если последние выразят желание защиты своих независимости и границ. На мгновение показалось, шансы Польши на мирное урегулирование конфликта с Германией возросли: в своей книге "Mein Kampf" Гитлер считал ошибкой Германской империи вступление в войну с Англией. И если бы такие переговоры наступили бы, следовало быть готовым к компромиссу. Ответственность за принятие компромиссного решения могло взять на себя только такое правительство, которое опиралось на поддержку широких слоев польского общества. В Польше же правило легионерское правительство, не представлявшее даже интересов самих легионеров. Это была своего рода полудиктатура, опиравшаяся, с одной стороны, на армию, и с другой — на административный аппарат, организовывавший и обеспечивавший выборы в законодательные органы. И как это часто бывает в подобных случаях, правительство не принимало непопулярных решений. А какой бы то ни было компромисс с Германией был крайне непопулярен среди самых различных партий и течений: народных демократов, социалистов, народно-радикальной молодежи, еврейства, радикалов, католического клира и т. д. Но мне кажется, что, имея мы весной 1939 года коалиционное правительство, представители и народных демократов и социалистов, имея они полную информацию о положении в Центральной и Восточной Европе, имели бы достаточно чувства ответственности и здравого смысла, чтобы пойти на разумные уступки Германии перед угрозой неминуемой войны и оккупации страны. Сформирование такого правительства было прямой задачей президента Мощчицкого, но он в действительности был под безграничным влиянием советников из клики маршала Рыдзь-Щмигло.

осужден и расстрелян как немецкий шпион. Информация об этом была опубликована в приказе наркома обороны 13 июня 1937 года во всех советских газетах. (Прим. переводчика.)

В начале 1939 года, когда германское давление в вопросе о Гданьске и шоссе к Поморью сильно возросло, я рассказал Мацкевичу о своей идее коалиционного правительства, но он воспринял ее довольно холодно. Он вообще был трезво мыслящим и логичным, когда дело касалось критики, но моментально терял эти свои способности, когда требовалось выдвинуть какое-либо позитивное предложение. Я часто жалею, что не опубликовал тогда статьи с описанием своей идеи. Не уверен, что она могла бы что-то изменить, но я хотя бы имел оправдание в глазах сегодняшних историков.

ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ НАД ПОЛЬШЕЙ

Министр иностранных дел отправился в Лондон на подписание договора о военном союзе с Англией. И так случилось, что в той же радиопередаче, что сообщила о переговорах Бека в Лондоне, было сообщение и о самоубийстве Валери Славек. Не думаю, что между двумя этими событиями была какая-то взаимосвязь, но в моей памяти они остались одним целым, предзнаменованием грядущего катаклизма. Не надо это понимать, что я был противником польско-английского союза. Наоборот, я всей душой его приветствовал и был убежден в необходимости подписания такого договора. Просто самоубийство Славек принесло мне интуитивное ощущение витающей в воздухе катастрофы.

Валери Славек — рыцарская натура, старый боевик ППС¹², целью всей жизни которого было вернуть блеск и независимость Речи Посполитой, нынешней Польше, ближайший друг Пилсудского, свято веривший в его гений, двукратный премьер-министр, которому все пророчили в ближайшем будущем пост президента, — застрелился в своей варшавской квартире, оставив в запечатанном конверте письмо к президенту Моццицкому. Содержание письма так никогда и не было оглашено. Насколько мне известно, Славек не видел проблем во внешней политике и полностью доверял Беку. Скорее всего поводом к сделанному им шагу была внутренняя политика.

Хотя, с другой стороны, почему он для своего самоубийства выбрал именно тот день, когда в Лондоне подписывался такой важный для нашей страны документ, как договор о военном союзе с Великобританией, этого я никак не могу понять.

Люди, близко знавшие Славека, уверяли, что его в последнее время преследовало ощущение надвигающегося катаклизма. Дескать, перед смертью маршал Пилсудский оставил ему некие поручения в обеспечении безопасности Польши, Слаvek же не смог их выполнить и поэтому застрелился. И, честно говоря, эти разговоры казались мне правдоподобны. Кроме нескольких коротких встреч, мне выпало в начале тридцатых годов провести вечер в беседе со Славеком. Беседа эта дала мне возможность понять его стиль мышления. Это был ужин, на котором помимо хозяев дома было еще шесть персон: тогдашний премьер Януш Енджиевич, два экс-преьера — Слаvek и Александр Престор, мой приятель, доцент истории права виленского университета Северин Вислоух и довольно известный предводитель радикального крыла виленской молодежи Хенрик Дембинский. Мы провели больше четырех часов в беседах на самые различные темы.

Однако, пожалуй, лейтмотивом нашей беседы был вопрос: куда идет Польша? Внешнеполитическое положение в то время в общем-то не давало поводов к беспокойству, и казалось, что извращенный принцип выборов правящей верхушки внутри страны — вот что беспокоило и занимало Славека. Он говорил, что после мая 1926 года главной задачей законодательных органов должна быть выработка новой конституции, чтобы после смерти маршала Пилсудского Польша могла жить по принципам этой конституции. Он высказал также точку зрения, что политические партии не самое важное, ибо польское общество должно жить в правовом обществе после выработки и принятия конституции. Он несколько раз повторил эту фразу: *"Польшей будет править Закон"*. На мой взгляд утопичность такого подхода была в том, что прежде всего для создания правового государства необходимо воспитать в людях уважение к закону, у нас же происходило

нечто противоположное. Наша администрация всячески обходила закон и законность, преследуя благую в общем-то цель — создать в результате выборов правительство, способное к созданию и принятию новой конституции. Предположение же, что политические партии постепенно отойдут на второй план и исчезнут вообще, также, пожалуй, было утопией — ведь ни Пилсудский, ни сам Славек не хотели создания тоталитарного режима. И мне кажется, новая конституция не означала начало процесса разложения политических партий, но подводила нас к новым рамкам и методам политической жизни. Ну и кроме того, всех трех участников беседы — членов правящей верхушки — очень волновал вопрос: кому, какой молодежи им предстоит передать бразды правления государством? Общее ощущение после той беседы у меня сложилось такое, что верхние эшелоны власти, а с ними и вся страна, входят в какой-то мрак, тупик. Кажется, Славек тоже чувствовал нечто похожее.

Славек был наиболее уважаемым исполнителем различных проектов Пилсудского по созданию федерального подобия былой Речи Посполитой. Бек с этой целью получил под начало министерство иностранных дел, да и сам Пилсудский старался создать мощную и влиятельную на международной арене Польшу. В 1919 году я случайно был свидетелем того, как несколько молодых офицеров, среди которых были Марьян Кошчалковский и Евгениуш Олейничаковский, готовили для вручения капитану Славеку подарок с такой дарственной надписью: *"На память о совместной работе по созданию Великой Литвы"*. Вскоре после того Пилсудский направил уже полковника Славека на переговоры с Петлюрой. Мне казалось, Славек никогда не разделял антинемецкие настроения большинства поляков. Он охотно вступал в дискуссии о польско-немецких отношениях с Владиславом Студницким и даже будучи премьером часто обменивался с ним письмами на эту тему. Одно из этих писем Студницкий как-то прочитал мне.

Спустя несколько дней я шел рядом с профессором Стефаном Эренкройцем, хозяином того памятного ужина, в огромной толпе, провожавшей в последний путь гроб с телом Сла-

века. Мне казалось, что я участник некой мистерии. Сцены из драм Вышпянского вертелись у меня в голове, и от всего этого усиливалось ощущение фатальности, витающей над страной. Даже подписание военного пакта с Англией вполне могло сыграть роль катализатора; могло отдалить катастрофу, но могло и приблизить ее, и все происходящее похоже было на логику греческой трагедии.

В ответ на подписание польско-английского военного договора Гитлер разорвал договор о ненападении. Одновременно Сталин снял с поста наркома иностранных дел Максима Литвинова, который был евреем и имел явную тягу к диалогу с западными державами. На пост наркома иностранных дел был назначен Вячеслав Молотов. Мир все ближе и ближе подходил к воскрешению духа Рапалло.

Сразу же за публикацией сообщения о разрыве договора о ненападении в германской прессе началась антипольская истерия; на первое место, как и год назад в отношении Чехословакии, ставился вопрос о немецком меньшинстве в Польше. В ответ большинство польских изданий усилило свои антинемецкие выступления и даже начали открыто говорить о необходимости ликвидации Восточной Пруссии. Более того, подобные суждения я слышал от сотрудника нашего МИДа, занимавшего достаточно высокое положение. В Гданьск тем временем начали приезжать туристские группы, полностью состоявшие из переодетых в штатское германских младших офицеров. Безусловно, это были кадры для готовившегося путча. В ответ из Польши в Гданьск также стали приезжать равноценные группы "туристов". Временами казалось, между нашими и их "туристами" вот-вот вспыхнет побоище, так накалена была обстановка.

Очень много в то время говорилось о деятельности так называемой немецкой пятой колонны. В Вильно, где немцев было крайне мало, я не наблюдал каких-либо проявлений такой деятельности и не могу сказать, были ли явные антигосударственные выступления в других областях. Тем не менее, более 800 тысяч немцев жило на территории Польши. Многие из них, если не сказать большинство, были под ог-

ромным влиянием Гитлера, его экономических и военных планов. И допущение, что они создали организацию по добыче разведывательной информации или по подготовке диверсионных актов в случае войны, было вполне логичным. Хотя они и демонстрировали свою лояльность польскому государству после подписания договора о ненападении. В случае же возникновения войны на Востоке мы все-таки могли рассчитывать на их поддержку, как это было с немцами-колонистами в 1920 году, во время советско-польской войны. И все-таки после денонсации договора они становились элементом, требовавшим пристального внимания. Это была реальность польской демографической структуры, с которой каждый серьезный политик должен был считаться. И мы должны были постоянно быть начеку, ибо выступления одной части населения против другой могли бы привести только к обострению ситуации.

Очень беспокоящие сведения приходили с польско-германской границы, где гитлеровцы сосредотачивали крупные армейские соединения. Немцы делали это открыто, так что и пограничное население, и путешественники с Запада свободно могли наблюдать концентрацию войск в пограничных районах. И трудно было себе представить, что германские штабы пошли на такие огромные расходы без цели использования всех этих частей и вооружений.

НАСТРОЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

Угроза войны, надо сказать, не произвела в польском обществе большого беспокойства. Многие считали эту угрозу нереальной, и бытовало тогда мнение, что все это просто "война нервов". Никто не верил, что немцы решатся на военные действия, которые неминуемо бы повлекли за собой интервенцию со стороны западных держав. В Польше так же сильно верили в мощь Франции, как в Германии не верили в ее военные потенциалы. Я мало интересовался тогда положением нашей противовоздушной обороны, которое, как

позднее выяснилось, было ужасным. Некоторые под действием свежих воспоминаний о Первой мировой войне делали продуктовые запасы, но это не приняло широких размеров и никак не отразилось на рынке. Огромное большинство нашего общества не отдавало себе отчета в разнице военных потенциалов Польши и Германии и было настроено, что называется, "шапкозакидательно".

Были и такие люди, что понимали разницу в нашем военном оснащении, их было немного, и даже они не допускали все же возможности тотальной войны. Я слышал и такие высказывания, что, дескать, Гитлер не заинтересован в полном уничтожении Польши, административный аппарат которой и армия могут ему пригодиться для реализации его планов на Востоке. Сторонники этой точки зрения допускали возможность захвата Гитлером части Польши, например Гданьска и Поморья, чтобы вынудить нас пойти на переговоры, где он будет говорить с нами с позиции силы. Это напоминало ту позицию, которую занял Бисмарк в войне 1866 года по отношению к Австрии. И это выглядело логично, если Гитлер намеревался начать войну против России. В этом случае наши восточные границы стали бы прекрасным плацдармом для германского наступления и на Москву, и на Украину, и на советские промышленные районы на юге. Кроме того, казалось, что Гитлер действительно имеет какие-то планы в отношении Польши. Даже его претензии в отношении Гданьска и постройки автострады по Поморью были значительно умереннее тех заявлений о решении "польского вопроса", что раздавались во времена Веймарской республики.

С другой стороны, некоторое ослабление советско-германской пропагандистской войны, наступившее после речи Сталина на XVIII съезде ВКП(б), вносило некоторые новые элементы в положение вещей, но понять их воздействие и значение было еще трудно. Люди, близкие к троцкистам, а таких было немало среди еврейской молодежи, говорили о возможности союза между Гитлером и Сталиным для совместного выступления против Британской империи. Но, в конце концов, я был глубоко убежден, что никто в Европе не хо-

чет войны, и посему в последнюю минуту должны произойти события, позволяющие избежать катастрофы. Советы же, безусловно, были заинтересованы в возникновении конфликтов между капиталистическими странами. Это совпадало бы с предсказаниями Ленина, но сами они не хотели быть втянуты в войну против какого-либо государства.

В июле, перед отъездом в отпуск, я зашел к Станиславу Мацкевичу, чтобы узнать его мнение о сложившемся положении. Он был сильно удивлен всеобщим оптимизмом в отношении результатов возможного военного конфликта с Германией. В какой-то компании народных демократов он слышал высказывания о существовании возможности победы над немцами, и что было бы большой ошибкой нашей дипломатии, если бы она старалась сгладить конфликт. Бек, бывший до того одним из самых непопулярных министров, становился чуть ли не национальным героем.

В нашей беседе мы пришли к выводу, что в Польше нарастают пророссийские симпатии. Практически в каждой беседе о возможности войны с Германией и о возможности одновременной атаки со стороны Советов находился кто-то, кто говорил: "Россия — огромная страна, и новые земли ей не нужны". Причем говорили это и высшие армейские чины, и журналисты, и политики, и профессора, т.е. люди хорошо знакомые и с историей Польши, и с историей ее разделов.

Мне такую теорию пришлось услышать в 1939 году от одного из наиболее обещающих наших экономистов, который был в то время начальником отдела в министерстве сельского хозяйства и неплохо знал Советскую Россию. Впрочем, он почти не знал русской истории. Владислав Студницкий слышал примерно в то же время теорию о незаинтересованности России в захвате наших восточных земель из уст президента Польской академии наук профессора Кутржебы и от профессора Эстрайхера*. Станислав Мацкевич рассказал мне о

*См.: Wladislaw Studnicki, Irrwege in Polen, Gottinger Arbeitskreis, August, 1951.

своей недавней поездке к Радзивилам* в их поместье в Несвиже. Даже они были расположены ожидать некой помощи от СССР в случае германского нападения. Особенно его поразил присутствовавший там ксендз, который долго говорил о перспективах сотрудничества с Советами в случае вооруженного конфликта с Германией.

Два года спустя, уже в советском лагере, мне довелось читать необычайно интересную и прекрасно написанную книгу о походах Чингиз-хана. В ней, между прочим, описывалось, как непосредственно перед наступлением татары высылали вперед специальных людей, распускавших слухи о прекрасной жизни под татарским владычеством. У Чингиз-хана была прекрасно поставлена "шепчущая" пропаганда, сильно ослаблявшая сопротивление его противников.

В 1939 году Германия делала все, чтобы поднять дух сопротивления в поляках, СССР — чтобы его сломить. Но почему советская пропаганда имела такой успех в широких слоях польского общества, объяснить почти невозможно. Надо помнить, что это было время только что прошедших "показательных" процессов и грандиозных чисток, когда сотни тысяч людей были отправлены в лагеря, и в Польше об этом прекрасно знали. Самосознание поляков перед войной могло бы стать интересным предметом изучения для социологов и психологов.

Против бытовавших тогда ура-патриотизма и подлинного патриотизма, готового к величайшим подвигам, но лишённых чувства реальности, шел, как это часто случалось в польской истории, единственный человек. Был он небольшого роста, но большого ума и отваги, очень сердечный и благородный человек — Владислав Студницкий. В июне 1939 года он издал книгу о приближающейся Второй мировой войне, где довольно четко обрисовал грядущие события. Но книга ещё до появления на прилавках была конфискована властями.

Отпуск я провел в небольшом имении моего тестя, точнее,

*Радзивилы — старинный и влиятельный польский дворянский род.
(Прим. переводчика.)

на маленьком участке, выделенном сестре моей жены. Находилось это место у самой советской границы, там, где железнодорожная ветка Минск — Молодечно пересекала государственную границу. Ближайшим соседом был колхоз, занявший часть нашей земли, оставшейся по ту сторону границы. От соседей нас отделяли заграждения из колючей проволоки и постоянные патрули с обеих сторон. Люди по ту сторону границы были очень запуганы и никогда не подходили к заграждениям, чтобы переброситься с нами парой слов. Было это очень тихое местечко, даже сообщение с Польшей было там довольно затруднительным. Железная дорога на этом участке не работала, а до ближайшего городка, Радосковиц, было около восьми километров. В доме у нас не было ни телефона, ни радиоприемника. Было время сенокосов и жатвы, редко кто поэтому ездил в город, и газеты доходили до нас с опозданием в несколько дней. Жизнь среди быстрых ручьев и зеленых холмов была приятной и ангельски спокойной. Урожай в то лето был прекрасный, и волей—неволей вспоминалось написанное Мицкевичем в "Пане Тадеуше" о лете 1812 года. События, им описанные, происходили как раз где-то в этих местах. На Успение Богородицы мы ездили на ярмарку в Плебане, недалеко от местечка Красное. Много сельских парней приехало туда на велосипедах, из чего я сделал вывод, что живут они довольно зажиточно. А спустя несколько дней пограничники при участии местных дивчин устроили театрализованное представление, рисующее мужество и находчивость населения в поимке и разоблачении большевистских диверсантов.

Однако после нескольких дней счастливой сельской жизни меня охватило какое-то беспокойство — уж очень все напоминало затишье перед бурей. Я решил съездить в Вильно и узнать, что происходит в мире. С женой я договорился, что на следующий день она будет ждать моего звонка у ближайшего телефона в почтовом отделении в Радошковичах.

Перед отъездом я поговорил с молодой девушкой, приехавшей с Волыни. Была она доброй, деликатной и сердечной особой и имела высшее сельскохозяйственное образование.

— Кажется, над нами висит угроза войны, — сказал я ей.

— Конечно, война должна быть, — отвечает она.

— Почему *должна*?

— Потому, что немцы ведут себя в последнее время так, что просто необходимо призвать их к порядку.

— Значит, вы себе все представляете так, что наши полки из Лиды, Молодечно и Луцка браво промаршируют до Берлина, накажут ужасных немцев и овеванные славой вернутся в свое расположение? — спрашиваю ее несколько ехидно.

— Ну да. — Видимо, другого способа решения польско-германских проблем моя милая собеседница даже не может себе представить.

Хотя местечко, в котором мы жили, было всего в 150 километрах от Вильно, дорога туда отнимала почти целый день. Сначала надо было ехать на лошадях до станции Олехновичи, последней станции, до которой доходили поезда на линии Вильно — Минск, потом — поездом до Молодечно, где всегда приходилось долго ждать поезда до Старой Вилейки. Короче говоря, приехал я в Вильно только вечером. Когда ехал дорогими моему сердцу улочками Вильно, окрашенными в оранжевые тона заходящего солнца, я вдруг подумал, что за судьба ждет в будущем эти старые стены?

По приезде в свою квартиру на Антокольской я оставил там вещи и тут же вышел на улицу и сел в автобус, который привез меня прямо к редакции "Слова". Станислава Мацкевича я застал сидящим в своем кабинете и погруженным в размышления. Он только что получил сообщение о подписании пакта Молотов — Рибентроп. Не нужно было мне объяснять, что это означает. Было ясно без слов, наступил самый драматичный момент в нашей судьбе. Немного все же поговорив о случившемся, мы решили, что ему стоит позвонить в отдел печати нашего МИДа в Варшаве и узнать их реакцию на подписание советско-германского договора. Ответ был лаконичным: Польша считает, что ее безопасность не была ущемлена подписанием пакта, тем более, Польша имеет с СССР договор о ненападении 1932 года, который был продлен в 1938 году.

Мацкевич довольно бесцеремонно высмеял это заявление, как не отвечающее значимости происшедшего, и повесил трубку. Он решил дозвониться до Лондона, куда в ожидании важных событий "Слово" недавно послало своим специальным корреспондентом Вацлава Збышевского. Когда наконец мы дозвонились до Лондона, Збышевский сказал, что он настолько потрясен всем случившимся, что просто не в состоянии сейчас на эту тему говорить. Совершенно очевидно, что будущее ему рисовалось в самых мрачных тонах, и мне казалось, я разделяю его чувства.

Около одиннадцати часов я направился в редакцию "Курьера Виленского", который был до известной степени конкурентом "Слова" и где я был одним из издателей. У входа в редакцию я столкнулся с выходящей оттуда большой приятельницей нашей редакции, студенткой факультета изящных искусств, матерью двух детей и прекрасной художницей. Лицо женщины радостно улыбается, глаза искрятся радостью.

— Чему вы так радуетесь? — спрашиваю.

— Как, вы ничего не знаете? Гитлер полностью себя скомпрометировал.

Я был просто ошарашен этими словами, и мне вспомнились слова Заглоты, что глупость людская, как и любовь, не знает границ. Моя милая собеседница выглядит удивленной и в свою очередь спрашивает, не говорит ли она, по моему мнению, глупости. Пытаюсь ей объяснить, что на путь подобной "компрометации" некоторые прусские генералы пытались встать еще в 1921 году, и что совершенно безразлично, как люди отнесутся к непоследовательности Гитлера, если советские полки скоро могут маршировать по улицам наших городов и сел.

ГЛАВА II

МОБИЛИЗАЦИЯ

На следующий день, как и было условлено, я позвонил жене в Радошковичи и сказал, чтобы немедленно собиралась, забирала детей и уезжала с советской границы в более безопасное место, в Вильно. Поздно вечером я встретил их на вокзале. Но приезд жены и детей меня не успокоил, ночью я плохо спал и меня преследовали кошмары. Снилось, что вновь, как и в бытность мою членом Польской войсковой организации двадцать лет назад, я где-то на станции в Латвии, среди людей, окруженных чекистами, которые вот-вот начнут их хватать. Проснулся я с ощущением огромной тяжести в груди. Лучи восходящего солнца пробивались сквозь ставни нашего дома, где весь уклад жизни и даже мебель были неразрывно связаны со старинными местными традициями. Рядом спала жена со спокойным выражением лица, пели птицы в саду.

Когда во время завтрака я включил радио, то вместо привычного выпуска новостей услышал какие-то зашифрованные сообщения. Скорее всего это были приказы о мобилизации, хотя официально мобилизация еще и не была объявлена. Выйдя на улицу, я узнал, что автобусы сегодня не ходят и все они переданы для армейских нужд. И я отправился в центр города пешком. По дороге встретил несколько дрожек, на которых только что мобилизованные подпоручики запаса направлялись в расположение своих полков.

В полдень, позвонив домой, я узнал от жены, что тоже получил открытку с приказом немедленно явиться в предписанный мне полк для прохождения действительной службы.

Надо признаться, это было для меня неожиданностью: было мне 39 лет, последний раз был на армейских сборах в 1931 году, пройдя тогда курс обучения на командира взвода. И, естественно, я не мог быть в курсе тех тактических изменений, которые произошли в армиях наших соседей в связи с прошедшим их перевооружением. Я никогда не обучался методам боя с танками и не имел ни малейшего понятия, как обращаться с противотанковым ружьем, которое, безусловно, теперь есть в распоряжении каждого взвода. И уж совсем ничего не знал о работе мобильной радиации, которыми недавно были оснащены все наши полки. Короче говоря, я не принадлежал к категории офицеров, призываемых в первый день мобилизации, хотя и имел некоторый фронтовой опыт со времен 1919 — 1920 годов, и я был уверен, что в случае начала войны, буду призван только со вторым или третьим призывом.

Однако я вернулся домой и собрал самые необходимые вещи в вещмешок и в маленький чемоданчик, надел кобуру с пистолетом, но оставил дома саблю — этот совершенно необходимый в мирное время для отдания рапорта командиру полка инструмент, но абсолютно бесполезный, по моему мнению, во время настоящей войны. Мы помолились всей семьей, ведь неизвестно, на чьей стороне будет удача в случае начала войны — на нашей или нас ждет немецкая или большевистская оккупация. После прощания с женой и детьми я направился в центр, где жил мой отец, железнодорожный служащий на пенсии. Утренняя депрессия прошла, и, прощаясь с отцом, я вдруг почувствовал, что для меня начинается новая жизнь. Я чувствовал охвативший меня подъем, какой бывает, когда на весеннем солнце несешься на лыжах с заснеженного склона. И еще промелькнула мысль, что, если действительно суждено уйти на войну, отца я, пожалуй, вижу в последний раз. И я направился к Острой Бреме, стоявшей на перекрестке шоссе, идущего к Новой Вилейке, где и располагался мой полк. Я зашел помолиться в придорожную часовенку и, выходя оттуда, решил попробовать остановить попутную армейскую машину. И как раз подъехал мотоцикл

коляской. Управлял им полный ротмистр Новицкий из 13-го уланского полка, приписанного к штабу 19-й пехотной дивизии, к которому принадлежал и мой полк. Через полчаса мы уже подъехали к штабу полка.

В штабе сержант, регистрировавший прибывающих резервистов, быстро нашел мою регистрационную карточку и сказал, что я немедленно должен принять командование интендантским взводом. Одновременно он вручил мне запечатанный конверт с инструкциями о моих действиях на ближайшие тридцать часов. И только после ознакомления с инструкциями я понял, что это за зверь — интендантская команда. Я должен был следить за снабжением и экипировкой множества подразделений, о которых мы и понятия не имели в 1920 году: взвод малой артиллерии, взвод противовоздушной обороны, взвод разведчиков, состоящий из кавалеристов и мотоциклистов, взвод связи. Причем мои обязанности не были одинаковы по отношению к каждому из них и я не всегда мог вмешиваться в их действия. В полевой обстановке я должен был командовать дивизионным обозом. И это не было чрезмерно легкой задачей — хотя нашей дивизии и полагалась собственная противовоздушная часть, мы ее не имели. Только потом я узнал, что производимые Польшей противовоздушные орудия, которые я видел собственными глазами во время нашей с вице-премьером Квятковским инспекции заводов Центрального промышленного округа в 1938 году, полностью уходили на экспорт в Англию. Во время же войны и города, и войска, и железнодорожные узлы ощущали катастрофический недостаток противовоздушной артиллерии.

Люди, приходившие в полк, были полны желания работать и воевать, но у меня были некоторые сомнения, достаточно ли они подготовлены к боям с танками и авиацией противника. И хотя мне досталось командовать обозом, я живо помнил, как в 1920 году обозникам приходилось ходить в атаки, как, например, в знаменитой битве у местечка Вкра 15 сентября. Да и мобилизованные лошади тоже не были плохи, а вот состояние подвод, полученных нами, оставляло желать лучшего. И был я довольно сильно удивлен тем, что в наших

мобилизационных складах мы не имели достаточного количества подвод, а ведь их производство было крайне простым и не требовало вложений иностранной валюты.

Через несколько дней была назначена дата выступления, о часе его, видимо, знали все жители нашего местечка. И когда я в назначенное время поздним вечером проезжал через толпы людей, стоявших у дороги, к месту погрузки в поезд, увидел в толпе свою жену и детей. Погрузка отняла у нас несколько часов. Жена какого-то младшего офицера взяла наших детей к себе на ночлег, пообещав, что разбудит их к четырем часам утра, когда было назначено наше выступление. Моя же жена все время простояла у ограждения, наблюдая нашу деятельность. Около трех часов утра было объявлено, что через несколько минут выступаем, и я на секунду подбежал к жене, чтобы обнять ее на прощание. Даже при самой буйной фантазии трудно было предположить, что следующее наше свидание наступит только через восемнадцать лет в аэропорту Джакарты, на острове Ява, где я буду выступать как британский гражданин и чиновник Объединенных Наций. Началось великое приключение, точнее, целая цепь приключений.

К моему огромному удивлению, наша колонна двигалась не на запад, в сторону Вильно, а на юго-восток, в направлении Молодечно. Первой моей мыслью было, что мы направляемся на защиту нашей восточной границы, — было то задание, к которому наша дивизия была специально подготовлена. Еще на маневрах 1930 года слышал, что 19-я пехотная предназначена служить своего рода авангардом в защите границы, задача которого продержаться до подхода основных сил и мобилизованных. Оставление нашей восточной границы без охраны, если не считать небольших пограничных отрядов, было бы равнозначно приглашению советских войск к вступлению на нашу территорию и беспрепятственной засылке диверсантов к нам. Да и с политической точки зрения это было довольно логично. Если Советы вынуждены были бы вступить хоть в небольшие бои с нашими дивизиями за границу, Сталин бы забеспокоился. Хотя бы уже потому,

что нападение на Польшу в таких условиях было бы слишком явным нарушением так широко разрекламированного по миру советско-польского договора о ненападении. Нельзя утверждать, что, как в вышеописанном телефонном разговоре Станислава Мацкевича, пакт о ненападении не имел никакого значения. Безусловно же, он был очень весом, если только подкреплён решимостью к борьбе. В разгоравшейся же войне, мы, по моему пониманию, будем бороться за наше достоинство, за независимость, и решимость к такой борьбе мы должны были одинаково продемонстрировать и Западу и Востоку.

Во время поездки я не пошел в душные купе второго класса, предназначенные для офицеров, а с несколькими младшими офицерами расположился на ночлег на подводах, установленных на открытых платформах, где ординарцы приготовили для нас матрацы. Ночь была месячная и теплая, как это бывает в конце лета в окрестностях Вильно; небо было просто усыпано звездами. Я страшно устал и быстро заснул. Проснулся я уже поздним утром. По всей дороге через Молодечный повет* нас приветствовали селяне, на станциях женщины приносили цветы, молоко, фрукты и ни в какую не хотели брать денег. Энтузиазм, охвативший всю Польшу, дошел и до этой земли, где большинство населения говорило по-белорусски.

В Молодечно мы выгрузились из поезда и двинулись на юго-запад, в сторону Лиды. Мое предположение, что мы направляемся на защиту восточной границы, оказалось ошибочным. В мирное время 19-я пехотная дивизия, бывшая Литовско-Белорусская, размещалась в треугольнике Новая Вилейка — Молодечно — Лида, теперь же мы просто проехали по периметру этого треугольника. Видимо, линия Вильно — Гродно была забита транспортом 1-й легионерской дивизии, расквартированной в Вильно и тоже двигавшейся на запад.

В Лиде я узнал, что с нами в колонне едет не только командование полка, но и командование дивизии и дивизи-

*Повет — административная единица Польши, примерно равная области. (Прим. переводчика.)

онного обоза. На перроне я встретил полковника Тадеуша Пелчиньского, который на днях принял командование пехотными подразделениями нашей дивизии. Я давно знал его, а он удивился, увидев меня в форме подпоручика одного из подчиненных ему полков. Он пригласил меня в штабные вагоны, где представил командиру дивизии генералу Квачишевскому, известному в армии специалисту по станковым пулеметам. Из нескольких бесед, которые были в штабном вагоне, я узнал, что дивизия наша направляется на запад и должна поступить в резерв Верховного командования и в ближайшее время мы должны выступить в направлении Барановичи, Варшава. После этого я вернулся к своей повозке на железнодорожной платформе и уютно расположился с книгой в руках.

На Варшавском вокзале нас встретило множество женщин с бутербродами, чаем, кофе и какао. К сожалению, наш поезд остановился там всего на несколько минут, и мы вновь двинулись в сторону Вислы, на юго-запад. Уже не помню название станции, на которой мы выгрузились; потом был долгий ночной марш. Помню только, что уже после восхода мы разбили лагерь на обширном поле у самого Ловича. С одной стороны поля возвышалась стена костела. Мне очень хотелось осмотреть это местечко, известное на всю страну своими ремесленниками, но времени не было — с минуты на минуту мы ожидали приказа о дальнейшем продвижении. Тут явился полковник Пелчиньский, на его вопрос, чем я занимаюсь, шутливо отвечаю, что изучаю экономику, уделяя особое внимание ужасному состоянию подвод и упряжи пехотных частей. И насколько я понимаю в этом вопросе, в довоенной Польше следовало бы больше внимания уделять снаряжению обозов. Кроме того, меня сейчас также интересует перевооружение Германии и его финансирование. Полковник Пелчиньский, бывший до того начальником Второго отдела Генштаба, сильно заинтересовался моим изучением вопроса. Если же говорить серьезно, то был и еще кое-кто, весьма интересовавшийся моим изучением германского хозяйства и моими путешествиями по Германии. Была это советская разведка, как я узнал спустя год, будучи в Лубянской тюрьме.

Вскоре пришел приказ к продолжению марша, и мы после нескольких часов довольно энергично двинулись в поход. Это было 31 августа 1939 года. Не помню названия места, где мы встали на ночлег. Артиллерийский взвод, с которым мы вместе были на марше, расположился в построениях близлежащей винокурни. А ночью в стодоле, наполненной сеном, вспыхнул пожар и погибло шесть коней — целая упряжка одного из возов этого взвода. Наверное, это было результатом саботажа или работой т.н. пятой колонны. Вскоре после восхода мы увидели несколько бомбардировщиков, колонной летевших на запад. Они были похожи на немецкие бомбардировщики, возвращающиеся с задания, но о начале войны мы еще ничего не знали. Кое-кто из нас успокоился тем, что-де это наши летят бомбить немцев. Вскоре после этого я был вызван к командиру полка. Адьютант сообщил мне, что только что получил телефонограмму, немецкие танковые колонны перешли государственную границу. Командир полка приказал замаскировать все подводы и коней, а людям запретить бесцельно бродить по улицам. Война стала фактом.

ГЛАВА III

ОТ ПЕТРКУВА ДО КАТЫНИ

ПЕТРКУВ

Несколько последующих дней мы продвигались в южном направлении, совершая преимущественно ночные марш-броски. Днем все небо было исполосовано белыми следами летающих на большой высоте немецких самолетов-разведчиков, и нам нужно было постоянно следить за тем, чтобы и люди, и повозки были бы хорошо замаскированы. Однако часть наших передвижений вынуждены мы были делать и в дневное время; немецкие летчики, безусловно, нас прекрасно видели, но не атаковывали. Четвертого сентября мы наконец подошли к местечку под названием Петркув Трибунальский и остановились в обступавших его с юго- и северо-востока лесах. Командование решило, что именно в этих местах нам суждено войти в непосредственное боевое соприкосновение с противником. В один из дней к нам заехал генерал Квачишевский и провел в палатке долгое совещание с командиром полка подполковником Крук-Щмиглым, во время которого я и несколько других офицеров стояли у входа в палатку и ожидали решения командования. После беседы с генералом командир полка созвал новое совещание, на которое пригласил командиров всех трех батальонов и меня, как командира обоза. Кажется, это было 5 сентября, но сейчас, по прошествии стольких лет, я уже не могу точно припомнить дату. Наша диспозиция была такова: полк должен расположиться на опушке леса к северо-западу от Петркува и подгото-

виться к обороне. Причем второй и третий батальоны должны были занять первую линию обороны, а первый — быть в запасе, а чуть дальше, в густых зарослях должны были быть замаскированы мои повозки. На близлежащих полянах надо было оборудовать огневые позиции приписанного к нашему полку 19-го дивизиона полевой артиллерии. Наш полковой артиллерийский взвод под командованием поручика Анджейковича также должен был быть подготовлен к бою. И насколько я мог понять, нашей целью было не допустить окружения города с севера. 77-й пехотный полк и кавалерийская бригада, состоявшая из 4-го, 13-го и 23-го уланских полков, расположились по соседству с нами, имея задачей предупреждение возможного удара с флангов и с юга.

5 сентября 1939 года был, пожалуй, наиболее тяжелый день в моей короткой офицерской службе. Противник, естественно, знал, что в лесу под Петркувом расположена группировка наших войск, и несколько раз его авиация бомбардировала лес, но было больше шума, чем результатов. Гораздо страшнее были вражеские истребители, которые часто летали над лесом на бреющем полете и охотились даже за отдельными людьми, имевшими неосторожность появиться на лесных полянах или тропинках. И я решил отказаться от передвижения верхом: конный сверху легче может быть обнаружен, чем пеший.

Под вечер до нас стали доноситься звуки недалекого боя. Видимо, неприятель атаковал позиции 86-го и 77-го пехотных полков, защищавших Петркув с юга. В нашем же положении наступление врага принесло даже некоторое облегчение — вражеские истребители перестали летать над нашими головами. Видимо, они были направлены на выполнение других заданий, и доставлять питание на боевые позиции стало уже не так тяжело. Артиллерия со своих огневых позиций, расположенных рядом с моим хозяйством, открыла огонь по неприятелю. Это могло значить только одно — что неприятельские танки вошли в сферу действия наших второго и третьего батальонов. Однако это не нарушило даже моей телефонной связи с командованием полка. После наступления темно-

ты в наше расположение стали приходиться уцелевшие солдаты 86-го пехотного полка, некоторые из которых были ранены. Приходили они в основном группами по несколько человек. Из их рассказов мы узнали, что возможности нашей пехоты противостоянию массированной танковой атаке противника были минимальны. Особенно, если учесть, что огневые позиции пехоты были подготовлены на скорую руку. Единственным действенным оружием наших пехотинцев была ручная гра-та, но многие пользовались ею и для самоубийства. Силой, способной остановить танковый напор, был массированный артиллерийский огонь, а несколько дивизионов 19-го пехотно-артиллерийского полка, распределенные между несколькими полками, естественно, не могли быть сильным противодействием танковым ударам противника. Битва за Петркув была битвой героической, и таковой должна остаться в анналах Войска Польского. Вошла ли вслед за танками в город немецкая пехота — этого уже не знаю.

В сумерках я услышал лязг гусениц и рокот танковых моторов. Не было никакого сомнения, что немецкое бронетанковое соединение движется по шоссе Петркув — Волборж, проходящему к востоку от нашего лагеря. Чуть позже до нас стали доходить звуки продвижения еще одной танковой колонны, на этот раз с западной окраины леса. Значит, лес, в котором мы расположились, был окружен со всех сторон, и я немедленно доложил об этом по телефону командиру полка. Он мне ответил, что обстановка ему известна и что он уже приказал взводу капитана Быховца, который входил в наш резерв, обеспечить безопасность лагеря со стороны Волборжа. Кроме того, он приказал мне расставить посты на восточной опушке леса, чтобы постоянно держать под наблюдением шоссе. Конечно, фланговый удар в немецкие танковые колонны мог вызвать панику у противника, но для этого надо было иметь гораздо больше противотанковых ружей и хорошо пристрелянной артиллерии, чем у нас было в наличии.

Около трех часов утра командир полка позвонил мне и сообщил, что решил попробовать разорвать окружение и что местом сбора будет расположение моего обоза. Он также

приказал переформировать мой интендантский взвод в стрелковый, вооружив людей всем, что найдем в обозе, а повозки со всем полковым имуществом нужно будет оставить в лесу. На этом телефонную линию он решил более не использовать и направился в мое расположение. Вскоре после этого ко мне пришел поручик Владислав Урбанович, кадровый офицер, бывший в мирное время командиром интендантского взвода, теперь он служил при штабе. Урбанович привел взвод, состоявший из нескольких десятков человек, и подводу с полковой канцелярией и полковым знаменем. Сразу же за ним прибыли первый батальон под командованием капитана Павловского, взвод разведки под командованием капитана Вищчицкого и взвод поручика Рекща. Поручик Урбанович сообщил мне, что подполковник Крук-Щмиглы направился в расположение второго батальона и вместе с ним скоро прибудет сюда. Урбанович также сообщил, что генерал Квачишевский попал в плен к немцам во время инспекции позиций 19-й пехотной дивизии. Это, пожалуй, был первый случай пленения в этой довольно странной войне. Первым погибшим в этом бою был поручик Анджейкович, командир артдивизиона. Он был убит на своем наблюдательном пункте. О судьбе полковника Пелчиньского не было ничего известно, хотя кто-то и видел, что он будто бы был схвачен немецким патрулем. Ординарец, приведший его коня, не знал ничего о его судьбе.

Все выглядело так, что немецкие моторизованные части быстро прорвали нашу плохо организованную линию обороны и двинулись в направлении Скерневиц и Варшавы, не обращая никакого внимания на оставшиеся у них в тылу польские части. Это давало нам возможность наносить удары по немецким коммуникационным линиям, но все наши части имели приказы прорываться за линию фронта. И только потом мы узнали, что единственный офицер, имевший полномочия изменить наши действия, полковник Тадеуш Пелчиньский, был где-то рядом, в лесах, но, не имея связи, не мог никак изменить ход вещей.

Мы продолжали наше продвижение на восток и без труда форсировали речушку Пилица и следующей ночью завершили

наш марш-бросок, прибыв в местечко Спала, куда переместился штаб нашей дивизии. Там начальник штаба подполковник Тадеуш Рудницкий приказал нам продолжать продвижение на восток, по линии Спала — Матвеевичи. До Матвеевичей до уничтожения моста успел пока пройти только капитан Павловский со своим батальоном и частями 19-го пехотно-артиллерийского полка. Мы же все должны были форсировать Вислу вплавь.

В наступивших потом долгих конных маршах я часто размышлял, покачиваясь в седле, об уроках битвы при Петркуве. Выводы мои были такими же, что и перед войной: ни технически, ни организационно мы не были подготовлены к отпору немецкой авиации и танковых сил. И, следовательно, люди, от которых зависело принятие решений — Бек, Рыдзь-Щмиглы и Мощчицкий, — должны были сделать все, чтобы избежать войны и сохранить Польшу такой, какой она стала после Первой мировой войны и вооруженного конфликта с Советской Россией в 1919 — 20 годах. А наш союз с Англией должен был быть условием достижения возможного компромисса с Германией, а не красной тряпкой, доведшей Гитлера до бешенства.

Вторым уроком должны были для нас стать выводы о нашей тактике и о разумном использовании того духовного подъема, что произошел в наших солдатах после начала войны. Ведь даже самые героические пехотные полки не могут сдержать массированного танкового удара. Но, с другой стороны, мы достигли бы гораздо большего, если бы вели с противником партизанскую войну. Остатки нашей дивизии потратили массу времени, энергии и сил на поиск мест сбора, на марш к Спальским лесам, форсирование Вислы, и затем — вновь на марш до Люблина и Хельма. А если бы мы просто остались в петркувских лесах, немцам бы пришлось сконцентрировать на нас большие пехотные силы, как и на других частях, попавших в аналогичное положение.

Но партизанская война требовала и специальной подготовки. Например, необходимо было иметь заранее приготовленные склады продовольствия и амуниции. Нужно было иметь и

два различных воинских устава: один на случай войны с немцами и второй — для войны на Востоке. И мне кажется, немцы достаточно высоко оценивали способности Польши вести партизанскую войну. Где-то за год до войны, как мне рассказывал Станислав Мацкевич, газета "Франкфуртер Цайтунг" ("Frankfurter Zeitung") выпустила специальное приложение, посвященное европейским армиям. В разделе, посвященном польской армии, было упомянуто о плохом оснащении наших войск, но подчеркивалось, что наши способности к ведению партизанской войны очень высоки. И это, пожалуй, было основным доводом в стремлении Гитлера заручиться дружбой с Советами — ему нужны были многочисленные советские кавалерийские дивизии, чтобы в самом зародыше убить зачатки партизанской войны, которая могла возникнуть на востоке от Вислы. И надо признать, Советский Союз это задание Гитлера с успехом выполнил в сентябре — октябре 1939 года.

Когда в 1941 году Германия напала на Советы, и я, тогда уже узник советских лагерей, прочитал обращение Сталина к народу с призывом к организации партизанских действий, я подумал, что советские специалисты хорошо изучили наш опыт сентябрьских битв. Припоминаю и убеждение маршала Аллана Брука¹³, что Сталин обладал феноменальной стратегической интуицией, которой не было ни у Маршалла, ни у Эйзенхауэра.

Так же, как Бек часто действовал, забывая об отсутствии в его руках реальной силы, наше верховное командование в вопросах стратегии и обучения тактике среднего и младшего командного звена забывало о том, что нам предстоит иметь дело с противником, превосходящим нас по силам во много раз, и что методы борьбы должны соответствовать этому превосходству.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДИВИЗИИ

Выше было описано, как 16 сентября, где-то восточнее

Хельма, нам удалось соединиться с прибывшими туда несколько ранее частями 19-й пехотной дивизии и о моем разговоре с подполковником Тадеушем Рудницким, который приказал мне явиться в расположение свежее испеченного командира сводного полка этой дивизии подполковника Густава Новосельского.

Ранним утром следующего дня, еще до восхода солнца, я уже был на указанном месте. За околицей деревни, на лесной поляне, я нашел командование только что созданного сводного полка. И к своей радости увидел там знакомые лица моих товарищей по битве в петркувском лесу, где наш 85-й стрелковый виленский полк под командованием полковника Крук-Щмиглого пытался остановить немецкие танковые колонны: командира первого батальона капитана Павловского, квартирмейстера полка капитана Ковшика, капитана Быховца... Сам полковник был высокого роста, в длинной полевой шинели и в солдатской конфедератке без знаков отличия, взятой, видимо, из наших мобилизационных складов. Он мне показался красивым мужчиной: мужественные черты лица, глаза, наполненные загадочной грустью; лицо это мне казалось удивительно знакомым, виденным много раз. Через мгновение я вспомнил. Было это давно, в конце прошлой войны, в России, в орловской гимназии, где группа польских мальчишек мечтала о вооруженной борьбе за независимость Польши. "Австрийский" пленный, капитан и легионер, неизвестно какими путями доставал и давал нам почтовые открытки с изображениями польских легионеров. На одной из них было изображено точно такое же мужественное лицо с грустью в глазах. Как я позже узнал, полковник Новосельский действительно некогда был легионером и, видно, одним из тех, что носили в своих вещмешках томики стихов Словацкого. "Этот полковник должен пользоваться большим успехом у женщин", — подумалось мне.

Через минуту я уже докладывал:

— Пан полковник, поручик 86-го стрелкового виленского полка Свяневич по приказу командира дивизии совместно с двумя офицерами, девятью младшими офицерами, 37 штыка-

ми, шестью конными разведчиками и четырьмя обозными подводами явился в ваше распоряжение.

Полковник принял мой рапорт и распорядился:

— Младших офицеров и обозные подводы отослать в распоряжение интендантской команды, конных — в взвод разведки, остальным — явиться в распоряжение командира второго батальона. Что же касается вас лично, я бы хотел еще поразмыслить, как вас лучше использовать.

В это время квартирмейстер капитан Ковшик, с которым мы были знакомы еще с учений 19-й пехотной дивизии в 1930 году, подошел к полковнику и начал ему что-то тихо говорить. Я понял, что речь идет обо мне, скорее всего, капитан давал мне характеристику. Полковник посмотрел на меня и сказал:

— Поручик, вы будете при командовании полка. Мне нужен офицер для поручений.

Я отдал честь и отошел.

Через несколько часов взводы вновь сформированного полка уже всюду валили деревья и сооружали противотанковые заграждения. Где-то в четырех километрах от нас двигались неприятельские колонны. Однако данные о противнике не могли не вызвать удивления: основные его массы были много восточнее нас, на правобережье Буга, что-то странное происходило на Волыни, в окрестностях Владимира. Что именно происходило, было трудно узнать — у нас не было радио, и мы не могли перехватывать радиопереговоры противника. Да и связь с нашими частями была нарушена, и мы вынуждены были действовать на свой страх и риск. Ночью наш полк выступил на восток, в направлении Дорохуска с целью перерезать немецкие коммуникации через Буг.

ДОРОХУСК-НА-БУГЕ (18 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА)

У реки завязался бой, длившийся весь день 18 сентября. Мы понесли сильные потери в личном составе, но все же нам удалось не дать немцам форсировать Буг в этом месте. В

начале боя полковник послал меня с приказами по взводам. В мои обязанности входил не только сбор информации о противнике, но и о состоянии наших подразделений. Положение в наших тылах было довольно ясным: там у нас располагалось командование дивизии и подполковник Рудницкий, бывший постоянно в курсе происходящего. Значительно труднее было с информацией с флангов, что усложняло взаимодействие с расположенными там подразделениями. Причем и другие командиры взводов и рот чувствовали недостаток информации и связи, приходилось самим собирать данные и налаживать связь между собой. Иногда это вызывало недоразумения. Например, мне сообщили, что немецкий "шпион", переодетый польским майором, крутится вокруг наших солдат. Сержант, сообщивший мне о "шпионе", высказал явное желание тут же с ним разделаться. Я отправился на место происшествя и обнаружил там майора из группы полковника Кюнстлера (позднее он тоже попал в плен и был со мною в козельском лагере), располагавшейся около железнодорожного моста через Буг и взорвавшей этот мост, что сильно затруднило немецкую переправу. Майор этот был прислан к нам для налаживания связи и заодно хотел собственными глазами увидеть боеготовность наших подразделений.

Через несколько часов я вернулся в расположение командования полка. Там было все тихо, царил порядок, который всегда присутствует в хорошо налаженном армейском организме. Кони и повозки были замаскированы, люди не бродили без дела по улицам деревни, телефонисты и наблюдатели спокойно занимались своими делами, начальник канцелярии полка делал ежедневный доклад о состоянии дел, связные дремали у стен домов, защищавших их от пуль. От реки доносились звуки пулеметных очередей. Немецкая артиллерия методично обстреливала деревню и перекрестки дорог в нашем тылу. На командном пункте я застал только одного адъютанта.

— Где полковник? — спросил я его.

— Не могу знать. Пошел с поручиком Селецким проверить огневые точки пулеметчиков. И сейчас, наверное, в каком-

нибудь взводе... Строит из себя героя... Его место должно быть здесь, у телефонов, он же считает, что его задача лично отдавать приказы рядовым.

Мне вспомнилось, как в 1919 году я столкнулся с фронтовым обычаем офицеров 5-го пехотного полка, которые, чтобы показать свою доблесть, никогда не залегали в цепи. Конечно, потери офицерского состава были огромны, но и боевой авторитет офицеров был очень высок. "Полковник, видимо, из той же школы", — подумалось мне. Мне не оставалось ничего другого, как дожидаться его прихода. Ружейные пули все чаще и чаще стали залетать на двор, и я уселся на крыльчке избы, толстые стены которой хорошо оберегали от шальных пуль. Куры на дворе глупо бегали за каждой упавшей на землю пулей, принимая их, наверное, за неких больших и странных жуков. На ласковом осеннем ветру летали паутинки, в природе царил покой, казалось, что и нет никакой войны. Меня стали одолевать теплые воспоминания, по всему телу разлилась ленность. Вспомнилось, что завтра годовщина нашей свадьбы, и постепенно сон и реальность стали смешиваться в охватившей меня дреме.

Разбудил меня приход полковника. Выглядел он усталым после всей этой беготни от окопа к окопу под непрерывным огнем вражеских ружей и автоматов. Я доложил о собранной мною информации. Он поблагодарил меня и уселся на полене во дворе, задумавшись над картой. Вражеский огонь несколько ослабел, и пули уже не так часто залетали во двор. Я взял бинокль и забрался на близлежащий пригорок и стал наблюдать немецкие позиции. Мне не давала покоя странная тактика противника, как бы спешившего на Запад, оставляя нас почти без внимания у себя в тылу. Тут меня позвал полковник, и я быстро спустился со своего наблюдательного пункта.

— Садитесь, поручик. — Я уселся напротив него на брошенном полене. — Зачем вы туда забрались, поручик? Ничто уже никому не поможет, — сказал он с грустью в голосе, не глядя на меня, и вновь погрузился в карту.

Я промолчал, не зная, что ответить, и только удивленно

смотрел на него. Ведь это сказал командир полка, только что вернувшийся с боевых позиций своих подразделений.

Через несколько минут пришло сообщение от капитана Павловского, доложившего, что противник пытается переправиться через реку. Огневые действия с обеих сторон возобновились с новой силой. Капитан 19-го артиллерийского полка, командовавший двумя нашими взводами, показывал чудеса артиллерийской меткости и скорости стрельбы. Одно из его орудий даже треснуло от перегрева. Спустя несколько часов кризис миновал, и стрельба начала заметно утихать. Полковник решил использовать наступившее затишье для кормления людей, снабжения их боеприпасами и лучшего окапывания и маскировки наших частей. Командный пункт полковника был перенесен в окоп, вырытый у стены, стоявшей вблизи от церквушки. Чуть в стороне, у перекрестка дорог, располагался санбат, сильно загруженный в тот день работой. За зданием санбата валялась поспешно выброшенная нога, недавно ампутированная у одного из офицеров. Деревенские собаки жадно лизали сочащуюся из нее кровь.

За стеной, на церковном дворе, несколько солдат копали могилу для подпоручика Круля. Я познакомился с ним несколько часов назад, на этом самом дворе, куда полковник послал меня узнать положение дел в резерве. Когда я подъехал к расположившемуся у стены взводу, мне навстречу поднялся высокий, худой мужчина, и доложил:

— Подпоручик Круль.

Спустя некоторое время в обороне одного из подразделений образовался прорыв, и я передал подпоручику приказ полковника ликвидировать прорыв силами его взвода. Когда я был в том месте, вновь поднялась та же фигура и точно, как и в первый раз, доложила:

— Подпоручик Круль.

Я посмотрел на него, он мне показался ужасно милым человеком. Я подумал, кем он был на гражданке? Но времени поговорить не было. Он прекрасно выполнил приказ, прорыв был ликвидирован, и взвод, начавший было уже отступать, вернулся на свои позиции. Но за успех он заплатил своей

жизнью. Несколько солдат принесли его на старое церковное кладбище и копали ему теперь могилу. Подпоручик лежал лицом к вечернему небу и казался мне таким же милостивым, как и раньше, когда дважды в один день представлялся мне. Сержант прочитал из Молитвослова краткую молитву, солдаты стояли вокруг с непокрытыми головами. Последний луч заходящего солнца осветил лицо убитого, я попрощался с ним и стал про себя читать "Ангел Божий", солдаты начали засыпать могилу.

Я внезапно почувствовал голод. Выкопал в придорожном поле несколько реп, очистил их и стал есть. Из окопа доносились слова приказа, отдаваемого полковником по телефону капитану Павловскому. Ординарцы принесли с кухни замечательный суп с огромными кусками мяса. Наступил короткий отдых после тяжелых дневных боев.

— Эх, поручик, поручик, сколько же человек должен вынести, чтобы потом умереть, — пошутил капитан, вылезая из окопа и усаживаясь со своей порцией супа рядом со мною.

На обоих берегах реки, восточным — польским и западным — немецким, воцарилась тишина.

ГРУСТНАЯ НОВОСТЬ (19 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА)

Следующий день принес просто драматичное известие. Начался же он удивительной тишиной, немцы стояли на противоположном берегу и не проявляли ни малейшей активности. Похоже было, что они чего-то ждут. Даже вражеские самолеты, доблестно отбиваемые еще вчера единственным нашим зенитным орудием, не показывались в небе. Перед самым полуднем наш артиллерийский наводчик, занявший свой наблюдательный пост на верхушке дерева, рядом с командным пунктом, доложил, что за немецкими позициями из леса выходят какие-то невооруженные люди и направляются к реке. Через минуту он вновь докладывал, что людей выходит из лесу все больше, и все они идут к немецким окопам. Вдруг наблюдатель высоким, полным удивления голосом закричал:

— Они в наших мундирах... Это наши... Немцы их пропускают, они уже проходят возле их танков...

Известие моментально облетело все подразделения. Из окопов, с огневых точек, из замаскированных складов боеприпасов и провианта стали высыпать наши солдаты, весь полк, затаив дыхание, смотрел в сторону неприятеля. А на противоположном берегу все больше и больше безоружных польских солдат старались найти средства переправиться на нашу сторону. Скоро первые из них были уже среди нас. Все они твердили одно и то же: "Россия вступила в войну, большевики осадили Молодечно и Лук". Потом стали рассказывать о себе:

— Мы обороняли Влодимир Вольнский, и здорово надавали немцам. Едва ли они смогли бы взять город, но тут, 17 сентября, генерал Сашицкий собрал нас и сообщил, что Россия вступила в войну и что в этих условиях дальнейшее сопротивление бесполезно. Генерал заплакал и сказал, что рядовых отпускает по домам, а офицеров просит попробовать на машинах достичь румынской границы.

Все больше людей перебиралось на нашу сторону, десятки их ходили по нашим позициям. Царил полный хаос: на вольнском берегу стояли немецкие войска, на любельском стоял наш полк, готовый в любую минуту продолжить бой, а между нами бродила огромная толпа солдат без оружия и без офицеров. Я подумал, что немцы могут воспользоваться ситуацией и начать форсировать реку, но немцы были совершенно спокойны в своих больших касках и серых шинелях. Мне даже показалось на мгновение, они сочувствуют нашей трагедии. Но нет, они были уверены в нашем поражении и просто не хотели начинать форсирование реки и нести ненужные потери.

Меня вызвал к себе полковник. Был он возбужден и считал роспуск личного состава дивизии по домам шагом абсолютно необъяснимым.

— Как это возможно, распускать по домам часть, имеющую оружие и готовую воевать? Происшедшее под Влодимиром просто ужасно.

Сам факт, что среди наших офицеров нашелся такой, что распустил солдат по домам, казался ему много страшнее факта вступления большевиков в войну. Да и знали мы об этом очень мало и могли только строить догадки.

— Наибольшая опасность грозит нам сейчас не со стороны немцев, а со стороны этих отступающих через наши ряды толп, — продолжил полковник. — Это необходимо прекратить. Возьмите комендантский взвод, расставьте посты и обозначьте им места прохода через наши позиции. Не допускать никаких разговоров с нашими солдатами, никаких дискуссий, никакого смещения. Понятно? Мы должны поддержать моральный дух нашего полка.

Я отдал честь и начал выполнять распоряжение. А полковник тем временем написал приказ, прочитанный во всех подразделениях. В нем полковник заявил, что события во Владимире никоим образом не могут отразиться на нашем солдатском долге; Варшава и Львов воюют, и наша задача поддержать их борьбу, задержав войска противника. Война не кончилась, и польский народ будет вести ее до победного конца.

Через час мы все привели в порядок. Толпы отступающих проходили через предоставленный им коридор, а в наших подразделениях все по-прежнему подчинялось воинской дисциплине. Я пошел по взводам, разговаривал с солдатами и офицерами, приглядывался к их лицам и не заметил и следа замешательства или нерешительности. Полковник мог быть доволен — дисциплина победила, и мы были готовы к новым боям.

Но были и эксцессы. Группы наших вооруженных солдат кое-где пытались заставить отступающих поменять их хорошее обмундирование и обувь на свои разбитые и грязные ботинки и шинели. И отступающие отдавали все это без единого слова. На меня это произвело гнетущее впечатление, хотя и надо признать, была в этом своеобразная солдатская логика.

— Пан поручик, — говорил мне один из солдат, которого я попытался пристыдить, — посмотрите, он идет к своей ба-

бе на перину, а я буду воевать. В этом есть правда, что у него будет шинель хуже моей, ведь я буду здесь под дождем гнить.

Я доложил об этих случаях, а их становилось все больше, полковнику. Тот сразу же приказал прекратить и реквизировать у отступающих только велосипеды, которые нам пригодятся для создания нового подвижного стрелкового взвода.

Чуть позже полковник вышел к посту, занимавшемуся реквизицией велосипедов. Я пошел за ним, и мы стояли, молча глядя на людской поток, пересекающий наши позиции. Я посмотрел на полковника, глаза наши встретились, и он вдруг прошептал:

— Польша умирает, поручик...

И как бы отгоняя назойливую муху, вытер слезу на щеке. В моей голове было тесно мыслям, но я не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Я не сказал ни слова, мы так и стояли в молчании.

После захода солнца полк двинулся на юг, в сторону Дубинки, а я с группой конных разведчиков был послан на позиции командования дивизии. На дивизионном командном пункте ротмистр Новицкий сказал нам, что московское радио сообщило о взятии советскими войсками Вильно.

— Итак, держим хвост пистолетом, нам надо выстоять, — добавил он, хлопая меня по плечу.

Несколько последующих дней мы провели в непрерывном марше. Немецкие самолеты часто кружились над нами, но не обстреливали наши колонны. Зато они буквально засыпали нас листовками. Типичное содержание листовок сводилось примерно к следующему: "Солдаты, Россия выступила против вас. Ваш Президент и Верховный главнокомандующий бросили вас и сбежали в Румынию. Вы выполнили свой долг, но война уже закончена. Дальнейшее сопротивление приведет только к лишнему кровопролитию. Сложите оружие". Я, проезжая мимо колонн, присматривался к идущим солдатам — ни один из них не склонился и не поднял листовку. Лица солдат были серыми, усталыми. А впереди колонны ехал полковник с грустью в глазах.

БОЙ ПОД ТОМАШОВОМ ЛЮБЕЛЬСКИМ
(23 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА)

Несколько дней спустя был бой под Томашовым Любельским. В том бою мы были стороной наступающей, били неприятеля, брали пленных. Насколько я понял, бой произошел по приказу командира нашей Резервной армии генерала Денба-Бернацкого, штаб которого был в то время где-то среди двигавшихся на юг войск, в междуречье Саны и Буга. Мне казалось, что генерал считал взятие Томашова совершенно необходимым условием для успешного продвижения наших частей к венгерской границе. Наш полк непосредственно подчинялся в том бою генералу Волковицкому, который в свою очередь находился в подчинении генерала Пжеджимирского. Томашов мы так и не взяли, хотя и добились отступления немцев на этом участке.

Вечером, когда солнце уже клонилось за крыши недалеко деревни, нам был передан боевой приказ. Я видел его только мельком и успел прочитать, что приказано нам двигаться на юго-запад и что общий сбор частей назначен на утро 24 сентября в районе Суховоли. Как раз в это время прибыл связной 4-й роты, сообщивший о появлении в их расположении немецких парламентариев. Они требовали немедленной сдачи оружия, в противном случае грозили за несколько часов уничтожить нас. Полковник послал меня в расположение 4-й роты с целью прервать какие бы то ни было переговоры с немцами и заявить им в крайнем случае, что мы их должны препроводить на командный пункт дивизии. Одновременно полковник приказал после наступления темноты всем подразделениям перегруппироваться в походные колонны и быть готовым к выступлению.

Когда я, выполнив все поручения догонял полк, наступила уже глубокая ночь. Я даже не знал точного направления движения полка, а где-то рядом были немецкие войска. Двигаясь в полной темноте, я скорее почувствовал, чем увидел, массу людей. Вышел я как раз к тому месту колонны, где ординарец вел моего коня. Я поправил упряжь и сел

верхом, направившись дальше в ночь, чтобы найти командира полка и доложить о выполнении поручений. Колонна скоро остановилась. Мы находились на границе чьей-то усадьбы. Была она оставлена хозяевами, лишь скотина редела в хлеву. Оказалось, что дальше идти было невозможно — перед нами были немецкие позиции. Полковник и капитан Быховец, вооружившись фонариком и компасом, склонились над картой, пытаясь найти выход из сложившегося положения. Батальон, построившись в несколько колонн, двинулся напрямик через кое-где вспаханные поля. Вдруг над нами вспыхнула немецкая ракета. Она осветила все ярким светом, каждая травка стала видна под ногами, и все цвета стали даже более сочными и яркими, чем в дневном свете. Вслед за ней вспыхнули еще две ракеты. "Немецкие наблюдатели, конечно же, нас заметили и сейчас начнется артиллерийский обстрел", — подумалось мне. Но немцы не проявили к нам никакого интереса, и минут через сорок мы уже были на дороге, где стояли наши повозки. Полковник вновь собрал воедино все свои подразделения, дисциплинированные и готовые к новым битвам. Это была ночь с 23 на 24 сентября.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОЙСК ПОД СУХОВОЛЕМ (24 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА)

На место сбора наших сил я явился с взводом конных разведчиков немного раньше других частей полка. По дороге на сборный пункт мы встретили остатки 10-й пехотной дивизии и, сколько помню, 43-го пехотного полка. Мне сказали, что недалеко от нас расположилась 41-я дивизия под командованием генерала Пекарского, а чуть в стороне от нее — части 1-й дивизии легионеров. Светало, при дороге, по которой я ехал, было много следов недавнего боя. В сумерках там и тут виднелись остовы подбитых немецких танков, сдвинутые нашими войсками на обочины немецкие грузовики. Один из солдат показал мне сбитый нашими немецкий самолет, а когда я немного свернул с дороги, конь мой вдруг

резко взял в сторону, стараясь не наступить на убитого немца. Молодой парень с окровавленными руками удивленно смотрел застывшим взглядом в серое утреннее небо. В эту сторону пробивался Андерс¹⁴.

Внезапно чуть впереди нас послышались звуки артиллерийского огня, но я не мог понять, кто стреляет — наши или немцы. Я продолжал ехать в сторону белых облаков — разрывающихся шрапнельных снарядов, надеясь найти кого-то, кто смог бы объяснить, что здесь происходит. Огонь прекратился так же внезапно, как и начался. Вокруг было удивительно пусто и тихо. Из-за пригорка показалась группа каких-то людей, я поехал в их сторону. Когда я подъехал к ним, то по петлицам увидел, что это были солдаты 4-го уланского полка 3-й кавалерийской бригады, мои виленские земляки. Вид у них был усталый, все пешие. Я представился.

— Андерсу удалось пробиться, но кольцо за ним замкнулось, мы в окружении, — сказал мне ротмистр.

Они сказали еще что-то, а я думал, что, если бы наш полк пришел сюда чуть раньше, мы могли бы присоединиться к частям Андерса и пробиваться вместе с ними.

Наш полк подошел только после восхода, и я доложил полковнику обо всем, что мне удалось узнать. Мы стояли на небольшом пригорке, перед нами простирался прекрасный вид. Слева от нас, среди растущих кое-где деревьев, части полка располагались на короткий привал. Дымили полевые кухни, кормились кони. Внедалеке стояла хата, в которой умирал раненый поручик Шамота из 13-го уланского полка. Примерно в километре от нас была цепь холмов, из-за которой вставало солнце. По дорогам на холмах тянулись армейские обозы и шли беженцы. Это были те самые потоки людей, что еще неделю назад стремились на восток, а теперь, под напором большевиков, двигались в обратном направлении. Издалека они напоминали ужей, старающихся уползти от опасности, окружавшей их с двух сторон. В воздухе висела легкая мгла, окрашивающая солнце в красный свет, и мне он казался зловещим.

Я совсем не чувствовал усталости после всего происшед-

шего с нами в последние часы. Напротив, я ощущал даже какой-то эмоциональный подъем. Воображение мое было обострено, из рассветных сумерек как бы выплывали образы минувшего. Мне вдруг показалось, что я в опере, слышались мелодии Вагнера, всегда производившие на меня сильное впечатление. Мелодии вагнеровской "Гибели богов" охватили меня. Сквозь утренние тени двигалась процессия, несущая тело Зигфрида... "А ведь я теряю сознание", — подумал я.

Память принесла еще один образ. На мотоковских полях стоит на лафете гроб, мимо него проходят ряды людей. Черные тучи, приходящие с востока, образуют основание гроба. Слышны звуки дальнего грома. Когда гроб переносился на платформу, блеснула молния, и следом за ней хлынул дождь. Я смотрел на панораму перед собой и думал о том гробе и о блеске молний над ним. Мои чувства было трудно описать. Это было что-то вроде ощущения наступающей битвы трансцендентной стихии, выходящей за рамки материального космоса. Я думал о циклах нарастания и упадка величия. Я говорил с полковником о том же, о чем он говорил мне несколько дней назад, наблюдая отход распущенной под Владимиром Волынским дивизии. Слова его тогда были наполнены подлинной душевной мукой.

— Пан полковник, мне кажется, нельзя сказать, что Польша умирает. Независимо от исхода войны какое-то Польское государство должно существовать. Но каким оно будет? Этого мы сейчас не знаем. Мне кажется, что в истории Польши заканчивается одна эпоха, к которой мы с вами принадлежим, — эпоха Пилсудского, и начинается новая. И очень тяжело предвидеть, что теперь произойдет. Одно верно: Польша больше не будет на востоке такой, какой она была до сегодняшнего дня. Все, на что Польша там сейчас опирается, будет уничтожено.

И вдруг я понял, что не могу найти слов, чтобы описать ту душевную муку за судьбу нашей страны, которая охватила меня и которую так точно выразил полковник своим шепотом. Я почувствовал, что мы действительно свидетели того, как

нечто умирает и уходит в историю. Но что? Этого я не мог сформулировать. Полковник стоял, погруженный в свои мысли, и не ответил мне.

Через несколько часов полк вновь выступил. Мы двигались на юго-восток, продвигаясь к лесам на правом берегу Вепша, рядом с Красным Бродом. Я ехал шагом сбоку полковой колонны и размышлял о разговоре с полковником. Мой взгляд остановился на Погони*, изображенной на нашивках многих мундиров. Погонь была гербом нашего полка, на полковом знамени был вышит образ Божьей матери Остробрамской, а с другой стороны — Погонь. И мне показалось, что хаос моих мыслей пришел в некий порядок. То, что сейчас погибает, это не Польша, а традиционный путь Великого княжества Литовского в польской истории. И традиция эта была стимулом духовного возрождения для восточных поляков.

Веками наши великие князья создавали мощную державу, о которую разбивались разрушительные волны нападений со стороны наших восточных соседей. Мудрость краковских правителей¹⁵ и дальновидность династии Ягеллонских¹⁶ укрепили Речь Посполитую. В наше время Йозеф Пилсудский пытался возродить былое могущество государства, но, к сожалению, неудачно: очень повредил национализм. И сейчас, в преддверии бури, рвутся последние связи с эпохой нашей славы.

Я размышлял и о том, может ли погибнуть сама традиция Великого княжества Литовского. Может, война и нашествие с востока помогут ей возродиться? Ведь географическое положение — один из составляющих элементов могущества. Если украинцы, белорусы и прибалтийские народы хотят сохранить свою самобытность, то на протяжении от Балтики до Карпат должна образоваться некая новая формация. И, кто знает, может, эта формация достигнет еще большей славы, чем некогда имело Великое княжество Литовское? И вполне также возможно, что нынешнее московское вторжение начисто унич-

* Погонь (Pogon) — государственный герб Великого княжества Литовского. (Прим. переводчика.)

тожит всякое польское влияние и тем самым облегчит будущий процесс интеграции этих земель. Все может быть, но нить, связывающая нас с давней традицией, с историей, будет порвана.

Традицию я понимаю не только как концепцию развития и политические планы. Это еще и живая связь современности с давними народными обычаями, воспитанием в атмосфере известного набора понятий и идеалов. Наша традиция — это дворики с колоннадками, диваны красного дерева и письменные столы карельской березы, пожелтевшие листы старых документов, написанных по-русски, верные глаза наших женщин, отдающих тебе свою душу, то — флюиды, источаемые старинными виленскими стенами. Погонь на нашем знамени и на нашивках мундиров — это тоже один из элементов традиции.

Все это не выдержит советского натиска. Все это будет растоптано, заплевано и уничтожено. Сами основы нашего национального духа будут уничтожены. Но дух бессмертен и возродится вновь, может, лишь в иной форме. Совершенно возможно, что дух Великого княжества Литовского и объединенной Речи Посполитой еще возродится в некой будущей формации, но сердце обливается кровью, когда думаю, сколько милых нам вещей обречено на гибель. Человеку ведь свойственна привязанность не только к духу, но и к его форме, к символам, этот дух выражающим. Я смотрел на нашивки наших солдат и думал, что наш полк, вполне возможно, последний польский полк перед наступлением новой эпохи, связанный с давними традициями литовского организационного гения. А полковник, восточный поляк по происхождению, — последний командир последнего такого полка. Я с грустью и уважением смотрел на немного ссутулившуюся фигуру в седле в нескольких шагах передо мной.

РАЗДУМЬЯ И РЕШЕНИЯ

Наступивший день 25 сентября был наполнен постоянной перестрелкой с немцами. Они занимали Красный Брод и при-

чалы у моста через Вепш, а мы — лес напротив городка, на правом берегу реки. Несколько раз наши взводы пытались огнем пробиться через мост, но каждый раз, неся потери, отступали под сильным автоматным огнем противника. Целый день из-за интенсивного немецкого огня не было никакой возможности доставить продовольствие на передовую, и это очень огорчало нашего квартирмейстера капитана Ковшика. Немецкая артиллерия изредка обстреливала лес, но стрельба была беспорядочной и не принесла нам особого вреда. Самолеты немецкие вообще в тот день не показывались, но было очень много ружейного огня с немецкой стороны. Все это очень напоминало боевые действия 1919 — 20 годов.

В тот день в состав нашего взвода вошли четыре противотанковых расчета, которых нам так не хватало в предыдущих боях. Сколько я помню, эти расчеты входили в состав Новгородненской кавалерийской дивизии, большинству подразделений которой удалось с частями генерала Андерса вырваться в ночь с 23 на 24 сентября из окружения. Присутствие противотанковых расчетов вселяло в нас уверенность, особенно — когда мы виделидвигающиеся по противоположной стороне реки немецкие танки.

Надо сказать, наше снаряжение с каждым днем становилось все лучше. Да и людей больше прибывало, чем погибало. Наши квартирмейстеры быстро приспособились к условиям партизанской войны, и кухни регулярно выдавали наваристый суп с большими кусками мяса, почти ежедневно выпекался хлеб. И все это несмотря на то, что мы почти постоянно были в движении. Посреди безбрежного моря хаоса мы по-прежнему оставались островком дисциплины и организованности, и центром их был наш командир.

В тот день я упал в противотанковый ров и очень болезненно вывихнул ногу. Я с трудом добрался до обоза, где в добавок ко всему у меня начался озноб. Младшие офицеры — большинство их вместе со мною вышли из Вильно — уложили меня в телегу и накрыли множеством одеял. Уснул я моментально.

Во сне мне чудилось, что мы снова в пути, я слышал го-

лоса людей, чувствовал подсакивающую на ухабах лесной дороги телегу. Вдруг мне показалось, что кто-то склонился надо мною. И тут же мне привиделся образ ребенка, лежащего в горячке, и склонившейся над ним матери. Открыв глаза, я увидел над собой лицо взводного, обязанностью которого было кормление полковых лошадей.

— Как с немцами? — спросил его.

— Отступают из Красного Брода, — ответил взводный.

Я снова заснул, и вновь мне слышались голоса и колычанье телеги. Когда проснулся, было уже раннее утро. И, к своему удивлению, я обнаружил, что мы стоим на месте, передо мною было то же самое дерево, что и вчера, когда я ложился в телегу. Взводный задавал коням корм. Я выбрался из своей уютной и теплой берлоги под одеялами и, опираясь на палку, поковылял в сторону командного пункта.

Полковник стоял у дороги, ведущей в Красный Брод, и, как всегда, о чем-то думал.

— Где вы пропадали, поручик? — спросил он меня, когда я приблизился.

— Спал в обозе, — ответил я с улыбкой, выразившей просьбу о поблажке.

Мы постояли в молчании. Потом он спросил:

— Что бы вы сделали на моем месте, поручик?

Я посмотрел на него и ответил вопросом на вопрос:

— Есть ли хоть какая возможность пробиться в Венгрию?

Полковник отрицательно покачал головой.

— В таком случае, пан полковник, я созвал бы всех офицеров на совещание, обрисовал им положение, приказал бы уничтожить оружие, чтобы не досталось врагу, и группами по несколько человек пробиваться в Венгрию. И было бы хорошо, если при этом они старались бы миновать территории, оккупированные советскими войсками. Пожалуй, лучше всего идти за Сан, в направлении Кракова.

Полковник вспыхнул:

— Распустить полк? Исключено! — сказал он таким тоном, что стало ясно, разговаривать на эту тему совершенно бесполезно.

Мы замолчали, но вдруг я почувствовал, что оживаю, я нашел выход.

— Пан полковник, мне кажется, настало время кончить перестрелки с немцами. Ведь это уже не бои за независимость, а за честь. Это демонстрация воли польского народа сохранить остатки Речи Посполитой, и мы довольно показали нашу волю. И теперь нам надо повернуть наше оружие против большевиков. Думаю, нам надо дать бой подходящим силам Красной армии и таким образом закончить нашу роль.

Мне показалось, моя мысль понравилась полковнику.

— Да, но... — начал он и замолчал.

Я понял, о чем он подумал.

— Пан полковник, вы, видимо, вспомнили о приказе Верховного главнокомандующего не вступать в бой с большевиками. Не могу поверить, что Рыдзь-Щмиглы, который сам отказывался подчиниться приказу Пилсудского отступить из Киева, мог подписать такой приказ. Хотя...

И тут я почувствовал, что меня начинают одолевать сомнения. Рыдзь-Щмиглы, один из самых известных офицеров Первой бригады, лучший военачальник кампании 1919 — 20 годов, художник, человек большого личного обаяния, кумир женщин и солдат, поступил, пожалуй, слишком наивно, встав после смерти маршала Пилсудского на путь политического деятеля. Я вспомнил, как Станислав Мацкевич, суждения и мысли которого многие годы помогали мне найти собственную оценку политических событий, со временем все ниже и ниже оценивал политический интеллект Рыдзь-Щмигло. Я постарался представить, что сейчас происходит в штабе Верховного главнокомандующего, который скорее всего находится уже где-нибудь за границей. Наверняка там полно французских офицеров, которые имеют инструкции противиться всему, что может привести к конфронтации с Советской Россией. И до чего они могли довести наше командование, трудно даже представить. Если же, действительно, такой приказ был отдан, то он был равнозначен добровольному отказу Польши от восточных земель. Я не верил, что такой приказ отдан, хотя о нем говорили везде — от штабов до

рядовых в окопах. И от этих разговоров теряли в себе уверенность даже те, кто не верил в существование приказа.

Я посмотрел на полковника. Казалось, что он разочарован моими словами, что ждал от меня подтверждения своим скрытым мыслям и не нашел такого подтверждения. Только спустя много времени, в Козельске, мы закончили этот наш разговор. Полковник был крайне недоволен моим предложением распустить полк и двинуться малыми группами на Венгрию. Он был уверен, что абсолютно недопустимо оставлять наши позиции — мы были хорошо вооружены и готовы к бою. Мы тогда еще не имели информации об общем положении вещей, и потому он полагал, что мы можем быть центром отпора, притягивающим к себе все новые и новые силы. Он старался найти тот ход событий, который позволил бы нам как можно дольше участвовать в боевых операциях. Концепция движения в сторону венгерской границы перевешивала все остальные. Такого же мнения был генерал Волковицкий, считавший наилучшим направлением движения войск продвижение к лесистым холмам на юг от шоссе Львов — Перемышль. Мысли же полковника были иными. Его взгляд был обращен на северо-запад, там еще оборонялась Варшава. Он думал над тем, есть ли у нас шансы при продвижении в сторону Варшавы участвовать в тамошних боях. Против такого решения говорило то, что в этом случае нам надо было выходить на открытые места, в то время как мы стремились найти защиту в лесах от немецких танков и самолетов. С другой стороны, полковник не имел свежей информации о дислокации вражеских частей на этом направлении. У нас было такое впечатление, что впереди нас, на северо-западе, образовалась некая пустота и что, продвигаясь к Варшаве, мы могли бы ее заполнить и форсированными маршами довольно скоро достичь столицы. Эта концепция, как я теперь понимаю, была очень схожа с решением генерала Клееберга, решившего пробиваться на запад из Полесья. Но Клееберг был много севернее нас, и с ним не было связи. Полковник пытался оценить все "за" и "против", чувствуя всю ответственность принимаемого решения. И в разговоре со мною он хотел найти аргументы, а

вместо этого услышал предложение двигаться на Венгрию. И это было для него сильным разочарованием, но об этом я узнал много позднее.

На обычной обозной телеге к нам подъехал генерал Волковицкий и стал совещаться с полковником. Спустя минут двадцать полковник подошел ко мне и сказал:

— Выступаем на юг. Наша задача — избегая боевого соприкосновения как с отходящими немецкими, так и с наступающими советскими частями, ускоренно продвигаться к венгерской границе. Захват нас в плен советскими войсками очень возможен. Это я говорю оттого, что знаю, что вы, поручик, имеете на большевиков большой зуб. Кроме того, у вас несколько иные взгляды, и я, как ваш командир, даю вам полную свободу действий. Вы можете ехать на запад или в любом другом направлении. Но я просил бы сообщить мне, куда вы намерены отправиться и что делать.

Я поблагодарил полковника и попросил дать мне несколько минут на размышление. Мне живо припомнилось прощание с семьей 24 сентября 1939 года, т.е. ровно месяц назад, в день моей мобилизации. Вспомнился деревянный домик, стоявший в саду на Антокольской, диван красного дерева. Над диваном висит большое распятие, купленное женой на подаренные ей на свадьбу теткой золотые монеты; тетку она считала святой. На диване рядком сидят четверо наших детей, старшему одиннадцать лет, младшему — пять, они внимательно смотрят на меня. Рядом стоит жена и говорит: "Наступает большая заваруха, и неизвестно кто больше испытает — я или вы. Помолимся, чтобы Господь дал нам силы сохранить нашу честь". Мы встали на колени и в голос принесли молитву Богородице.

Я задумался: смог бы я сохранить свою честь, если бы воспользовался данной мне полковником свободой действия? Конечно, я был бы в лучшем положении, но не разрушит ли это наше воинское братство? И я понял, что, поступив так, я всю жизнь должен был бы потом объяснять свой поступок и себе, и окружающим, и, возможно, своим детям.

Пока я так стоял и думал, к нам подъехала еще одна те-

лега, с которой соскочил артиллерийский подполковник высокого роста и с небольшой черной бородкой. Я сразу же узнал, но никак не мог вспомнить его фамилии. В конце 1938 года я был приглашен тогдашним вице-премьером Квятковским принять участие в правительственной инспекции промышленных предприятий Центрального промышленного округа. И этот полковник сопровождал нас по различным фабрикам, давая пояснения; был он прикомандирован к нам от министерства обороны. Подполковник подбежал с картой в руках к Новосельскому и стоящим рядом с ним офицерам и стал быстро говорить:

— Чего вы тут стоите? Разве вы не знаете, что с востока идут большевики и часа через два уже будут здесь? Или у вас свои планы?

Подошел генерал Волковицкий и сказал:

— Мы идем на Венгрию.

— Но это бессмысленно, пан генерал. Мы должны оставаться в Польше и тут защищать нашу независимость. Если будет нужно, мы уйдем в подполье, но все равно будем воевать, — сказал подполковник.

Между ними начался спор, вокруг собралась группа офицеров.

— Вы меня ставите в глупое положение, — наконец сказал подполковнику генерал.

Артиллерист вновь начал спорить. Генерал резко изменил тон.

— Смирно! — крикнул он артиллеристу. — Пан подполковник, немедленно возвращайтесь туда, откуда вы приехали.

Артиллерист отдал честь, повернулся кругом, сел в телегу и уехал.

Мы стояли в молчании. Аргументы артиллериста многим из нас были близки. Но мы чувствовали, что в словах генерала Волковицкого тоже есть своя доля истины. Какая? Это трудно объяснить: правда войны, как и правда любви и смерти, имеет иррациональный характер. В ту минуту мы подчинялись генералу, как подчиняется армия в трудные минуты умному и строгому командиру.

Ко мне подошел полковник Новосельский.

— Ваше решение, поручик?

— Я остаюсь, пан полковник, — ответил я не задумываясь.

Полковник не смотрел на меня и сказал после небольшой паузы:

— Не будем терять время, возьмите автомобиль и отправляйтесь на разведку дороги.

Он раскрыл карту и начал мне объяснять свой план.

Через десять минут я уже ехал на обыкновенном варшавском такси, неведомыми путями попавшем в наш полк, по мосту через Вепш, обгоняя конную группу наших разведчиков, скакавших в Красный Брод. Улицы городка в этот ранний час были еще пусты, только в одном месте, прямо по середине дороги, стоял пожилой пейсатый еврей с сединой в рыжей бороде, в ермолке и халате и исподлобья смотрел на медленно едущую нашу машину. Наши глаза встретились. Его взгляд выражал совершенное безразличие ко всему происходящему, к нашим надеждам и проблемам, он жил в другом измерении. И я подумал, как ему далеки все эти польские, немецкие и большевистские солдаты, нарушающие обычное течение его дня. Мы остановились, и я задал ему несколько стереотипных вопросов, задаваемых обычно разведчиками, входящими в только что оставленный противником город. Через минуту я поехал налево, по дороге, ведущей на юг, приказав конным разведчикам следовать за нашей машиной.

Справа, со стороны Йозефова, из-за холмов, окрашенных багрянцем и золотом польской осени, доносились звуки артиллерийской канонады, где бились 4-я дивизия генерала Пекарского. Вдруг стрельба прекратилась. "Наверное, начали переговоры о капитуляции", — подумал я. Доехав до места, которое я должен был разведать, я обнаружил там немцев. Без происшествий мы повернули нашу машину и поехали назад. На перекрестке мы встретили ехавший по нашим следам отряд разведчиков. Я остановил их и, вынув из левой сумки бланк донесения, заполнил его, и конный связной тут же с ним поскакал к полковнику, а я направился по дороге, идущей чуть восточнее и проходившей ближе к пози-

циям большевиков. Спустя несколько часов этой дорогой уже маршировал наш полк.

РЯДОВЫЕ

Большую часть следующего дня, 27 сентября, полк провел, разбив лагерь на территории усадьбы, расположенной в лесах восточнее Саны, в северной части Львовского воеводства. Утром я поехал верхом на разведку в юго-восточном направлении, отъехав от лагеря около пяти километров. В пути я заметил идущих в зарослях пехотинцев и направил коня в их сторону. Навстречу из кустов вышел их командир. Им оказался капитан 41-го пехотного полка Майковский, бывший до войны ротным в школе подхорунжих то ли в Острове Мазовецкой, то ли в Замброве. Полк входил в состав группы войск генералов Пшедемирского и Пекарского, капитулировавшей вчера после короткой битвы. Капитан Майковский не подчинился распоряжению о капитуляции и решил самостоятельно пробиваться к венгерской границе. Он решил реквизировать где-нибудь подводы и на них добраться до границы со своей ротой, состоявшей из двух неполных взводов. Я рассказал ему о нашем полке, о решении полковника не сдаваться и двигаться на Венгрию и посоветовал ему явиться к полковнику с докладом, что капитан тут же и выполнил. Это было последнее пополнение нашего полка. Потом, сидя в козельском лагере, мы не раз размышляли с Майковским, что бы произошло, не соединись он тогда с нашим полком, удалось ли бы ему самостоятельно достичь венгерской границы.

В тот день ко мне обратилось несколько унтер-офицеров 85-го пехотного полка, вместе со мной оставивших Новую Вилейку, бывших со мною под Петркувом и вместе со мной пришедших в полк полковника Новосельского. Они сказали мне, что давно уже подготовили телегу с запасом питания на три недели, и что в этой телеге найдется место и для меня. Они были уверены, что нас ждут не бои, а плен, и

лучше, пока еще есть время, вернуться к своим семьям, осмотреться и начать действовать в зависимости от обстоятельств. Я им стал говорить о наших шансах выхода в Венгрию и о продолжении борьбы уже в рядах армий союзников, но они мне ответили, что солдатская масса не понимает и не принимает этого решения офицеров. Солдаты же опасаются, что венгры просто интернируют нас в лагерях. Положение офицера в таком лагере обычно довольно сносно, а вот рядовым приходится туго. Солдаты готовы воевать, но воевать на своей земле. И с того времени, как стало ясно, что командование предпочитает, не вступая в бои, выйти в Венгрию, у солдат начался психологический кризис. И если солдаты еще не разошлись, то только благодаря надежде, что мы идем на соединение с частями Соснковского, который бьется где-то подо Львовом. Соснковский был в то время легендой, оживлявшей надежды солдат и воодушевлявшей их.

Разговор этот здорово подействовал мне на нервы. Я всегда был самого лучшего мнения об этих унтер-офицерах, двум из них обещал при первой же возможности представить их к наградам. Одним из них был капрал ветеринарной службы 85-го стрелкового виленского полка Садовский. После нашего поражения в сентябре под Петркувом группа из трех офицеров и нескольких десятков солдат под началом поручика Урбановича пыталась пробиться из Спальских лесов за Вислу. У нас тогда было полковое знамя, и мы надеялись дойти до моста у Матвеевичей, но когда мы к нему наконец подошли, то увидели, что он уже догорает. Оттуда мы направились на север, в направлении Гуры Кальварии, и недалеко от устья Пилицы встретились с остатками 13-го и 23-го уланских полков, тоже искавших переправы. Уланы, попытавшиеся переправиться вплавь, тонули. Река была в этом месте широкая, быстрая и опасная. Наступила ночь. Капрал Садовский предложил сколотить небольшой плот и попробовать найти на другом берегу лодки. Мысль его была проста: лодки не могли исчезнуть, и если их нет на этом берегу, они должны быть на том. Через некоторое время Садовский на утлом плотике отплыл на противоположный берег

и вернулся с двумя лодками около трех часов утра. Полковое знамя было спасено. На этих лодках нам удалось переправить всех наших людей. Уланы решились переправляться вплавь. Держась за конские гривы, они доплывали почти до другого берега, но там течение подхватывало их и относило на середину реки. Крики тонувших смешивались с ржанием коней, к этому добавился и пулеметный огонь налетевших немецких самолетов. Капрал Садовский на лодке выплыл на середину реки и кричал уланам: "Сучьи дети, держитесь не за гривы, а за хвосты!" Те, кто последовал его совету, доплыли до берега. Эти несколько десятков улан должны быть ему благодарны за спасение их жизней.

Вторым из этих унтер-офицеров был взводный из команды фуражиров. Это был очень изобретательный солдат, прямо-таки рожденный для партизанской войны. В начале сентября, окруженный немцами в петркувских лесах, он отказался выполнить приказ командира полка об отступлении и оставлении противнику обоза со множеством ценных и нужных вещей. Он заявил, что не видит необходимости бросить повозки и что нужно попробовать пробиться и сохранить обоз. Во время тяжелой переправы через Вислу он тоже не растерялся и всячески помогал переправлять лошадей на другой берег. Тогда утонуло много улан 13-го уланского полка, но ни один конь не погиб. Нам же, напротив, переправляясь на лодках, удалось сохранить всех людей, но мы потеряли большую часть конного поголовья. Взводный быстро сориентировался в ситуации и передал нам часть своих лошадей. Таким образом, у нас получился не только стрелковый взвод, но и удалось создать из нескольких солдат небольшой кавалерийский отряд. К сожалению, после стольких лет я никак не могу припомнить фамилию этого взводного. Когда же, после переправы, мы начали решать, что нам делать далее, и большинство склонялось идти на восток, к Бялостоку и Лиде, где скорее всего находилась часть нашего полка, взводный резко прервал дискуссию. Он твердо сказал, что наш долг — найти ближайшее воюющее подразделение, соединиться с ним и продолжать борьбу. А совсем недавно, 25

сентября, он прискакал на взмыленном коне и доложил, что во время заготовки фуража он столкнулся с расчетом истребителей танков, шедших буквально в пасть к большевикам. Его сообщение совпало по времени с докладом наших наблюдателей полковнику Новосельскому, что на противоположном берегу Вепша ими замечена немецкая танковая колонна. Мы галопом помчались искать противотанковый расчет, и через полчаса их командир уже докладывал о своем прибытии полковнику. Безусловно, прибытие расчета серьезно усилило нашу огневую мощь.

И вот тебе раз! Мои товарищи, в мужестве которых я столько раз имел возможность убедиться, пришли ко мне и предлагают оставить часть. Я понял, что, действительно, среди рядовых назрел психологический кризис, и тут же пошел доложить об этом полковнику. Полковник, выслушав меня, отправился на инспекцию подразделений. Я пошел за ним. У одного из костров, где было более всего отдыхающих солдат, он сказал, что до него дошли слухи, дескать, многие считают войну окончившейся и собираются расходиться по домам. Полковник зачитал солдатам радионовости о продолжающейся обороне Варшавы и о частях Соснковского, бьющихся подо Львовом. Мы же идем на юг, где у нас больше всего шансов соединиться с Соснковским. После этого полковник предложил сделать шаг вперед тем, кто хочет идти по домам. Никто не выступил, кризис на некоторое время миновал.

Однако уже через час мне доложили, что среди рядовых вновь образуются группки солдат, желающих сдать оружие и разойтись. Я вновь доложил об этом полковнику. Он даже не посмотрел на меня. Молча стоял у стены и смотрел куда-то вдаль, как будто он что-то видел через стены палатки. Я вышел на воздух. Полковой лагерь напоминал базар. Солдаты делились на группы: тех, что уходят, и тех, что остаются с полковником. Посчитали, сколько оружия необходимо остающимся, а остальное решили уничтожить, чтобы не досталось большевикам. Солдаты молотками разбивали замки пулеметов и автоматов, а ружья и карабины сложили штабе-

лем и собирались его поджечь. Я понял, что их уже ничто не остановит. "Может, в этом и есть солдатская логика", — подумал я.

Я подошел к старшему сержанту 85-го пехотного полка, вместе с которым мы вышли в августе 1939 года из Новой Вилейки. Я уже знал, что он тоже уходит из полка.

— Пан сержант, окажите на прощание услугу, выберите мне, пожалуйста, хороший кавалерийский карабин с удобным ремнем, — попросил я его, памятуя, что он был начальником оружейного склада и хорошо разбирался в оружии. До этого у меня было только личное оружие — пистолет. Через минуту он принес мне карабин с блестящим, хорошо вычищенным затвором. Я уселся писать письмо семье, надеясь передать его с уходящими солдатами.

В это время штабель карабинов облили бензином и подожгли, ветер высоко уносил искры, запахло горелым. На землю с сухим стуком падали оставляемые сумки с амуницией. На поляне стало жарко. Лучи заходящего солнца и отблески костра окрашивали деревья в странный кровавый цвет. И мне показалось, что весь мир сейчас загорится от нашего костра и развалится на части. У меня сдавило горло, и перед глазами встала пелена, я видел все как в тумане. Я быстро обнялся с уходящими товарищами и отошел в сторону. Войдя во двор, я встретил генерала Волковицкого, полковника Новосельского и поручика Селецкого в обществе пожилой сидящей дамы, опеке которой они поручили полковое знамя.

СТАРЫЙ СОЛДАТ

На дворе было пусто. В столовой со стола еще не убрали остатки обеда, в миске лежал большой кусок грудинки, еще не начатый, а вокруг — много домашних печений. Заходящее солнце бросало на белую скатерть багровые отсветы и окрашивало ее в красноватые тона. Мне почему-то показалось, что в соседней комнате, за закрытыми дверями должен

лежать покойник. Я постоял задумавшись и опираясь на карабин. Мне казалось, что моя юность была только вчера. Вспомнилась наша конспиративная компания в русской гимназии, мечты о вступлении в польскую армию или в польскую войсковую организацию, потом дни воплощения наших надежд. И вот теперь все рушится. Или эти двадцать лет были только коротким сном?

Я почувствовал, что в комнате есть еще кто-то. Я повернулся. За мной стоял генерал Волковицкий. Он был высок, несмотря на некоторую сутулость, с огромным красным носом, так обычным для людей, выпивших за свою жизнь не одну бочку алкоголя. Меня охватило ощущение, что мы с ним уже где-то встречались, на каком-то собрании старых солдат.

— Пан поручик, вы чувствуете себя банкротом, не правда ли? — сказал генерал, и я посмотрел на него так, будто меня схватили за руку на месте преступления. — Видите ли, я уже прошел один раз всю Россию до самого Владивостока, чтобы в конце концов оказаться в рядах польской армии во Франции. Вот и сейчас, я уверен, мы дойдем до Венгрии.

— Пан генерал, — начал было я, — меня сейчас заботит не то, дойдем мы или нет до границы, а... — и я замолчал, почувствовав, что если закончу свою мысль, то действительно буду выглядеть полным банкротом и пораженцем.

Позже, в Лубянской тюрьме, мне дали прочитать в тюремной библиотеке известный в России роман Новикова-Прибоя "Цусима". И была там такая сцена. На флагманском корабле адмирала Небогатова происходит совещание. Ситуация ввиду сильного превосходства японского флота была критическая. Первым, по традиции российского флота, взял слово младший по чину — мичман Волковицкий: "Мы должны вступить в бой и потом затопить корабли". Автор тем самым противопоставил мичмана с его чувством солдатского долга некомпетентному тогдашнему командованию императорского флота. Этим мичманом и был наш генерал, командовавший нами под Томашевом.

Он был флотским офицером, после русско-японской войны закончил морскую академию Генерального штаба в Петербур-

ге. В начале Первой мировой войны он служил на черноморском флоте, которым командовал ставший позже широко известным адмирал Колчак. После революции он через Дальний Восток добрался до Франции, вступил в польскую армию и вошел в Польшу с частями генерала Галлера, будучи в то время командиром пехотного батальона. В последний год перед началом войны с Германией генерал был уже на отдыхе, но его призвали для прохождения службы в армии генерала Донб-Бернацкого. Во второй половине сентября 1939 года, уже после вступления большевиков в войну, он принял командование нашей дивизией.

В козельском лагере я как-то спросил его:

— Пан генерал, вы же знали в конце сентября, что плена нам не избежать, и было в ваших силах повести кампанию так, чтобы мы оказались в немецком, а не в большевистском плену. Но вы выбрали иную дорогу, почему?

— Видите ли, — ответил мне генерал, — если бы мы попали в плен к немцам, мы бы до самого конца войны были бы лишены возможности участвовать в боях, мы были бы просто-напросто замурованы в лагере. Тут же у нас есть большие возможности. Конечно, нас могут расстрелять, но у нас все же есть возможность выйти из лагерей и участвовать в войне.

Генерал Волковицкий без сомнения был прирожденным солдатом, и он им был в царском флоте под Цусимой, и в возрожденной Польше. В сентябре 1939 года он показал себя не только способным принимать правильные решения, но и реализовывать их. И несмотря на все его заскоки, была в нем какая-то целостность. Полковник же Новосельский был совершенно иного типа человек. Был он не только интеллигентом и хорошо обученным штабным офицером, но и романтиком. Выражение его всегда спокойного лица и тихого голоса, которым он обращался к подчиненным, отдавали какой-то загадочностью. Это был солдат, воспитанный под огромным влиянием личности Йозефа Пилсудского. Как фронтовой командир он всегда действовал в рамках так называемой "пилсудчины", так сильно упавшей в глазах народа в результате

бездумной политики наших правителей после смерти Пилсудского.

Когда в 1942 году я уехал из России, я слышал много историй о "богатырях" залешчицкого шоссе, которым удалось на автомобилях добраться до Румынии, прихватив с собою не только багаж и семьи, но и своих любовниц. Высшее офицерство стало после сентября 1939 года очень непопулярным в среде народа и остается, пожалуй, таковым до сих пор. А ведь так мало известно и говорится о тех высших офицерах, что во второй половине сентября воевали в лесах и на каждом шагу показывали примеры личной доблести. Как мало сделано для правды о тех, что либо погибли, пройдя через немецкие или советские лагеря, либо под псевдонимами принимали действительное участие в Армии Краевой¹⁷. И когда я слышу о горьких событиях той страшной осени на дорогах в Румынию и Литву, я вспоминаю своих командиров, ни одному из которых никто из их подчиненных не смог поставить в укор их поведение и их понимание солдатского долга. И мои товарищи, что лежат в катынской могиле, тоже ничего не знали и никак не участвовали в делах на залешчицком шоссе. Старый генерал, взявший на себя командование остатками полуразбитых частей, и молчаливый полковник, лично ходящий на передовую для инспекции частей, навсегда остались для них примерами офицерской доблести.

ПЛЕН

День, описываемый мною сейчас, был последним днем нашей боевой эпопеи. Пока мы с генералом Волковицким стояли в столовой, полковник Новосельский отдавал последние распоряжения, формируя маршевые колонны. Мы двинулись в путь сразу же после захода солнца. Во главе колонны ехал полковник, за ним — оба батальона, точнее, их остатки, дальше тянулись обозные повозки. У нас осталось всего человек триста. Это уже не был сплоченный боевой отряд, готовый два дня назад к любым схваткам с врагом, сейчас это

были остатки полка, стремящиеся, избегая боев, достичь венгерской границы, пройдя между отступающими немцами и наступающими русскими. Ночь была холодной, усидеть в седле было совершенно невозможно — так замерзали ноги. Я слез с коня, отпустил подпруги и повел его на поводу. Рядом со мною, не различимые в темноте сентябрьской ночи, двигались фигуры солдат. Я прислушался к их разговору. По выговору понял, что это уроженцы Шленска, офицеры резерва. Они рассуждали о России и считали ее нашим естественным союзником, они были убеждены, с востока идут друзья, идут нам на помощь. "Господи, — подумал я, — насколько же были умнее мобилизованные белорусские крестьяне и виленские "жлобы", когда несколько часов назад уничтожали оружие, дабы не досталось оно большевикам".

Под утро мы остановились на отдых в маленькой, окруженной лесами, деревушке, выставив, как обычно, вооруженные автоматами караулы. Подумав, генерал Волковицкий приказал снять караулы, а полевые кухни укрыть в близлежащих зарослях. Мы в основном рассчитывали не на прорыв, а на продвижение лесными дорогами, стараясь не привлекать к себе внимания русских.

Примерно через полтора часа мы были окружены советской кавалерией, которая буквально наводнила деревню. Полковой адъютант, поручик Селицкий, спавший рядом со мной на соломе, брошенной на пол, даже не успел надеть мундир, так быстро все произошло. Так его в одной короткой кавалерийской куртке и привезли в Козельск. Русские распустили рядовых, а офицеров отконвоировали в штаб своей дивизии, расположившейся километрах в десяти от деревни. По дороге в штаб мы остановились на короткое время, которого было вполне достаточно, чтобы конвоиры успели освободить нас от часов и иных ценных вещей.

Придя к штабу дивизии, нас построили полукругом. Вышел командир дивизии, молодой и очень энергичный человек. Он отдал честь и сказал:

— Добрый день, господа офицеры. Что, приподнесли вам немцы настоящую тотальную войну?

После чего он с видом знатока стал говорить о немецкой наступательной стратегии и особенно о роли авиации в уничтожении польских частей. На его слова кто-то из наших рядов отозвался:

— Сегодня нам, а завтра — вам.

— Ну нам-то не сделают, — ответил генерал. — У нас и оружие есть, — добавил он, похлопав себя по кобуре, что, видимо, должно было означать, что Советский Союз достаточно хорошо вооружен, чтобы противостоять немецкому нападению.

После этого советский командир спросил, кто из пленных старший по званию, ему указали на генерала и на полковника.

— Вы, генерал, видимо, знали еще старую царскую армию? — обратился он к Воловицкому. Потом он подошел к полковнику Новосельскому с каким-то вопросом, которого я не запомнил, да и неважно — полковник на вопрос не ответил. Он смотрел на советского командира, но как бы его и не видел. Последний же, решив, что полковник не понимает по-русски, повернулся к стоящим рядом с просьбой перевести его слова. На что полковник своим обычным очень спокойным и уравновешенным голосом ответил:

— Скажите ему, что у меня нет ни малейшего желания отвечать ни на один из его вопросов.

— Я не заставляю, я не заставляю, если не хочет, не надо, — взмахнул руками советский офицер и заверил нас, что на всех уровнях и везде, где мы будем, к нам будут относиться с уважением. Разговор прекратился, и мы стали садиться в кузов подъехавшего грузовика. Кто-то из наших обратился к командиру советской дивизии, что по дороге у нас отобрали часы. Тот вызвал начальника конвоя и приказал вернуть отнятое. Через несколько минут принесли кучу часов, и мы начали искать в ней каждый свои. Кто-то из советских офицеров сказал, что скорее всего начальник конвоя будет расстрелян. Один из наших офицеров обратился к советскому генералу со словами, что никто из пленных не имеет к конвою никаких претензий.

— Ну, наши военно-полевые суды не шутят, — ответил советский офицер.

По дороге конвойные нам сказали, что передадут нас в руки НКВД, которые, вероятно, будут относиться к нам много хуже, чем регулярные армейские части. Проезжая через Тарнополь, мы видели двух польских офицеров, шедших под конвоем по улице. Мои товарищи уверяли, что это были полковник Обертинский, начальник штаба армии Денба-Бернацкого, и начальник разведки той же армии майор Бонкевич. Но я после потери своих очков не смог их разглядеть. Во Львове нас на несколько часов разместили в комендатуре, после чего посадили на поезд и повезли дальше на восток. Особенно тяжелым для нас был момент пересечения бывшей польской границы.

Мы приехали на станцию Подволочиск, где прямо под открытым небом, за оградой из колючей проволоки, располагались привозимые из Польши пленные. Кроме военных, там также было довольно много полицейских чинов. Спустя два дня нас стали сажать в советские товарные вагоны. Я говорю советские, потому что были они сделаны под русскую, более широкую, чем наша, колею. Вагоны были неправдоподобно грязными и замусоренными. Из Подволочиска нас медленным ходом отправили в Киев. В первый раз мы почувствовали на себе все прелести этапа, идущего по безграничным российским просторам. Мы узнали и почувствовали на себе и липкую грязь вагонов, и холод, и голод, недостаток воды и полнейшую невозможность отправления естественных потребностей иначе как прямо на пол вагона. Через несколько дней такой дороги нас высадили в Киеве, где накормили обедом в какой-то пристанционной рабочей столовой. В длинном и довольно просторном помещении стояли грубо сколоченные длинные столы, за которыми мы и заняли места. Каждому была выдана тарелка и кусок хлеба, а на каждых шесть человек была выдана большая миска вкусного украинского борща. В столовой, я бы назвал ее баракком, было довольно чисто, посуда тоже была чистая, да и обслуживающий персонал в белых халатах производил приятное впечатление.

Обед этот стал для нас коротким отдыхом в долгой и трудной дороге.

Когда нас конвоировали в столовую, у подъездных путей, где мы шли, стояло много местных женщин, пришедших с явной целью посмотреть на нас. Женщины внимательно и с сочувствием смотрели на нас, некоторые плакали. Их отношение было для нас неожиданным, странным и трогательным. И только уже в лагерях я понял, чем это был вызвано. До 1939 года среди части украинского населения бытовала легенда о замечательной и сильной польской армии. Многие надеялись, что скоро наступит день освобождения, принесенного им войском польским. И вот теперь потенциальных освободителей везут в тех же теплушках, что и миллионы советских узников. Это и породило сочувствие и одновременно горечь и печаль о несбывшихся надеждах на освобождение. Одна из женщин, прошмыгнув между конвоирами, побежала к полковнику Новосельскому и сунула ему в руки домашнюю белую булку и убежала назад, в толпу, так быстро, что полковник даже не успел ее поблагодарить. Почему она в толпе пленных выбрала именно его? Случайно? Или лицо полковника еще не потеряло своей притягательности?

ПУТИВЛЬ

Из Киева нас привезли в предместье Путивля, на севере Украины. Это очень древний город. Князь Игорь, походы и битвы с кочевниками-половцами которого описаны в древнейшем памятнике русской литературы "Слове о полку Игореве", княжил именно в Путивле. Выходя из вагонов, я пытался припомнить слова из перевода "Слова":

*То не кукушка ночью темной кукует с горя на горе,
В Путивле плачет Ярославна одна на городской стене...*

Образ голосащей на городской стене княжны, вопрошающей у ветра о судьбе Игоря, чувствующей приближение несчастья, болезненно сковывал душу и вторил моим чувствам.

Под Путивлем нас разместили в какой-то деревушке, из

которой жители были куда-то выселены, видимо, специально, чтобы освободить для нас место. Вокруг деревни простирались поля свеклы. Нашу группу разместили в домике, который как бы состоял из двух избенок — трех- и двухкомнатной. В двухкомнатной части разместили полицейских, в трехкомнатной части поместили нас — группу из более чем ста офицеров, среди них было и около тридцати офицеров нашего полка. Из других я сейчас могу вспомнить только несколько высших офицеров из штаба генерала Денб-Бернацкого: начальника артиллерии полковника Кюнстлера, командира саперов подполковника Тышиньского и майора Сольского.

Служил в штабе Денб-Бернацкого и капитан Петр Дунин-Борковский. С ним мы довольно быстро сблизились. Это был дипломированный офицер. Но довольно скоро, после окончания Высшей военной школы он вышел в отставку и занимался хозяйством в имении своей жены на Гроднинщине. Не оставлял он без внимания и общественную жизнь, принимая в ней посильное участие. Он был председателем Виленско-Новгородского округа и какой-то военной организации, кажется, Союза офицеров-резервистов. Его мобилизовали еще до начала войны и определили в штаб Денба-Бернацкого. Высокий, красивый брюнет, с приятными манерами, он производил замечательное впечатление на окружающих. Я старался представить его в гражданской одежде, и мне всегда казалось, что особенно ему должен быть к лицу фрак. Перед самой войной на него свалилось большое несчастье — умерла его маленькая дочка. Его родственница, монахиня, сказала тогда, что невинная душа умершей дочери будет верной защитой в войне и ему и его семье. Беспокоясь о судьбе своей семьи, капитан Борковский, часто вспоминал эти слова родственницы, и в том катаклизме, что обрушился на Польшу, они наполнялись для него новым смыслом. Как-то мы с ним разговорились о жизни пленных, не помню уж, что было конкретной темой того разговора, но запомнились его слова: — Прошу вас, давайте просто помолимся.

И в этих словах прозвучала глубокая его убежденность,

что, пока люди упиваются своей силой, Правда Жизни будет ими забыта. В разных ситуациях потом мне часто вспоминались эти слова и выражение его лица.

Позже, уже в Козельске, Борковский был для своих коллег чем-то вроде учителя, постоянно читая им различные просветительские лекции и доклады. Я был единственным, кого он выбрал помогать себе в этом деле. В Козельске он получил письмо, из которого узнал, что жене с детьми удалось добраться до Кракова. Известие это его сильно успокоило — теперь его семья была недосягаема для проводившейся большевиками депортации поляков с захваченных территорий. Я не знаю, когда его отправили из Козельска в Катынь. Должно быть, это случилось в апреле 1940 года, потому что позже, во время ликвидации козельского лагеря, я его уже не встречал. В докладе международной комиссии, занимавшейся расследованием катынских событий и эксгумировавшей могилы, капитан Дунин-Борковский фигурирует под номером 2283. Майор Адам Мошинский в своей книге "Катынские листы" дважды упоминает его, называя то просто Борковским, то Дуниным-Борковским*.

Очень важными свидетельствами в работе международной комиссии были обнаруженные на трупе уже упоминавшегося мною выше майора Адама Сольского листы его дневника, куда он записывал все наиболее важные события из жизни пленных. Этот дневник стал одним из важнейших документов истории катынского преступления. Судьбы двух других, упоминавшихся мною офицеров из штаба армии генерала Денб-Бернацкого, полковника Кюнстлера и подполковника Тышиньского, сложились совершенно иначе. Им удалось избежать участи жертв Катыни. Они были отобраны и в числе других офицеров посланы советскими властями в так называемую "виллу роскоши" под Москвой, где размещались пленные польские офицеры, с которыми большевики намеревались наладить сотрудничество. Полковник Кюнстлер попал позже в Грязовцы

* Adam Moszynski. *Liscie Katynskie*. Gryf Publishers, London, 1949.

и служил в Войске польском. Судьба подполковника Тышиньского мне меньше известна. Скорее всего он также служил в Войске польском, откуда был уволен в отставку.

Отдельной группой в Путивле были кавалеристы полковника Желиславского, составившие впоследствии, если я не ошибаюсь, костяк кавалерийской бригады генерала Андерса. Была в лагере и небольшая группа подхорунжих во главе с подполковником Ваней и ротмистром Вацлавом Станкевичем, бывшим жителем Вильно и офицером 13-го пехотного полка. С последним мы сердечно подружились. В марте 1940 года Вацек признался мне в своем огромном желании исповедоваться и причаститься Святых Тайн. Я, поговорив с коллегами, организовавшими тайные религиозные службы, устроил ему исповедь. Это была, пожалуй, наичценнейшая услуга, которую мне удалось оказать товарищу в преддверии катынской трагедии.

Двое из организаторов нашей лагерной религиозной жизни жили в нашем бараке. Это были одноглазый уроженец Гродно, командир взвода саперов капитан Антоневиц, бывший до войны начальником речного порта в Модлине, и его приятель — поручик Полуян, бывший поветовый инженер в Ошмяне. Капитан Антоневиц в лагере почувствовал жгучую необходимость укреплять свою веру и побуждать других следовать его примеру, это стало частью его натуры. Поручик Полуян, кажется, был полностью под его влиянием. Оба они были прекрасными солдатами, до последней минуты старавшимися пробиться с батальоном к венгерской границе. В Козельске Полуян был одним из тех, кто горячо агитировал всячески противодействовать возможной передаче нас немцам. Кажется, он даже организовал отряд, намеревавшийся пробиться в Сирию и соединиться с частями генерала Вейганда. Он жаждал участия в боях. Сейчас, вспоминая их, я думаю, они были современными мучениками.

В Путивле я встретился и с молодым ученым, перед самой войной получившим кафедру психиатрии Университета Стефана Батория, доктором Годловским. До него на этом посту был всемирно известный нейролог профессор Розе. Розе много

лет работал в Германии, но с приходом нацистов к власти ему, еврею, пришлось выехать из страны. Впрочем, он скоро получил место в Вильно, где при университете специально для него был создан Институт изучения мозга. Именно этому институту был передан для изучения мозг маршала Пилсудского. Сотрудники, среди которых было немало почитателей маршала, отнеслись к порученному заданию с огромным энтузиазмом. Скоропостижная кончина профессора Розе была сильным ударом для института. Поиск подходящего преемника привел к тому, что выбор пал на 37-летнего доцента Ягеллонского университета доктора Годловского. Годловский вместе с семьей перебрался в Вильно летом 1939 года и готовился с началом нового учебного года приступить к своим обязанностям. С началом войны он был мобилизован, получил чин поручика медицинской службы и направлен в какое-то подразделение на Волыни. В плен его взяли, что называется, с поезда, которым его батальон транспортировался для участия в боях с немцами.

Профессор Годловский выступил перед пленными в Путивле с лекцией о задачах и методах изучения мозга. Его лекцию можно считать первой ласточкой самодеятельной просветительской кампании, так широко развернувшейся позже в Козельске. Инициатива проведения лекций принадлежала генералу Волковицкому, с первых дней нашей лагерной жизни уделявшего пристальное внимание поддержанию морального духа пленных на должной высоте. Было это в октябре 1939 года, то есть как раз тогда, когда в нормальных условиях в польских университетах начинается первый семестр. И если бы не война, то профессор Годловский именно в эти дни читал бы свою первую лекцию, которая по традиции Виленского университета должна быть прочитана для самой широкой аудитории. Но свою первую лекцию в должности заведующего кафедрой он, увы, прочитал, хотя и публично, но не в университетских стенах, а перед военнопленными путивльского лагеря. Он стоял перед нами в начищенных ботинках, чуть ниже среднего роста, с немного бледным лицом, слегка опершись на пень, и одухотворенно говорил о своем предме-

те. Из окон были видны заборы из колючей проволоки, большевистские патрули, а дальше — неоглядные поля свеклы, а в избе, в ужасной тесноте сидели на полу офицеры и слушали лекцию о строении и функциях головного мозга. "Это тот, которому доверили мозг маршала", — сказал кто-то за моей спиной.

Профессора Годловского я часто встречал потом в Козельске, где он жил в холодной и какой-то особенно неудобной комнате. Я запомнил его сидящим в ботинках и шинели на нарах и читающего по-английски мемуары Черчилля о Первой мировой войне. Он не был ни оптимистом, ни пессимистом, и его никогда не охватывали изменчивые настроения, волнами ходившие по козельскому лагерю. Он всегда был спокоен и уверен в себе. Короче говоря, он имел редкий дар быть постоянно тактичным в отношении окружающих, а особенно — в отношении своих пациентов. Я не заметил, чтобы профессор был особенно дружен с кем-нибудь. Отношения его были равными со всеми, и, в свою очередь, окружающие относились к нему с уважением, и я ни разу не слышал ни единого злого слова в его адрес. От него как бы исходили гармония и внутренняя сила, облегчавшие его отношения с людьми. Не помню, когда он был отправлен в Катынь, но, кажется, он был послан туда одним из первых.

Из других пленных, встреченных мною в Путивле, помню еще генерала Богатыревича и евангелистского капеллана полковника Пешке. Генерал Богатыревич был уже глубокий старик, ему было за семьдесят, и уже много лет он был в отставке. Большевики нашли и арестовали его в Друскинае. Во время советско-польской войны он командовал Гродненским пехотным полком, входившим в состав Второй белорусско-литовской дивизии, ставшей позднее 29-й пехотной дивизией. Старик, несмотря на частые сердечные приступы, старался держаться в лагере бодро, часто шутил и пытался заразить своим оптимизмом других.

Капеллан полковник Пешке был всеобщим лагерным любимцем. Позже он вместе с нашей группой был доставлен в Козельск, где и разделил спустя некоторое время участь поль-

ских армейских священников. В Сочельник 1939 года они были вывезены в неизвестном направлении и расстреляны, может быть, даже там же, в Катыни. Я бы даже рискнул предложить гипотезу, что расстрелы в катынском лесу скорее всего начались уничтожением на Рождество 1939 года римско-католических священников (ксендзы Войтыняк, Скорела, Новак и другие).

В Путивле вся наша группа офицеров 19-й пехотной дивизии была размещена в одной избе, где мы спали в ужасной тесноте прямо на полу. Не было и речи, чтобы спать на спине. Более того, если кто-то среди ночи хотел перевернуться с бока на бок, он должен был сначала разбудить и предупредить соседей. Маневр этот можно было осуществить только всем сообща и по команде — так было тесно. Со мною рядом обычно ложился полковник Новосельский, а мои ноги упирались в генерала Волковицкого. Генерал часто рассказывал нам о своей жизни, весьма богатой событиями и приключениями. Так, он рассказал нам о попытке своего побега из японского плена, куда он попал в 1904 году, во время русско-японской войны. Но был пойман на корабле, шедшем в Австралию. Не зная ни слова по-английски, он пытался выдать себя во время ареста за сына какой-то англичанки. Японцы его судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Однако отсидел он всего шесть недель. Он с юмором рассказывал нам о японской военной тюрьме, где не было ни ложек, ни стульев. Наше нынешнее положение, впрочем, мало отличалось от заключения мичмана Волковицкого. И как с юмором заметил генерал, единственным его богатством была пара кальсон, исправно заменявшая подушку. Генерал имел сильное чувство товарищества и ежедневно отдавал часть своей хлебной пайки молодым офицерам, говоря, что не голоден.

Полковник Густав Новосельский и в плену был, как всегда, малоразговорчив, но, когда он все-таки решался говорить о своей предвоенной жизни, голос его становился еще тише и как-то мягче. Да и рассказывал он немного: об умершей незадолго до войны от туберкулеза жене, о безра-

достных днях своего вдовства, о своей сестре и о милых его сердцу товарищах по Высшей военной школе. И тем не менее, все мы чувствовали, что и здесь, в плену, он остался нашим командиром, не только по приказу свыше, но и по нашему выбору.

Как-то нам выдали доски, и мы сколотили из них двухэтажные нары. И вновь мое место оказалось рядом с полковником Новосельским. С другой стороны расположился подхорунжий, о котором я уже писал, что он мог уйти из лагеря, но добровольно остался разделить судьбу своих боевых товарищей. Нам удалось добиться разрешения на проведение утренней гимнастики, которую стал проводить один из командиров нашего полка, закончивший перед войной Институт физической культуры. Он выделялся в нашей компании еще и тем, что не был уроженцем Шленска, как большинство из нас, а происходил из Мазура. Не могу вспомнить его имени, в памяти только осталось выражение его лица и энергичная походка. Он обладал замечательным чувством юмора, и его шутки скрашивали наше житье и в Путивле и позже, в Козельске. Когда кто-нибудь начинал говорить о возможности нашего скорого освобождения, он любил повторять: "Ну да, самые трудные — первые три года, потом будет легче". Мы тогда не могли себе представить, что наше заключение может оказаться столь долгим, и слушатели обычно брызгали смехом, воспринимая его слова как добрую шутку. А тем временем именно так все и получилось — те, кому удалось избежать катынского расстрела, пробыли в Советском Союзе почти три года.

Постепенно мы узнали, что наша огороженная колючей проволокой зона не единственная в этих краях. В разных местах были созданы другие лагеря для пленных польских офицеров, рядовых и полицейских. Наших соседей по бараку, полицейских, отправили из лагеря в другую зону, а на их место прислали группу рядовых. Судя по их выговору, они были уроженцами Центральной Польши и были собраны из разных лагерей по принципу места жительства. Объяснение "политруков", что они готовятся к отправке в Польшу, выгля-

дели для нас весьма правдоподобно. Надо сказать, большинство моих коллег восприняли отъезд полицейских со вздохом облегчения.

Сам я имел возможность наблюдать наших полицейских в России дважды: в Подволочисках и в Путивле. И оба раза у меня было одно и то же мнение о них — разложение дисциплины в рядах полицейских происходило много быстрее, чем среди любых других категорий пленных. Часто от них можно было услышать и критику довоенной Польши, отношение их к офицерам часто было просто враждебным. В Подволочисках я даже слышал их выкрик в наш адрес: "Что, кончилась ваша власть". В Путивле генерал Волковицкий был настолько возмущен их безобразным поведением, что пригрозил, по возвращении в Польшу, призвать их к ответу. Мне тяжело сейчас об этом писать — судьба полицейских была не менее трагична, чем судьба моих товарищей, убитых в Катыни. Мы почти ничего не знаем о шести тысячах убитых в лагере в Осташково, под Калинином, и, более того, польская общественность гораздо меньше интересуется этим вопросом, чем событиями в Козельске и Старобельске. Мне бы очень хотелось, чтобы мои наблюдения пленных польских полицейских были бы опровергнуты наблюдениями других людей или хотя бы не носили всеобщего характера.

Наши новые соседи, рядовые, хотя и пробыли с нами всего несколько дней, успели оставить очень приятное впечатление. Никогда до этого у меня не было случая так близко сойтись с польскими крестьянами и рабочими. В армии я преимущественно имел дело с польско-белорусской солдатской массой, но они сильно отличались от центральнопольского населения. Только в 1919 году я недолго служил в батарее, целиком укомплектованной из варшавян. Но варшавяне — это очень своеобразный элемент, и они никак не отражают характера большинства польского населения. Да и жил я в Центральной Польше только во Вроцлаве. И надо сказать, короткое наблюдение рядовых, готовившихся к возвращению на родину, было для меня откровением. Наиболее удивившей меня чертой было их ощущение собственного пре-

восходства по отношению ко всему и всем, что им встречалось в России.

Среди пленных офицеров господствовало чувство солдатского долга, я бы даже сказал, экзальтированное отношение к своему солдатскому долгу. Россия своим ударом с тыла как раз и сделала невозможным выполнение нами своего долга, и уже только поэтому отношение к ней не могло быть особенно добрым. Ну а беспорядок, грязь и хамство, постоянно встречавшиеся нами в этой стране, только усиливали нашу нелюбовь. Правда, некоторые офицеры, особенно резервисты, с интересом приглядывались к происходящему в России, внимательно слушали речи политруков и смотрели вечерами агитационные фирмы. Они часто говорили политрукам, что хотели бы видеть Россию союзником Польши в борьбе с Германией, и говорили это, как мне казалось, довольно чистосердечно. Вообще, их отношение к России складывалось из удивления и доброй воли. И все мои наблюдения и в Путивле, и в Козельске, лишней раз подтверждали мои довоенные выводы, что польская интеллигенция не только настроена крайне антинемецки, но и имеет потенциальную пророссийскую ориентировку.

Ничего подобного я не нашел в среде рядовых. Были они абсолютно безразличны ко всему, что видят вокруг, и ко всему, что говорили им политруки. Со смехом они рассказывали о неоднократно сделанных им предложениях остаться в Советском Союзе. Мне кажется, эти люди имели вокруг себя некую психологическую стену из представлений и привычек, пробить которую советской пропаганде было чрезвычайно трудно. И еще одно интересное наблюдение: они, рядовые, понимали, что Германия — враг, напавший на их страну, но ненависть, испытываемая ими к немцам, была много умеренней ненависти интеллигенции. Все эти наблюдения привели меня к мысли, что если когда-нибудь Советская Россия и подомнет Польшу, то сделает она это через польскую интеллигенцию, а не через рабочий и крестьянский люд. И информация, приходящая в наше время из Польши, пожалуй, подтверждает этот мой тезис.

Итак, наши отношения с новыми соседями сложились как нельзя лучше. У них было довольно советских денег, и, ожидая скорого возвращения домой, многие из них охотно меняли их на золотые. Они также согласились передать домой много наших писем и записок, которыми мы и снабдили их в избытке. Из лагеря они ушли в последнюю неделю октября. Всю эту ночь по дороге мимо нашего барака маршировали колонны рядовых, поющих польские песни. Были они собраны из разных зон и направлялись к железной дороге. Одна из колонн, поровнявшись с нашим бараком, громко крикнула: "Да здравствуют наши офицеры!" Так вели себя польские рядовые в советской неволе.

После отправки всех рядовых нам было объявлено, что и нас ждет дорога к новому месту, где будет концентрироваться контингент польских пленных. Почти сразу же после этого известия была формальная передача нас из рук Красной армии в руки НКВД, сопровождавшаяся частыми перекричками, сверкой фамилий, имен, званий. В последние дни октября нас построили и отконвоировали на железнодорожную станцию, где в помещении сахарного завода мы провели ночь перед отправкой в Козельск. Были мы там не одни. Среди узников других зон я встретил Вацлава Комарницкого, моего коллегу по отделу права и общественных наук Университета Стефана Батория.

КОЗЕЛЬСК

В Козельск мы прибыли в первые дни ноября. Сначала мы ехали на север, в сторону Брянска, а оттуда — на восток, на Тулу. Нас вновь везли в товарных вагонах, но на этот раз в них были сооружены двухэтажные нары. Я расположился между полковником Кюнстлером и подполковником Тышинским. Во время этого этапа я случайно узнал, что местечко Плебание, в котором мы перед войной отдыхали с семьей, входит во владения его семьи. Естественно, мы быстро нашли много общих знакомых. Выгружались мы из вагонов уже

глубокой ночью, и несколько часов нас конвоировали по городским улицам. Но мы не встретили ни единого человека; покосившиеся, давно не отремонтированные домишки были погружены в сон. Часто нам приходилось обходить огромные грязные лужи, в огромном множестве встречавшиеся на мощеных улочках.

Конвой, хотя и имел сторожевых собак, не был строгим, и, пожалуй, можно было попробовать улизнуть. Я подчеркиваю эту либеральность конвойных оттого, что пять месяцев спустя, при ликвидации козельского лагеря и отправке пленных в Катынь, никаких поблажек уже не делалось. При погрузке в грузовики нас тщательно проверяли и обыскивали, отбирая все острые предметы. Да и везли нас уже не по городским улицам, а вокруг города, и погрузка в вагоны была не на станции, а поодаль, на запасных путях. Видимо, наши конвойные старались, чтобы этапы, отправляемые в Смоленск, как можно реже попадались на глаза местным жителям. Тогда же, по прибытии в начале ноября в Козельск, все делалось более просто.

Лагерь в Козельске состоял как бы из двух частей: монастыря, известного в России под названием Оптина пустынь, и скита. Монастырь сыграл видную роль в истории русской Церкви, особенно перед революцией.

Монастырь состоял из нескольких десятков каменных зданий и церквей, отгороженных стеной и рвом. Видимо, некогда он был важным оборонным рубежом на границе Московского государства и Великого княжества Литовского. Скит располагался в небольшом лесочке и первоначально предназначался для жития пожилых монахов. Постепенно там построились странноприимные дома и гостиницы для паломников. В основном это были небольшие деревянные домики. Профессор Виктор Сукенницкий написал прекрасную работу об условиях жизни и о топографии козельского лагеря. Я видел эту работу в рукописи лет 25 назад, но, к сожалению, не слышал, чтобы она увидела свет.

Первое время я провел в скиту, где меня поместили в маленьком бревенчатом домике, среди знакомых мне по Путивлю

кавалерийских офицеров. Среди нас, впрочем, было несколько офицеров-танкистов, легко узнаваемых по кожаным курткам. Был среди них и капитан Козилл-Поклевский, владелец пушной фермы под Вильно, я слышал о нем еще до войны, когда его жена работала секретарем богословского факультета университета. Мы с ним провели замечательный вечер, сидя на соломе у печи и вспоминая традиции польской кавалерии. Разговор этот был чем-то вроде наркотика для меня — так приятно было вспоминать с земляком в часы поражения блистательные события минувшего.

На следующий день началась селекция заключенных. Делили нас на две группы. В первую входили жители Литвы и польских территорий, оккупированных немцами, т.е. те, которых никак нельзя было причислить к советским гражданам. Во вторую группу входили жители восточных территорий, которые русские считали своими землями, и, следовательно, их население — советскими гражданами. Я попал в первую группу не только оттого, что Вильно входило в состав Литвы, но и потому, что при регистрации дал неверные данные о себе. Я чуть изменил звучание своей фамилии и, ни слова не говоря о своем профессорском звании, заявил, что был сотрудником Торгово-промышленной палаты в Варшаве. Разоблачили эту мою ложь только в марте 1940 года при ликвидации козельского лагеря. Первая группа была размещена в монастыре, вторая — в скиту, и между нами практически не было связи. Правда, мы получали иногда известия друг от друга, используя для этого либо русских служащих, посещавших обе части лагеря, либо через тех обитателей скита, что иногда приводились в монастырскую баню.

Мои впечатления о жизни в козельском лагере можно найти в моих воспоминаниях, помещенных в книге "Катынское преступление", вышедшей с предисловием генерала Андерса и под редакцией профессора Здислава Сталя в 1948 году*. Мне не хотелось бы тут повторяться, и посему я отсы-

* Zbrodnia Katynska w swietle dokumentow. Wydanie trzecie, Gryf Publishers, London. pp. 18 — 30, 40 — 49.

лаю интересующихся к этому сборнику, но кое-что, на мой взгляд, наиболее интересное и существенное, я все же опишу и в этих моих воспоминаниях.

Почти сразу же по сформировании лагеря стало ясно, что сформирован он для проведения следствия над каждым из пленных и селекции их по степени пригодности для советского режима. Естественно, следствие проводил НКВД. Необходимо сказать, что Советский Союз не был участником международной конвенции о военнопленных, не отличался особым уважением к человеческой личности и руководствовался в отношении пленных единственно своими собственными политическими целями, в двух словах которые можно описать, как достижение победы мировой революции¹⁸.

Руководил следствием комбриг Зарубин, занимавший довольно высокое положение в НКВД, человек достаточно образованный, владевший несколькими языками и очень приятный собеседник. Мне он напоминал образованных жандармских офицеров царской России, которых мне в юности пришлось узнать. Более подробно я его описал в моих воспоминаниях в сборнике "Катынское преступление"* . Ему подчинялась группа следователей в званиях от лейтенанта до майора, основной задачей которых было составление индивидуальной характеристики на каждого из нас. Причем характеристики эти базировались не только на личных беседах и наблюдениях, но и на других доступных материалах. Достать же такие материалы не представляло большого труда, особенно в отношении тех офицеров, что проживали на оккупированной Советами польской территории. Кроме того, в лагере было довольно много энкаведешников из числа младшего командного состава. Эти занимались в основном проведением политических бесед, мы их называли по советскому образцу "политруком". Официальной их задачей было выяснение в ходе политбесед степени лояльности каждого из нас к советской системе, и надо думать, после каждой такой беседы они должны были составлять подробный рапорт. Последнее слово

* Ibidem, pp. 26 — 28.

скорее всего принадлежало комбригу. Он довольно часто ездил в Москву, и, надо полагать, посещал лагерь польских пленных в Страбельске и Осташкове. Безусловно, его мнение сыграло свою роль в катынских событиях, хотя я и далек от мысли, что именно он принял решение о физической расправе над польскими офицерами. То же, что он мог распоряжаться отдельными судьбами, — это бесспорно. Во всяком случае, именно так случилось со мною. Так же скорее всего случилось и с профессором Вацлавом Комарницким, прекрасным знатоком конституционного и международного права, мобилизованного на службу в военный трибунал. Комбриг еще в самом начале следствия распорядился перевести профессора Комарницкого, который был в звании подпоручика, в офицерский барак, заселенный в основном полковниками, где условия жизни были много лучше. После ликвидации козельского лагеря Комарницкий попал в Грязовец и сразу же после заключения договора между Майским и Сикорским в 1941 году выехал в Лондон, где получил портфель министра юстиции в правительстве генерала Сикорского. По прибытии в Лондон профессор предпринял серию демаршей через польский МИД и посольство СССР с целью освободить меня из советского лагеря, куда я был помещен вопреки советско-польской договоренности.

В Козельске мы получили право переписываться с семьями, но обратным адресом должны были указывать: "дом отдыха имени Горького". Впрочем, я не исключаю, что первоначально и существовал проект создания дома отдыха в монастырских помещениях — климат в этой местности был очень здоровым. И тем не менее, название домом отдыха церковных зданий с пятиэтажными нарами внутри и несколькими сотнями заключенных — замечательный пример советского языкотворчества.

Название это было причиной и нескольких трагикомических происшествий. Так, мне рассказывали об одном офицере, который получил из дома письмо с укором от жены, что, дескать, в то время как семья чуть с голоду не умирает, сам он забавляется в доме отдыха. Другой офицер, житель Льво-

ва, показал мне письмо от жены, в котором она его просила приложить все усилия и использовать все свои связи в Советском Союзе, чтобы власти не уплотняли бы ее жилье. Но стоит и сказать, что в нашем лагере условия жизни вне всякого сомнения были много лучше, чем в других советских лагерях. Нам выдавали по 800 граммов ржаного хлеба, на обед и ужин мы получали суп и кашу. А в супе можно было найти кусок мяса или рыбы. Конечно, порции эти были не так велики, чтобы насытить, но достаточны, чтобы поддержать силы организма. А те из нас, кто соглашался работать на территории лагеря или за ней, получали дополнительное питание.

Что касается морального климата в лагере, то мы делали все, чтобы поддерживать наш дух на достаточно высоком уровне. Многие из нас по-прежнему надеялись на скорую помощь. Поляки, вообще, надо сказать, весьма склонны полагаться на помощь Запада. В начале XIX века мы верили в Наполеона, во время январского восстания — в Наполеона III, во время Второй мировой войны мы не переставали надеяться на Черчилля...

Одним из наиболее существенных факторов поддержания нашего духа была наша духовная жизнь в лагере. Среди нас было много капелланов, и хотя они и носили такие же мундиры, как и все прочие пленные, администрация довольно скоро поняла, что это не кадровые офицеры. Среди римско-католических священников я хорошо помню ксендза Войтыняка, заместителя полевого епископа, ксендзов Новака, Зюльковского, Скорела. Ксендз Кантак, профессор Пинской духовной семинарии, был единственным штатским священником, попавшим в наш лагерь. Попал он в плен чисто случайно. Он проводил время в компании знакомых офицеров, когда их внезапно арестовал советский патруль.

Любые публичные моления в лагере были строго запрещены, поэтому службы наши принимали характер первохристианских катакомбных молений. Службу обычно проводили где-нибудь в укромном месте, причащая кусочками пайкового пшеничного хлеба. Ну и кроме того, в каждом бараке была привыч-

ка отправления вечерней молитвы во время трехминутной тишины перед сном. И когда около девяти часов вечера кто-то говорил: "Прошу трехминутной тишины", все замолкали и погружались в таинство общения с Господом. Чаще всего это происходило во время прогулок перед сном. Если же мы видели кого-то из офицеров, прогуливающихся под руку с ксендзом, можно было не сомневаться, что таким способом происходит исповедь. И было много примеров того, что люди, никогда раньше не интересовавшиеся религией, в этих условиях охотно становились членами христианских общин. Особенно мне запомнились два таких случая.

В Сочельник 1939 года были арестованы и вывезены все священники, как католические, так и православные. Единственным исключением стал ксендз Зюлковский, который как раз в это время сидел в карцере, — он был схвачен на месте "преступления", когда отправлял молитву. Скорее всего, о нем просто забыли, когда был получен приказ срочно собрать и отправить этап духовных особ. Видимо, все они были расстреляны, за исключением ксендза Кантака, бывшего гражданином вольного города Гданьска, что его и спасло. То есть его можно было считать германским гражданином, а с Германией в то время у России был военный союз. В конце концов он тоже оказался в Грязовце, лагере под Вологодой, куда было свезено около 400 офицеров. Это примерно три процента от числа всех польских пленных, бывших в советских лагерях. Мотивы, по которым этим трем процентам была сохранена жизнь, на мой взгляд, не менее загадочны мотивов, по которым остальные 97 процентов были ликвидированы. Позднее в Грязовец были привезены и те польские офицеры и подхорунжие, что были захвачены во время оккупации Литвы летом 1940 года.

Факт, что днем расправы над ксендзами было выбрано Рождество, был настолько символичен, что надолго поверг нас в уныние. И когда я позже встречал в советских лагерях православных монахов, утверждавших, что Россией ныне правят слуги сатаны, я не воспринимал их слова за нонсенс, а вспоминал предвидения великих русских писателей — Федора

Достоевского, Владимира Соловьева и Дмитрия Мережковского и слова Марьяна Зджеховского, великого знатока православной психологии, мы с женой были с ним близкими приятелями. Хочу особенно подчеркнуть, что в то Рождество расправились не только с ксендзами в нашем лагере, но и в Старобельске. Об этом можно найти свидетельства очевидцев*. Это была централизованная акция, но, к сожалению, нет никакой информации когда, где и как была учинена расправа. Среди же останков, эксгумированных Международной комиссией в Катыни в 1943 году, не было ни одного из упомянутых ксендзов.

Общими усилиями мы организовали в лагере устный ежедневный журнал, который также был весьма важным элементом в поддержании морального духа узников. Обычно чей-то сильный голос читал подготовленные заранее статьи из темных уголков церковных хоров, лагерной же администрации среди тысячи заключенных не так-то было легко и понять, откуда идет чтение и найти кто читает. В день Святого Йозефа, 19 марта 1940 года, естественно, наш журнал был целиком посвящен памяти маршала Пилсудского. Для меня это было самое трогательное мероприятие из всех, в которых я когда-либо принимал участие. Международная часть бюллетеней обычно базировалась на сообщениях, доступных узникам советских радиопередач и газет. Главными редакторами ежедневника были бывший студент Виленского университета, близко связанный с левыми католическими кругами, подпоручик Леонард Коровайчик и доцент кафедры экономики Познаньского университета поручик Януш Либицкий. С последним меня связывала общая специальность и схожесть наших взглядов на некоторые аспекты польской политики. Во время ликвидации козельского лагеря я провожал его почти до самого сборного пункта этапа.

Состав лагеря не был постоянным. От нас не только часто увозили людей, но и привозили небольшие группы пленных из других лагерей. Так, в 1939 году к нам прибыла группа из

* Ibidem, pp. 31—32.

нескольких десятков офицеров-резервистов в штатской одежде, арестованных в Вильно. Они нам рассказали, что после занятия большевиками города они распространили приказ о необходимости регистрации бывших польских офицеров. Некоторые пришли на регистрационные пункты, с них взяли какие-то показания и отпустили. Но по прошествии некоторого времени всех, прошедших регистрацию, задержали и направили в Козельск. Я не помню фамилий этих людей, но, скорее всего, все они лежат в катынской могиле — ни одного из них я не встретил ни в Войске польском, ни потом за границей.

В начале 1940 года в наш лагерь привезли группу преимущественно штатских людей и разместили их в отдельном блоке, окруженном колючей проволокой и постами охраны, так что получилась зона в зоне. Из нее довольно часто строим выводили группы заключенных и вели в туалет, находившийся во внешней зоне.

Итак, чтобы вступить в контакт с таинственными обитателями внутренней зоны, надо было под каким-нибудь предлогом остаться в туалете и дожидаться очередную их группу. Именно таким способом мне и удалось познакомиться с двумя из них.

Одним был полковник Корнилович, занимавшийся в министерстве обороны вопросами просвещения в армии. Я хорошо знал его брата, ксендза в ласковском доме слепых под Варшавой. Именно ксендз Корнилович совершил обряд соборования маршала Пилсудского за несколько минут до его кончины в 1935 году. Встречался я и со вторым его братом, работавшим в Институте общественных наук в Варшаве. От них мне было известно, что полковник женат на дочери писателя Генрика Сенкевича. Полковник, можно сказать, был тесно связан с интеллектуальными кругами довоенной Польши и с развитием ее духовной культуры. Встреча наша была более чем сердечной; полковник обеими руками долго пожимал мне руку и очень радовался встрече. Захватили его во время поездки на штабном автомобиле где-то на юге Польши. Он понятия не имел, отчего советские власти считают его осо-

бо опасным и поместили во внутреннюю усиленно охраняемую зону.

Вторым человеком из-за колючей проволоки был подолянин, назвавшийся Чайковским. Бывало ему на вид лет около сорока. Арестовали его за участие в прометейских организациях. Прометеизм — это было народное движение за независимость кавказских народов. В движении этом участвовали также и поляки, украинцы и представители среднеазиатских народов. НКВД жестоко расправлялся с участниками прометейства, и потому я был сильно удивлен той открытостью, с которой Чайковский говорил о своей принадлежности к движению первому встречному незнакомому человеку. Я спросил его о судьбе нескольких известных мне людей с Подола и получил исчерпывающие ответы.

Внутренняя зона просуществовала в нашем лагере не больше двух недель, после чего всех ее узников вывезли в неизвестном направлении. Едва ли кто-то из них остался в живых.

Еще одним контингентом узников козельского лагеря стала группа юристов, арестованных на Волыни. От одного из них, бывшего начальника административного отдела воеводского управления Луцка, я узнал кое-что о судьбе тамошних моих друзей. Один из моих друзей, работник воеводского управления, был арестован, и что с ним случилось — неизвестно. Группа юристов была в лагере до самого его расформирования и, видимо, тоже лежит в катынской могиле.

Третьей группой, прибывшей уже после формирования нашего лагеря и начала следствия, были младшие офицеры из Старобельска. Точного числа я назвать не могу, а названная мне тогда цифра — 200 человек — кажется сильно преувеличенной. Именно от них мы узнали о существовании лагеря военнопленных в Старобельске и о его узниках. По их рассказам просматривалась явная тенденция к концентрации штабных офицеров в старобельском, а младшего офицерского состава — в козельском лагерях. Однажды, я слышал, мои солагерники даже пытались наладить переписку с заключенными Старобельска.

Факт этапирования группы старобельчан в наш лагерь дает возможность лучше понять некоторые наблюдения Международной комиссии над катынскими захоронениями. Я имею в виду то, что определенное количество заключенных старобельского лагеря должно быть в этих могилах, и количество это не могло превышать двух процентов от общей численности старобельчан. И не стоит повторять ошибочное утверждение немцев, подхваченное позже Советами, де в катынских могилах лежат только узники Старобельска. Я верю, что место их захоронения еще будет найдено будущими историками.

В марте 1940 года стало ясно, что решения о дальнейшей судьбе пленных уже приняты. Об этом совершенно открыто говорили администрация лагеря и политруки, хотя едва ли многие из них знали это решение. Тем не менее, это известие встряхнуло нас.

В начале марта произошло несколько событий, которые, как я сейчас вижу, имели непосредственное влияние на мою судьбу. Однажды мой приятель и коллега по университету Тадеуш Виршилло, работавший в лагере садовником, был вызван к следователю. Тот, внимательно рассматривая личное дело Тадеуша, попросил его указать профессоров Виленского университета, находящихся в лагере. Он назвал Камарницкого, Годловского и меня, не зная, что я дал о себе ложные сведения. Следователь, как показалось Тадеушу, был крайне удивлен моим присутствием в лагере. А спустя несколько дней меня вызвал комбриг Зарубин. Я был очень удивлен этим вызовом — к комбригу обычно вызывались только штабные офицеры, единственным исключением был профессор Комарницкий.

Комбриг довольно радушно встретил меня, и ничто не говорило о его осведомленности в моем звании. Он сказал мне, что знает, мы принадлежим к двум разным лагерям, имеем противоположные мировоззрения, но любит иногда по дискутировать с представителями другого лагеря. Разговор наш продолжался больше двух часов. Из него трудно было понять, что комбрига более интересует. Он расспрашивал меня о моей предвоенной поездке в Германию, о моих зна-

комствах в МИДе. И вообще, он скакал в разговоре с темы на тему. Я старался не упоминать своих федералистских взглядов и симпатий к программе Пилсудского, провозглашенной им в 1919 году. По-моему, именно эта беседа сыграла большую роль в моем спасении от участи многих польских офицеров, расстрелянных в катынском лесу.

Вскоре после этой странной беседы комбриг куда-то уехал, и я его больше не видел. В Грязовцах мои коллеги говорили, что он еще появился в лагере в мае 1940 года, как раз перед их отправкой из Козельска сюда. Мы все были убеждены, что этот его отъезд и долгое отсутствие были связаны с ликвидацией лагеря. В конце марта в лагере появилось новое лицо — высокий, черноволосый полковник НКВД с большим, мясистым лицом. Мы часто видели его часами гуляющим на монастырском дворе.

Где-то примерно месяц спустя, 30 апреля 1940 года, я видел его на станции в нескольких километрах западнее Смоленска, кажется, станция называлась Гнездово, наблюдающим за отправкой эшелонов с пленными в Катынь.

Оба этих человека играли не последнюю роль в катынском деле. Комбриг Зарубин, безусловно, представил своему руководству подробный рапорт о проведенной им работе и следствии. Конечно, мы не знаем его решений, предложений и оценок, если таковые вообще были им сделаны. Рапорт тот, видимо, лежит в архивах НКВД, и важной задачей будущих историков будет тщательное ознакомление с его содержанием. И я верю, что время это скоро придет, архивы НКВД будут открыты. Жаль только, что я этого едва ли дождусь. Высокий же полковник вне всякого сомнения был организатором и реализатором принятого решения. Если Зарубин представлял собой интеллигентную часть НКВД, то полковник был представителем "грязной" части этой преступной организации.

Одним из непонятных событий, предшествовавших ликвидации козельского лагеря, были всеобщие прививки и профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний холерой и брюшным тифом. Нам тогда такие мероприятия каза-

лись вполне естественными и оправданными с точки зрения предстоящей нам отправки по домам. Сейчас же встает вопрос: а стоило ли все это делать в отношении людей, которым и так оставалось жить всего несколько недель и которые были герметично изолированы от местных жителей? Ведь фактически это была бессмысленная трата средств на более чем четыре тысячи прививок и на оплату медицинского персонала, их проводившего. Прививки эти проводились в два этапа. После первого укола пациенты чувствовали легкую горячку, но она довольно быстро проходила. После второго укола никаких побочных эффектов уже не было. Размышляя над этим, мне приходит в голову единственное логичное объяснение: администрация лагеря сама не знала еще решения Центра и потому принимала обыкновенные меры по подготовке нашего этапирования. Только потом, побывав в советских лагерях, я узнал, что никаких прививок перед этапами никогда не делают, максимум, на что можно рассчитывать, — баня.

Первый этап в Катынь был отправлен 3 апреля 1940 года, а первым офицером, вызванным на него, был мой коллега, командир первой роты 85-го виленского стрелкового полка капитан Ежи Быховец. После этого, примерно до середины мая, из нашего лагеря каждые несколько дней уходили этапы по 300 человек. По рассказам бывших узников старобельского лагеря, отправлявшиеся в то же время оттуда этапы были несколько меньшими по числу людей. Видимо, это было вызвано меньшим числом палачей, расстреливавших старобельчан в неизвестном пока месте под Харьковом.

В сборнике "Катынское преступление" я уже писал о высокой степени централизации ликвидации козельского лагеря. Я был свидетелем приема администрацией лагеря по телефону приказов Москвы, в которых был указан даже персональный состав отдельных этапов. От работавших в лагерной канцелярии пленных известно, что подобные приказы носили регулярный характер. И тем не менее, когда через полтора года — в конце 1941 — начале 1942 годов — генералы Сикор-

ский и Андерс и посол Кот обратились к советским властям с просьбой предоставить им списки польских военнопленных, им было объявлено, что таких списков не существует.

ПОД КАТЫНЬЮ

Меня вызвали на этап 29 апреля 1940 года. Как только работавшие в канцелярии пленные сообщили мне о предстоящем отъезде, я пошел попрощаться с наиболее близкими мне приятелями по лагерю. Особенно мне запомнилось прощание с профессором Комарницким. Мы с ним расцеловались на прощание, и я уже выходил, как вдруг он меня окликнул. Я повернулся к нему, а он, встав со стула, подошел и большим пальцем правой руки изобразил крест у меня на лбу, — это был символ передачи меня под опеку Господа. Выражение его лица и сам этот жест надолго остались у меня в памяти. Это было начало моего двухдневного путешествия сначала, в Катынь, а оттуда — в специальную тюрьму в Смоленске.

Наступил час формирования этапа, и я, взяв свой вещмешок, встал в шеренгу своих коллег. Конвойные обыскали нас и наши личные вещи. Мне тогда бросилось в глаза, что выданный мне вещмешок был иного цвета, чем у остальных этапников. Но тогда я еще не мог объяснить этого. Сейчас я уже не помню их цветов, но мне кажется, что мой вещмешок был белым, в то время как у всех остальных — красным.

Первое, что бросалось в глаза на этапе, — злые лица конвойных, разительно контрастировавшие с добродушными стрелками охраны в Путивле и Козельске. Простые русские люди, а я их немало встречал в своем детстве, хорошо относятся к ближнему, или, во всяком случае, относились так перед революцией. Моя мать, до замужества бывшая гувернанткой в аристократическом русском семействе, не раз говорила то же самое, подчеркивая доброту русских людей. Сейчас же складывалось впечатление, что для конвойных мы не живые люди, а предметы, которые надо доставить по адресу, не больше. Нас довольно грубо и тщательно обыскали,

отобрав все острые предметы, и под значительно более многочисленным конвоем, чем мы привыкли иметь в лагере, повели к грузовикам, ожидавшим у ворот зоны.

Мне показалось, на этот раз нас везли другой дорогой, не той, что мы шли в ноябре прошлого года. Привезли нас на запасные пути станции, где уже стояли подготовленные шесть столыпинских вагонов. Вагоны эти так назывались по имени дореволюционного премьера Петра Столыпина, при котором они появились в употреблении. Они отличались полным отсутствием окон в отделениях, а имели единственно небольшую закрывающуюся щель почти под самым потолком; двери были сделаны из листового железа и имели замок с наружной стороны. Впрочем, были и окна, но со стороны коридора, где обычно располагался конвой. Я уже сказал, что вагоны эти появились еще в царское время, сразу же после революции 1905 года, но особенно часто и охотно они стали использоваться в советское время. Несмотря на то, что я был сыном железнодорожного служащего, провел много времени в своем детстве у железной дороги и хорошо помню столыпинское время, я до того никогда этих вагонов не видел. Зато за время своего пребывания в Советском Союзе в 1939 — 42 годах я обнаружил, что почти каждый поезд имел в своем составе хотя бы один столыпинский вагон. Великое множество поляков близко познакомилось с этим средством передвижения в те годы.

Каждое отделение вагона было рассчитано на восемь сидящих или на четверых лежащих людей. Нас же поместили по четырнадцать человек: восемь человек на сиденье и по два человека на каждой из откидных полок. Сидели мы так, что голова одного была на том же уровне, что и ноги сидящего выше. Кроме того, на самом верху, на багажных полках, поместили еще двоих. Правда, у них было и преимущество — они могли смотреть сквозь вентиляционное отверстие наружу. Напротив меня сидел доцент Тухольский. Я не знал его близко, но от коллег слышал, что буквально перед самой войной он вернулся из Англии, где занимался исследованиями в Кембридже. Рядом со мною сидел бородатый поручик,

который был химиком и до войны работал представителем какой-то заграничной фирмы в Польше. В соседнем отделении ехал поручик Леонард Коровайчик, о нем я уже писал выше, он был одним из редакторов нашего устного ежедневника.

Составы с зэками в Советском Союзе ходили тогда крайне медленно. Можно это объяснить и экономически: в тридцатых годах было построено много промышленных предприятий, но практически ничего не сделано для расширения сети железных дорог. Дороги были перегружены, и те составы, что не имели каких-либо преимуществ, часами ждали своей очереди на запасных путях. Ну а составы с зэками, естественно, не имели никаких преимуществ. Но на этот раз наш состав шел довольно быстро, и уже на рассвете мы были в Смоленске. Мой отец во время Первой мировой войны работал начальником участка железной дороги в прифронтной зоне, а я в то время учился в гимназии в Орле и часто бывал в этих местах. Я часто ездил навестить отца на его участке, простиравшемся от Орла до Динебурга (ныне Даугавпилс), проезжая через Смоленск и Витебск.

После короткой остановки на подъездных путях мы снова тронулись в путь. Ориентируясь по солнцу, восходящему у нас сзади, мы пришли к выводу, что нас везут в западном направлении. Я же решил, как потом выяснилось, ошибочно, что везут нас в северо-западном направлении, именно так пролегла ветка Орел — Рига. Но, проехав несколько десятков километров, поезд остановился. Снаружи стали доноситься звуки команд, шум движения многих людей, звуки автомобильных моторов. У нас, как я уже говорил, не было окна, и потому было трудно сориентироваться, где мы и что происходит снаружи. Но сработал "внутренний телеграф", и от отделения к отделению стала разноситься весть: началась разгрузка.

Где-то через полчаса в наше отделение пришел высокий полковник НКВД, которого я уже упоминал. Он назвал мою фамилию и приказал с вещами идти за ним. Меня это страшно удивило: обычно для перевода зэка в другое место использовался простой стрелок. Полковник же в войсках НКВД

— фигура значительная, и в советской иерархии, он занимал положение значительно выше армейского полковника. Присутствие столь высокого чина подчеркивало серьезность отношения к нашему этапу и к моей персоне, коль скоро он лично пришел за мной.

Идя за полковником по коридору, до меня долетели слова эзков, решивших, что литовское правительство потребовало, видимо, от Советов моей выдачи. Литва в то время еще была суверенным государством, хотя там и были уже советские военные базы. И предположение о литовском участии в моем освобождении основывалось еще и на том, что многим была известна моя деятельность на попреще польско-литовского федерализма. Это фактически было одним из элементов политической программы Пилсудского, хотя и нельзя сказать, что идея была популярна в Польше и Литве. Тем не менее, Пилсудский пытался сделать шаги в направлении создания федерации, но враждебность польских и литовских националистических кругов свела к нулю его усилия.

Выйдя из вагона, я почувствовал острые запахи весны с полей и перелесков, где местами еще лежал снег. Было чудное утро, высоко в небе заливался жаворонок. Чуть в стороне от нашей стоянки была станция, но я не увидел на ней ни души. Локомотив наш уже отцепили, и он уехал. С другой стороны состава доносились какие-то звуки, но что там происходит, я не видел. Полковник спросил меня, не хочу ли я попить чайку, он так и сказал — "чайку". Ничто в его виде и поведении не выдавало его занятия, а ведь он был начальником команды палачей, уничтожавших моих товарищей.

Мы подошли к уже освобожденному от эзков вагону. Полковник приказал мне войти в одно из отделений, закрыл дверь и приказал солдату присмотреть за мною и принести "чайку". Солдат спросил, есть ли у меня сахар, а через некоторое время принес чайник с кипятком и всыпанной туда заваркой. Я достал сухой паек, выданный нам перед этапом: сахар, хлеб и селедку. По советским понятиям такой завтрак на этапе — просто шик.

Снаружи снова слышался звук моторов и какое-то движе-

ние. Конвойный стоял в коридоре и, повернувшись, смотрел из окна, но оно выходило на другую сторону. Я забрался на верхнюю полку, сказав конвойному, что хочу полежать после долгой и неудобной дороги. Он не возражал. Я же прильнул к вентиляционному окошку.

Перед поездом было ровное место, слека поросшее травой. Оно напоминало площадку дровяного склада или чего-то в том же духе. С одной стороны к площадке подходила дорога, доходящая прямо до железнодорожной колеи, с другой — ее окаймлял кустарник. Площадка была окружена плотным кольцом солдат в форме НКВД. Они стояли в боевой готовности, с примкнутыми штыками. Штыки эти бросились мне в глаза — ничего подобного в отношении к нам мы раньше не видели; даже в прифронтовой полосе, во время захвата нас в плен, солдаты не примыкали штыков. Оно и понятно — в современной войне штык скорее символ, чем действительно оружие. Насколько мне известно, примыкание штыков в условиях тыловой службы означает только акцентирование на важности порученного задания, не больше. И, естественно, вставал вопрос: для чего конвойным понадобились штыки? Ведь у поляков даже перочинные ножи были изъяты, а об оружии не было и речи.

В это время подъехал автобус. Это был в общем-то ничем не примечательный пассажирский автобус, разве только он был несколько меньше тех, к которым мы привыкли в своих городах. Автобус вмещал около тридцати человек, вход располагался сзади, окна были покрашены белой краской. И я вновь задался вопросом: для чего закрашивать окна? Тем временем автобус задним ходом подъехал к соседнему вагону и встал так, что пленные могли входить в него прямо из вагона, не ступая на землю. С обеих сторон его окружили энкаведешники.

Автобус приезжал примерно каждые полчаса за новой партией эзков. Из этого я сделал вывод, что отвозили их не очень далеко от нашей стоянки. Вывод этот приводил к новому вопросу: для чего, если маршрут не был столь длинным, транспортировать эзков столь сложным способом, а

не повести их, как это делалось раньше, просто под конвоем?

Посредине площадки стоял тот самый высокий полковник НКВД, который увел меня от других эков и которого я так часто видел во время ликвидации козельского лагеря. Из его вида было совершенно ясно, что он руководил операцией. Но какова ее цель? Признаюсь, что в тот солнечный весенний день мысль о расправе мне просто не пришла в голову. Чуть в стороне стояла черная машина без окон, а рядом с ней стоял пожилой, старше пятидесяти лет, капитан НКВД.

Спустя некоторое время — у меня не было часов, но мне кажется, это было уже после полудня, — пришел энкаведешник и велел мне с вещами следовать за ним. Мы с ним вышли на ту самую площадку, которую я только что наблюдал из вентиляционной щели купе. Мы подошли к тому самому черному автомобилю без окон, там уже стояли и полковник и пожилой капитан. И только здесь я догадался, что это и был тот знаменитый "черный ворон", который развозит эков по московским улицам.

Полковник передал меня попечению капитана, велевшему мне войти внутрь воронка. Вход в него также был с задней стороны. Сначала я прошел две боковые скамеечки, на которых, видимо, располагались конвойные, а потом, поднявшись по приступке, я оказался в узком коридоре, по обе стороны которого было сделано по три небольшие камеры. Итак, это узилище на колесах было приспособлено под перевозку шести эков. Из-за глухих дверей камер и хорошей звукоизоляции эки не могли ни увидеть, ни услышать друг друга.

На скамеечках у входа сели двое конвойных с карабинами, но штыков на карабинах у них не было. Безусловно, в примыкании штыков на карабины в определенных ситуациях была своя символика, но тогда я не мог ее разгадать. Мне было приказано занять место в одной из камер. Была там маленькая узкая скамейка, на ней я и уселся. Дверь камеры закрылась, и наступила абсолютная темнота. Через мгновение машина тронулась.

Я вдруг подумал, что меня везут на казнь. Еще раз хочу

напомнить, Советский Союз не подписал ни одной из конвенций о положении военнопленных, значит, вполне логично было предположить, что часть из них могла быть расстреляна, а другая, к которой не было каких-либо претензий, могла быть использована на разнообразных работах интенсивной программы экономического развития, проводимой тогда в СССР. Особенно это должно касаться разного рода специалистов: инженеров, врачей, агрономов. Кроме того, что меня можно было причислить к так называемым советологам, я не мог найти никакого иного объяснения в решении советских властей как-то использовать меня. Я начал молиться.

Через полчаса машина остановилась, закрипели ворота, и мы въехали на какой-то двор. Начался новый этап моей военной судьбы.

ГЛАВА IV

ОТ КАТЫНИ ДО КУЙБЫШЕВА

СМОЛЕНСКАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТЮРЬМА НКВД
(30 АПРЕЛЯ — 5 МАЯ 1940 ГОДА)

В предыдущей главе я описал мое короткое пребывание на станции около катынского леса и обстоятельства, которые спасли меня от расстрела в этом лесу. Это был переломный пункт в моей военной судьбе. Только много позже я понял, что в момент передачи меня на попечение капитана НКВД я перестал быть военнопленным, а стал политзаключенным, и передавали меня в другой отдел НКВД. И еще больше времени ушло у меня, чтобы понять, что не моя скромная особа, не мои публикации о советской экономике, ни даже моя изданная виленским Институтом Восточной Европы книга о Ленине-экономисте послужили поводом к изменениям в моей судьбе, а мои поездки в Германию в 1936 — 37 годах и изучение гитлеровской экономики. Видимо, НКВД был уверен, что я обладаю некими данными о закулисных событиях в Германии. И весь парадокс ситуации состоял в том, что я уже не раз о том писал в своих воспоминаниях, был сторонником польско-немецкого сближения, НКВД же меня обвинял в шпионаже на германской территории в пользу Польши.

Итак, через примерно полчаса машина остановилась, скрипнули, открываясь, тяжелые ворота, машина въехала на какой-то двор, ворота, скрипнув, закрылись за нами. Двери моей камеры открылись, и мне было приказано выходить. Я вышел во двор, окруженный со всех сторон высокими сте-

нами. Перед нами стоял дом, совершенно не похожий на тюрьму: большинство окон не было зарешечено, только окна первого этажа были забраны металлическими прутами. На этот первый этаж меня и привели, там было что-то вроде канцелярии. Капитан сел за письменный стол, а двое конвойных начали меня обыскивать. Мне было приказано раздеться и снять мои высокие желтой кожи кавалерийские сапоги, которые тут же были внимательно осмотрены — не спрятал ли я в них чего. Но, вообще, обыск был довольно поверхностным. Никто не заглянул мне в рот, да и вообще, осмотрели мои вещи не очень тщательно, что совсем не похоже на советские тюремные обыски. На мой вопрос, где я нахожусь, капитан любезно ответил, что это смоленская внутренняя тюрьма НКВД.

После обыска и написания некоего подобия справки о моем прибытии в тюрьму меня провели в камеру. Было это довольно обширное помещение, но выглядело оно довольно по-нуро: цементный пол, свет, падающий через зарешеченное окно. Правда, через это окно я мог видеть ноги людей, ходящих по двору. Вдоль стены располагались три ряда поднимаемых на день кроватей, точнее, досок для сна*.

По моим подсчетам, получилось, что камера вмещает около тридцати эков. Кстати, мне было сказано, что я могу опустить любую из кроватей и что обычный тюремный запрет спать днем на меня не распространяется. Кроме того, мне принесли матрац, полотенце и наволочку, а в углу камеры лежало несколько одеял и подушек, их мне тоже было разрешено брать в любом количестве. В другом углу стояла параша, но опять-таки мне было сказано, что по первому требо-

*Александр Исаевич Солженицын в своей известной повести "В круге первом" описывает эти кровати и добавляет, что они были типичными в московской бутырской тюрьме. Но в мою бытность их там уже не было. В марте 1941 года, уже после вынесения мне приговора, я провел некоторое время в общей камере бутырской тюрьмы, и тогда там был просто примитивный ряд нар, как в лагерных бараках. (*Прим. автора.*)

ванию надзиратель будет водить меня в туалет. Почти сразу же после этого мне принесли обед и ужин — был уже вечер. Капитан разрешил мне без ограничения пользоваться тюремным ларьком. Конечно, если у меня есть деньги, а было их у меня совсем немного. Капитан посоветовал мне закупить на все деньги сахар и масло, которое я могу получить на следующее утро. Еще он спросил меня, не хочу ли я получить несколько книг. Я ответил, что буду только рад.

Во время всех этих разговоров, перемещений и моих выходов в туалет, у меня сложилось впечатление, что в подвале смоленского НКВД, так называемой внутренней тюрьме, я в то время был единственным заключенным. Еще больше в этом меня убедил тот факт, что в тюрьме не было ни определенного времени раздачи пищи, ни шума, сопутствующего ей. Все шесть дней моего там пребывания надзиратель начинал разогревать пищу для меня на небольшом примусе, увидев через открытую кормушку¹⁹, что я проснулся. Обед же для меня, как я понял, приносили откуда-то снаружи. Все остальное время в тюрьме стояла полнейшая тишина: не было слышно ни голосов, ни других звуков, только изредка — шаги ходящего по коридору надзирателя.

Из окна я видел стоявший во дворе ряд железных шкафов. Их емкость и сделанные в них вентиляционные отверстия свидетельствовали о том, что они предназначены для содержания в них людей. Думается, что это было что-то вроде особо изоциренной пытки — содержать в этих шкафах живых людей²⁰. Я как-то спросил надзирателя о предназначении этих шкафов. Он мне ответил, как о чем-то само собой разумеющемся, что, когда тюрьма была полна заключенных, их использовали при проведении допросов. Посидев в советских лагерях и тюрьмах, я имел возможность познакомиться с подобными вещами поближе и несколько раз сидел в таких шкафах. Точнее, стоял. Вообще, они не были орудиями пыток, а служили для кратковременной изоляции эзков в коридорах и у дверей кабинетов следователей, помогая избегать контактов и встреч эзков между собой. И лишь иногда шкафы служили "мягким" средством воздействия на подслед-

ственных, упорно отказывающихся давать требуемые от них показания. Но тем не менее они не имели ничего общего с теми изощренными методами пыток, что практиковались в то время, например, в московской лефортовской тюрьме. В смоленской же тюрьме шкафы были не более чем напоминанием недавнего прошлого и, как мне показалось, уже не были нужны.

Сейчас, спустя тридцать лет, пережитое мною в смоленской внутренней тюрьме помогает лучше понять парадокс катынской трагедии. Решение о расстреле польских пленных было принято в условиях наступившей после ежовских чисток передышки. Уже был уничтожен цвет руководства Красной армии, видные советские партийные и государственные руководители, целый ряд видных коммунистов, и среди них — много лидеров Польской коммунистической партии, вызванных на "родину мирового пролетариата" и там расстрелянных, и многие тысячи ни в чем не повинных партийцев и беспартийных граждан. Пустая смоленская тюрьма, ставшие ненужными шкафы-карцеры — все это свидетельствовало о наступившей передышке. Да и это не только мои умозаключения, подобные же взгляды, что 1939 — 40 годы были периодом ослабления массового террора и некоторого улучшения условий жизни народа, я не раз слышал от узников в советских лагерях. Или еще такой факт, я не помню в это время случаев голодной смерти в лагерях. Ветераны лагерей рассказывали мне, что-де в 1939 году им даже не выдавали индивидуальной хлебной пайки, хлеб просто лежал на столе, и каждый мог отрезать себе столько, сколько ему хотелось. Складывалось ощущение, что лагерный режим становится близким тому, что был описан Достоевским в его "Записках из мертвого дома"²¹.

В моих глазах снижение террора было связано с назначением на пост народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берия, заменившего дегенеративного фанатика Николая Ежова²². Берия несколько подправил политику сталинского террора: ввел 20-минутную прогулку для заключенных, разрешил им пользование тюремной библиотекой, вернул до некоторой

степени чувство безопасности руководителям промышленности, посылал специальные комиссии для расследования причин высокой смертности в лагерях, но одновременно был непреклонен в проведении пыток, жестокостей, ссылок там, где они, по его мнению, были необходимы. Дочь Сталина Светлана Аллилуева пишет в своих воспоминаниях*, что когда ее мать, покончившая позже жизнь самоубийством, попросила Сталина не приближать к себе глубоко ей антипатичного Берия, тот ответил, что Берия — замечательный чекист. Безусловно, Сталин был прав. Со времен моего земляка Дзержинского, как, впрочем, и во времена Ягоды, НКВД походил на сумасшедший дом, охваченный страхом перед агентами буржуазии, шпионами и вредителями. Берия же старался превратить НКВД в модернизированную службу террора, стараясь оперировать не только страхом, но и полицейским давлением как политическим оружием.

Маркс говорил о необходимости диалектического подхода к социальной жизни общества. Берия был прекрасным диалектиком террора, убийств и депортации. Мы не знаем, кто именно решил расстрелять польских офицеров в Катыни — Сталин, Берия или Меркулов²³, но хорошо известно, что оно было принято после тщательного индивидуального изучения пленных в лагерях в Козельске, Старобельске и Осташкове. Мы также знаем, что расстрелом руководили из Москвы, т.е. он был централизован, именно об этом говорят те телефонные переговоры с комендатурой козельского лагеря, что я описал в "Катынском преступлении". Решение о расправе было принято Москвой не в условиях войны или политической напряженности, а, напротив, в период некоторой внутренней разрядки, свидетелем которой я был во время моего пребывания в смоленской тюрьме.

Итак, решение о катынской расправе было принято на высшем уровне советского руководства и именно в тот период, когда ощущалось некоторое снижение силы террора. Но то-

*Имеются в виду книги Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу" и "Всего один год". (Прим. переводчика.)

гда возникает вопрос: а на чем основывалось это решение? Сейчас в некоторых кругах наблюдается процесс реабилитации Сталина. Утверждается, что, уничтожив ряд известных коммунистов, армейских командиров и руководителей промышленности, он совершил огромную ошибку, и тем не менее сталинизм-де был исторически обоснован и даже необходим, и якобы даже отвечал коренным интересам советского государства. Советское руководство нехотя пошло на признание ошибочности ликвидации кулаков, расправы с Николаем Бухариным, виднейшим после Ленина теоретиком большевизма, реабилитированы расстрелянные руководители Польской коммунистической партии, но ни Хрущев, ни Брежнев так и не признали ответственности СССР за расстрел в Катыни пленных польских офицеров. Неужели до сих пор считается, что этот расстрел отвечал интересам советского государства?

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ

На другой день после моего перевода в смоленскую тюрьму был праздник 1 мая — один из тех праздников, которые, по мысли творцов революции, должны занять место традиционного празднования Рождества. Вторым таким торжеством является ежегодное празднование 7 ноября — дня Октябрьской революции. Как обычно, это был выходной, и так случилось, что капитан лично принес мне в камеру заказанные книги. Одну из них, кстати сказать, я прочел с большим интересом. Это было описание советских полярных экспедиций и советской инвестиционной политики на Крайнем Севере.

Мы, поддавшись праздничному настрою, проникавшему даже сквозь тюремные стены, разговорились. Капитан сказал мне, что занимает пост начальника смоленской тюрьмы и исполняет обязанности начальника внутренней тюрьмы НКВД. Вообще, в той долгой беседе он больше говорил о себе, чем расспрашивал меня. По его словам, он был уроженцем Гродно и часто имел дело с поляками. Очень много говорил об улуч-

шении жизни в стране, о народном образовании, рассказал мне о замечательном детском садике, в который ходит его внучка, о ботиночках и платьице, что он ей недавно справил. Внучка была для него чуть ли не единственным светом в окошке. Постепенно наша беседа стала теплой, почти товарищеской.

Я спросил его о причинах моего отделения от моих товарищей по лагерю. Он не знал, ведь он — только начальник тюрьмы, но, насколько ему известно, меня считают "большой птицей", мною интересуется правительство и относиться ко мне приказано иначе, чем к другим заключенным.

На мой вопрос, обязан ли я своим арестом и помещением в тюрьму именно этому интересу ко мне советского правительства, капитан сказал: "Вы вовсе не арестованы". И добавил, что он получил приказ содержать меня до получения инструкций из Москвы. Не в гостинице же меня содержать, на это у него нет ни людей, ни средств, вот меня и поместили в камеру. По его словам, во внутренней тюрьме случилось быть и другим большим людям. Он же де старается сделать мое пребывание как можно более приятным и удобным.

Честно сказать, я слушал все это с большим скептицизмом. Однако неделю спустя, на первом допросе на Лубянке, когда следователь показал мне подписанный генеральным прокурором СССР ордер на мой арест, я понял, тот капитан был прав. В его глазах ни я, ни те поляки, которых палачи в форме НКВД расстреливали в Катынском лесу, не были арестованы.

Я не выдержал и спросил его, а куда отправлены мои товарищи. Он ответил, что дела военнопленных вне его компетенции, он ведь только начальник тюрьмы. Меня же судьба товарищей мучала не меньше моей собственной. По тому, как с нами обращались на этапе от Козельска, было совершенно ясно: нас не передают союзникам, не выдают немцам и не отправляют по домам — в любом из этих случаев к нам должны были относиться лучше, а не хуже, чем до того. И я никак не мог взять в толк, почему от поезда пленных не повели пешим этапом, а возили мелкими партиями на автобу-

се. И почему его окна были покрашены? Было похоже, что кому-то очень хотелось скрыть от местных жителей присутствие польских офицеров. Но никогда до того ничего подобного не было. Например, в 1939 году мы строем шли с киевского вокзала к столовой, где нас кормили обедом, и шли на глазах у толп народа. К нам подбегали женщины, суя в руки то кусок хлеба, а то и немного денег. Чем же объяснить такую вдруг появившуюся скрытность?

И все-таки я не допускал возможность расправы. Скорее, их переводили в другой лагерь, с более тяжелыми условиями содержания. Но и это допущение никак не объясняло ни грубости конвоя, ни покрашенных окон автобуса, ни телефонограмм из Москвы. И я еще раз спросил моего собеседника, не перевели ли моих товарищей в какой-нибудь лагерь в окрестностях Смоленска. Он ушел от ответа. Но я вновь повторил свой вопрос, когда он на следующий день пришел ко мне в камеру. Но и на этот раз он мне только сказал, что вокруг города много разных лагерей, а ответа на вопрос я так и не получил.

Через несколько часов после нашей беседы дверь в камеру отворилась, и капитан, не переступая порога, подал мне миску с отварными макаронами, обильно политыми маслом, и тремя котлетами сверху. Он хотел, видимо, чтобы и я почувствовал праздник. Макарон было так много, что я не смог съесть их за один раз, и на следующий день надзиратель три раза разогревал их мне на примусе.

Сейчас, размышляя о тех днях, мне кажется, я понимаю поведение капитана. Он был не только видимо от природы добрым человеком, но и прекрасно понимал, в отличие от меня, особенность моей судьбы.

Когда-то мне попался рассказ, автора и название я уже не помню, а писалось в нем о приговоренном к смерти. И вот когда во время казни веревка под его весом оборвалась, все, включая и публику, и палача, стали его друзьями, все пытались как-то ему помочь. И в Древнем Риме, если осужденному или гладиатору удавалось чудом избежать, казалось бы, неминуемой смерти в кровавых игрищах, зрите-

ли безоговорочно вставали на его сторону и требовали подарить ему жизнь. Это черта человеческой природы — милосердие. Так было и с Урсусом и Лидией в романе Сенкевича "Quo Vadis". Вот и моя судьба, чудесное избавление от расправы под Катынь, в глазах энкаведешников выглядела чем-то вроде оборвавшейся во время казни веревки. И желание помочь, принять участие во мне, охватило не только доброго по натуре начальника тюрьмы, но и полковника, руководившего катынской расправой. Помните, первое, что он сделал, отделив меня от товарищей, — он предложил мне попить чайку.

Был и еще один человек, сыгравший одну из главных ролей в происшедшем в Катыни. Я имею в виду комбрига Зарубина, бывшего высшей властью в козельском лагере. Профессор Вацлав Комарницкий, покинувший лагерь с последним этапом в середине июня, рассказывал мне, что Зарубин тогда вновь появился после долгого отсутствия в лагере. Был он добродушным и вежливым. А этот последний этап был отправлен уже не в Катынь, а в лагерь в Грязовце, где условия были вполне сносными.

Я убежден, психология палачей, энкаведешников и гестаповцев, очень сложна для понимания. А в случае советских гебистов — особенно сложна, ибо люди эти специально подготовленные и натренированные в "диалектическом понимании жизни".

ЭТАП В МОСКВУ (5 — 6 МАЯ 1940 ГОДА)

Во внутренней тюрьме смоленского НКВД я пробыл около пяти дней. Пятого мая я уже готовился ко сну, как вдруг мне было приказано собирать вещи — конвой ждет. Через несколько минут я уже был в тюремной канцелярии. Там меня передали четырем конвойным, они обыскали меня, стараясь найти у меня нож или другое оружие. Капитана при этом не было, я его вообще не видел два последних дня своего пребывания в Смоленске. Интересно, чем это было вызвано:

перестал интересоваться мною или получил новые инструкции об отношении ко мне? Уходя, я поблагодарил надзирателя за его заботу, он отдал мне честь и пожелал счастливого пути. Он мне напомнил хорошо вымуштрованного унтера царской армии, я много их видел в своем детстве.

Из канцелярии меня вели так, что двое конвойных шли впереди, а двое других — сзади меня с пальцами на спусковом крючке. Так мы вышли из тюрьмы и пошли по тюремному двору, где стояла, кажется, та же самая машина, на которой меня сюда привезли со станции Гнездово или Гнездовая. Я усмехнулся безоружный, на защищенном стенами дворе: я не мог представлять никакой угрозы конвою и уж тем более не мог убежать. Так для чего же держать пальцы на курках пистолетов? Я повернулся к одному из конвоиров, но тот мне зло приказал идти не оглядываясь. Мы подошли к машине, я вновь занял место в маленьком собачнике, а двое конвойных уселись на скамеечке у входа в машину. Машина тронулась, и через несколько минут мы уже были на станции. Мы остановились чуть поодаль от станционных зданий. На площадке, огороженной штакетником, стояла группа людей под охраной вооруженных энкаведешников. Это были в основном мужчины средних лет. Почти каждый из них имел грязный мешок, перевязанный веревкой и висящий за плечом, — знаменитая русская котомка. Было там и несколько пожилых женщин, очень похожих на дореволюционных паломниц, ходивших от монастыря к монастырю и иногда доходивших аж до Гроба Господня в Иерусалиме. Несколько подростков с вызывающим взглядом, арестованные, скорее всего, за хулиганство, дополняли группу. Начальник конвоя скомандовал им сесть на землю и стал считать эков, называя каждого по фамилии и сверяясь со списком. Вид этой толпы, покорно подчиняющейся грубым приказам одетых в теплые шинели конвоиров, был замечательной иллюстрацией советской системы и ее реалий.

С шумом на станцию пришел пассажирский поезд, к нему было прицеплено два тюремных вагона — еще один символ сталинской России. Эти два вагона остановились как раз

напротив нашей группы. Конвой открыл калитку на перрон, и эски гуськом потянулись к вагонам. Я вошел в вагон последним. Вагонные отделения были плотно набиты эсками. Для меня же было приготовлено специальное отделение с лавкой, на которой можно было удобно вытянуть ноги. Мои конвойные попеременно дежурили у зарешеченной двери в мою камеру. А всего в коридоре было двое конвоиров: один был приставлен ко мне, а другой — наблюдал за остальными камерами и время от времени выводил эсков в туалет. В вагоне стояла духота и шум. Особенно шумно вели себя подростки, часто вступая в пререкания с конвоем.

Поезд часто останавливался в пути, и на некоторых станциях выводили небольшие партии эсков. Мне почему-то кажется, что в основном это были крестьяне без прописки, жившие в городах и вот теперь этапированные к месту жительства. Сталин, проводя коллективизацию деревни, ввел и некоторые институты крепостничества. В XVIII — начале XIX века было совершено нормальным явлением вылавливание крестьян, нелегально покинувших места своего жительства и препровождаемых назад под полицейским надзором. Впрочем, и отмена в 1861 году крепостного права не принесла крестьянам свободы передвижения. По-прежнему крестьянская община оставалась податной единицей, и крестьянин, решивший пойти на заработки в город и желавший сохранить за собой надел, должен был заручиться согласием всей общины. Так продолжалось до самой столыпинской реформы, избавившей крестьян от привязанности и зависимости от общины. Коллективизация же возродила эту зависимость. До сегодняшнего дня член колхоза не может поселиться в городе, не получив предварительно на то согласие сельсовета. В сталинской России тюремные вагоны не только перевозили политических заключенных, но и регулировали миграцию населения из сельских районов в города и обратно.

Во время нашей поездки произошел случай, сильно меня заинтриговавший, но окончательно понял его я только после эксгумации катынских могил. Когда мы садились на поезд, один из моих конвоиров встретил своего приятеля, то-

же конвойного в одном из прибывших вагонов. Судя по их радостной встрече, они давно не виделись. И вот как-то ночью, когда мой конвойный нес караул перед моей камерой, его приятель пришел к нему поболтать. Я лежал с закрытыми глазами и делал вид, что сплю. Говорили они шепотом, и я мог понять только отдельные слова, но все-таки понял, речь шла о польских пленниках. Однако одну фразу я хорошо расслышал: "А этого везем в Москву на расстрел". Я не придавал особенного значения этим словам: ну откуда простому конвойному знать мою судьбу, в советской госбезопасности строго соблюдается секретность. Но вот то, что они так долго разговаривали о судьбе польских пленников, это меня сильно заинтересовало. Ну, казалось бы, какое им, низшим чинам, дело до наших судеб? И не раз потом я возвращался в мыслях к моим ощущениям от беседы этих стрелков НКВД. И только весной 1943 года я понял смысл слов конвойного. Вероятнее всего, он был конвойным и во время проведения расстрела в Катыни, а может, и принимал в нем участие. А коли так, он знал участь пленников поляков и просто не мог сомневаться, что мой удел будет таким же.

Скоро, убаюканный покачиванием вагона и шепотом конвойных, я заснул. Проснулся я уже днем, в коридоре было шумно. Спавшие в своем купе конвойные уже были на ногах. Поезд остановился, и вскорости меня вывели из вагона. Прохожие, бедно одетые и с грустными лицами, быстро проходили мимо нас, стараясь не смотреть в нашу сторону. Конвойные вынули пистолеты, а двое из них, шедшие сзади меня, направили свое оружие на меня. Мы шли, как и в Смоленске, боковым ходом, и тут я услышал, как какой-то парнишка крикнул приятелю: "Костя, Костя, смотри, троцкиста ведут". И тут же к нашему конвою присоединилась стайка ребятшек, которым, видно, очень уж хотелось посмотреть на живого троцкиста.

Меня посадили в воронку, и он тут же тронулся. Через некоторое время я услышал звук открываемых ворот, и мы въехали в какой-то двор. Мне приказали выходить. Мы были во внутреннем дворе знаменитой Лубянки. Но мне не да-

ли рассмотреть так хорошо знакомую по студенческим годам Лубянскую площадь. При Сталине она была переименована в площадь Дзержинского.

ЛУБЯНКА (6 МАЯ 1940 ГОДА)

Меня привели в помещение, напоминающее обыкновенную контору. Письменные столы, служащие, барьер, отделяющий персонал от "клиентов", — все как в любом учреждении. Мне сказали назвать себя. Я спросил, где я нахожусь, в Лубянке? Мне ответили, что да. Потом меня отвели в "комнату ожидания", где я мог присесть. Через некоторое время надзиратель, появившись из боковых дверей, велел мне следовать за ним. Он привел меня в маленькую комнату, очень похожую на кабину лифта. Скоро в комнату пришла невысокая женщина в белом докторском халате, в очках с толстыми стеклами. Выражение ее лица было довольно симпатичным, но сама она казалась некрасивой. Мы постояли немного в молчании, потом она сказала: "Ну вот и приехали". Сама по себе фраза ничего не значит, но интонация и условия могут сделать ее наполненной особым смыслом. Мне послышалось в ее словах участие. Она почти по-дружески спросила меня: "Ну как вы себя чувствуете?" Я удивился такому вопросу и ответил: "Так, как может чувствовать себя человек в тюрьме". Она посмотрела на меня: "Я не про то. Здоровы ли вы?" Потом спросила меня, не болел ли я венерическими заболеваниями. Она хотела еще что-то спросить, но в это время двери, через которые она пришла, отворились. Видимо, это было знаком, и она тут же вышла. Тут же открылись и двери в "комнату ожидания", куда я и вернулся.

Я задумался, что мог значить этот эпизод? Если это был врачебный осмотр, то его, собственно, не было, да и не было никакой необходимости приводить меня для осмотра в отдельную комнату. Если же она хотела что-то узнать от меня, то это было просто глупо. Я решил, что это некая хитрость, которая должна была различными неожиданностями

приготовить человека к следствию, ошеломить его и сделать более податливым.

Потом меня отвели в фотолабораторию, где сфотографировали во всех возможных ракурсах и сняли отпечатки пальцев. После фотолаборатории меня вновь тщательно обыскали, отобрав все, как они говорили, металлические предметы: перочинный ножик, мелочь, портмоне, окантованное металлической полоской, и срезали все пуговицы, которые почему-то были признаны металлическими. Все изъятое у меня вещи были сложены в специальный мешочек, который мне обещано было вернуть при возможном освобождении, либо при переводе в другое место содержания. Отбирая у меня нательную иконку Богоматери Остробрамской, надетой мне на шею женой перед уходом на фронт, энкаведешник пытался мне объяснить, что Бога нет, но в конце концов успокоился и занес ее в список изъятых у меня вещей. Иконку эту я еще видел среди своих вещей восемь месяцев спустя, когда меня переводили в бутырскую тюрьму, но ее уже не было во время моего освобождения в апреле 1942 года.

Энкаведешник хотел оторвать подковки от моих замечательно удобных сапог, но после моих протестов оставил эту идею и просто изъял их, сказав-де, я буду обут в тюремную обувь. Так я и ходил по тюрьме, в кавалерийских брюках и в некоем подобии лаптей на ногах, выданных мне из тюремного склада. При переводе с Лубянки в бутырскую тюрьму сапоги мне были возвращены, но мне все же пришлось вскорости с ними расстаться. Никакая кожа не выдержит долгого контакта со снегом, и в лагере я сапоги те продал. Купил их у меня работник лагерного отдела планирования, заплатив мне хлебом. Так что благодаря своим сапогам я на несколько недель был избавлен от постоянного чувства голода.

Надо сказать, что советский обыск — это не только обыск личных вещей. Они внимательно изучают и тела эзков, на которых и в которых можно укрыть "недозволенные" предметы. Здесь, на Лубянке, я впервые подвергся этой процедуре. После обыска меня отвели в ванную комнату, оборудо-

ванную на Лубянке не только хорошо, но, можно сказать, отлично. Да и вообще, ванные обеих главных московских тюрем — Лубянки и Бутырок — имеют добрую славу среди зэков. Мне выдали свежее белье толстого полотна, а через несколько минут принесли и одежду, еще теплую после дезинфекции²³. Чистого и свежего меня под конвоем двух энкаведешников повели в подземелья Лубянки.

ПСИХОАНАЛИЗ В КАМЕРЕ (6 — 8 МАЯ 1940 ГОДА)

Мы вошли в длинный и узкий коридор, очень похожий на коридоры тюремных палуб океанских кораблей. По обе стороны коридора находились двери камер, снабженные кормушками, служившими не только для передачи пищи зэкам, но и для возможности постоянного за ними наблюдения. Конвойные открыли одну из дверей и велели мне войти.

Внутри камера тоже напоминала корабельную каюту: низкий потолок, узкая кровать, накрытая серым одеялом, подушка с чистой наволочкой и маленький столик в изголовье кровати. В камере совершенно не было места для ходьбы, можно было либо сидеть, либо лежать на кровати. Да и лежать разрешалось только на спине, постоянно держа руки поверх одеяла. Окна в камере не было, и свет поступал только от небольшой, но очень яркой лампы, забранной решетчатым колпаком. Я подумал, уж не та ли это знаменитая пытка ярким светом, о которой я так много слышал. В соседней камере сидел какой-то совершенно психологически сломанный заключенный. Он постоянно кричал о своей невиновности и преданности режиму, отказывался принимать пищу. Впрочем, и с другой стороны коридора тоже доходили такие же вопли. Я даже решил было, что все это инсценировка. Я немало слышал о таких методах подготовки заключенных к следствию или к показательным процессам. Но скоро я понял, что в данном случае это вовсе не инсценировка. В соседнюю камеру пришел кто-то из администрации тюрьмы и стал мягко уговаривать зэка поесть, говорил ему,

что человек не должен терять надежды, должен держать себя в руках.

Я вытянулся на кровати, зажмурил глаза, спасаясь от яркого света лампы, и задумался над психологией своего соседа. Знал я Россию достаточно хорошо, чтобы заняться таким анализом. Мне отчего-то показалось, что сосед мой должен быть представителем высших эшелонов власти. Россия в сталинские времена уже превратилась в бюрократическое государство. Превращение это произошло благодаря громадному партийному, государственному и экономическому бюрократическим аппаратам. Ну а члены этой огромной бюрократической машины смогли не только быстро продвигаться по служебной лестнице, но и, естественно, обеспечили и себе и своим семьям довольно высокий уровень жизни. Они и образовали тот самый "новый класс", так замечательно описанный Джиласом*. Но над этими людьми дамокловым мечом висела постоянная угроза ареста по любому поводу — случайного стечения обстоятельств, конфликтов, наконец, просто доноса. Арест же для них был бы не только лишением всего, чего они достигли, не только гражданской смертью, но и, возможно, смертью физической. Лубянка, через которую прошло много высших аппаратчиков, была символом катастрофы. Пребывание в Лубянке и, следовательно, принадлежность к так называемым "врагам народа" было прямо-таки шоковым фактором, ну а проявлялся шок у всех по-разному. Мне представлялось, что следующим после шока этапом должна стать готовность подписать любое продиктованное заключенному, признание.

Размышляя так, я пробовал сравнить свое положение с положением моего соседа. Он был психологически поработан, всякая воля к сопротивлению, если он ее вообще когда-либо имел, была сломлена, он готов целовать руку, которая его может бить, а может и расстрелять в подвалах Лубянки.

*Milovan Dzilas. Nova klasa wyzyskiwaczy. Institut literacki, Pariz, 1957. Существуют и русские издания этой книги, см., например: Милован Джилас. Новый класс. Посев, 1970²⁴

Я же был солдатом сражающейся армии, я был полон воли к борьбе. И уходя в августе 1939 года на фронт, я был готов, если надо, отдать свою жизнь за независимость своей страны. И если бы это потребовалось сейчас, когда я находился в лапах НКВД, это было бы частью моей войны, войны, которая еще шла и исход которой не был известен. Я готов был принять смерть с достоинством солдата сражающейся армии. Но пока мне не оставалось ничего другого, как молить Бога помочь сохранить мне мою честь. Итак, я был в совершенно ином положении, чем тот мой советский сосед по тюрьме.

Мысли мои о том советском узнике были как бы отражением впечатлений от прочитанных перед войной материалов процессов 1937 — 38 годов над Зиновьевым, Каменевым, Радеком и Бухариным, а моя убежденность в принадлежности к сражающейся армии — отражением настроения, владевшего всеми нами в козельском лагере. Мои взгляды на людей и события часто разнились от взглядов моих коллег, но было одно, что связывало всех нас, — мы были солдатами, готовы мы бороться до последнего.

Размышляя сейчас над прожитым, мне кажется, что эта убежденность и непокоренность моих товарищей, которую они не только не скрывали, но, напротив, демонстрировали при каждом удобном случае, даже в беседах с политруками, сыграла не последнюю роль в принятии советскими властями решения физически уничтожить их. Наша воля к борьбе была столь очевидной и яркой, что не могла не найти своего отражения в рапортах комбрига Зарубина своему руководству, которые, в свою очередь, и приняли решение о расстреле большинства узников всех трех офицерских лагерей.

Но было что-то такое у меня на душе, чего я понять не мог. И это что-то было неразрывно связано с пережитым мною за семь месяцев в козельском лагере. Я не мог понять того спокойствия, с которым я расположился на кровати в лубянской тюрьме. Это спокойствие никак не вязалось с моим довольно нервным характером. Я чувствовал себя так, будто самое страшное позади, не ощущая ни волнения, ни

страха перед предстоящим следствием и, возможно, судом. Еще мальчишкой, участвуя в ученических подпольных кружках, я прочитал книгу Паета "Вырабатывание воли" и с тех пор тренировал себя не только в постоянном самоанализе, но и в контроле над своими мыслями, поступками и чувствами. А эта чистая камера, довольно удобная кровать и бьющий в глаза яркий свет лампы, заставляющий зажмуриваться, все это создавало идеальные условия и для самоанализа и для подготовки к тому, что меня ждет впереди.

Еще в Козельске я не принадлежал к оптимистам, ожидавшим быстрого освобождения и столь же скорого окончания войны. Мои взгляды полностью остались прежними, какими были и до войны; о них я уже писал выше. Я и тогда и сейчас был твердо уверен в неспособности Польши отразить немецкую агрессию. Неспособности и по причинам неблагоприятно расположенной границы с Германией и в виду огромной разницы в вооружении и подготовленности к войне. Был я убежден и в том, что польско-немецкая война неминуемо приведет к оккупации наших восточных территорий Советским Союзом. Это мое последнее убеждение основывалось не столько на извечной воинственности советской внешней политики, сколько на здравой оценке ситуации: Сталин ни за что не допустит, чтобы под Минском, на путях, ведущих к Москве, вместо плохо вооруженной, вынужденной возить пулеметы на крестьянских телегах, Польши вдруг оказались мощные танковые соединения Гитлера. Но, с другой стороны, я был убежден в успехе польского отпора советской агрессии, если бы Польша опиралась на германский промышленный потенциал. Видимо, так же рассуждали и многие советские эксперты. Ну а отсюда логически следовала необходимость сотрудничества Польши с Германией, которое гарантировало бы нам безопасность от советских и германских ударов.

Исходя из всего этого, я пришел к заключению, что одним из основных моментов политики возрожденной Польши должна стать нормализация отношений с Германией. Но, вероятно, во времена Гитлера такая нормализация одновременно означала бы и согласие участвовать в ударе по Совет-

скому Союзу, а этого в Польше никто не хотел. И все же мне представлялось необходимым искать способы нормализации польско-германских отношений, избегая обязательного союза против России; надо помнить, что пакт о ненападении 1934 года подготовил для этого почву. Но были и препятствия на пути нормализации. Это и оскорбленная прусская Дума, и вздорные ущемления немцев, едущих в Восточную Пруссию через Данцигский коридор, и фразеология крайнего польского национализма, в котором ярый антисемитизм уживался с ярким антинемецким настроением. И при попытках нормализации отношений нужно было обратить особое внимание на эти моменты, дабы как-то их смягчить или нейтрализовать.

В 1934 году Витольд Станевич, имевший перед этим долгую беседу с маршалом Пилсудским, привел мне слова последнего: "Если говорить о наших отношениях с Германией, то я совершенно убежден, что многое зависит от Клайпеды". Мы тогда не совсем поняли значение слов маршала. Сейчас, в лубянской камере, я мысленно вернулся к этому разговору. Мне казалось, что Пилсудский так же хорошо предвидел ход сегодняшней войны, как он предвидел ход Первой мировой войны. Ведь и в самом деле, германское требование о возврате Клайпеды предшествовало и польско-английскому союзу и нападению на Польшу. Пилсудский имел какой-то план упреждения немецкой атаки, но, как это с ним всегда было, никому его не разъяснил.

Я уже писал, что во время мобилизации в конце августа 1939 года ощущение приближающейся катастрофы оставило меня. Работа в своем подразделении, замечательный настрой солдат и офицеров, личный пример командования полка, сами наши боевые операции под Петркувом, а позже — на Буге и Вепше, моя физическая подготовленность к боям, — а ведь это не так просто, провести четыре недели в седле, — все вместе наполняло душу неким энтузиазмом. И энтузиазм этот, и оптимизм начали проходить только где-то в конце сентября. Оказавшись же в советском плену, я понял, что действительный ход событий оказался горше даже самых моих худших предвидений. И больше всего для меня была потеря

многих культурных ценностей в Литве и западной Белоруссии. Вдобавок, именно там жили самые близкие мне люди.

В Козельске международное положение Польши виделось мне очень печальным. Благодаря уходившим на фронт в 1914 году польским легионам народ Польши стал одним из важных элементов международной политики. В 1920 году польское ополчение фактически спасло Европу, предопределив ее судьбу на ближайшие, по крайней мере, двадцать лет. Сложив же в 1939 году оружие, Польша потеряла независимость своей политики.

В Козельске мы получали советские газеты, из которых можно было судить о ключевой роли Сикорского²⁵ в эмиграционном правительстве в Париже. Я сам Сикорского не знал, но многие из моих знакомых были с ним лично знакомы. У него были большие заслуги в создании польской армии в Галиции перед Первой мировой войной, но старые легионеры его не любили. Краковские же профессорские и журналистские круги — например, мой приятель Иво Яворский, Константин Сроковский, бывший редактор газеты "Нова реформа", поддерживавший со мною тесный контакт, занимаясь по поручению Сикорского белорусским вопросом, Марьян Едлицкий, ставший позднее профессором Познаньского университета, а в 1920 году бывший при Сикорском военным советником, — высоко ценили его способности. Да и вообще, я не знаю ни одного человека, который бы ставил под сомнение его таланты. В плане внешней политики Сикорский был представителем так называемого фронта Морж, занимавшегося внешними акциями Польши в духе верного союзника Франции. Во время Первой мировой войны он был германофилом, а во время празднования двадцатилетия независимости всячески подчеркивал свою профранцузскую ориентацию. Летом 1939 года в библиотеке Виленского университета мне попала в руки его статья в "Санди таймс", где он недвусмысленно пропагандировал союз Запада с Россией против Германии и идею использования советских танковых частей в Восточной Пруссии. Ну а поскольку не много людей в Польше читают английскую прессу, я рассказал о статье своим

знакомым, а Станислав Мацкевич даже опубликовал ее в виленском "Слове".

Сам я никогда не подозревал Сикорского ни в симпатиях к советскому империализму, ни к коммунизму, и уж тем паче не ставил под сомнение его патриотизм. Нельзя было его назвать и таким наивным политиком. Следовательно, статья была частью непонятной мне политической игры. Теперь Сикорский был премьером польского эмиграционного правительства, признанного всем свободным миром, а для миллионов поляков, любящих или нелюбящих его, он был символом независимого польского государства. Я задумался над тем, как он использует свое положение в ключевых моментах. Я был далек от преувеличения роли и влияния польского правительства за границами Польши, но меня очень интересовало, сможет ли польский народ в этой исторической буре отстоять свою национальную индивидуальность, духовные традиции и национальные интересы.

Мои товарищи в козельском лагере верили в западную коалицию и с гордостью подчеркивали свою принадлежность к коалиционному офицерству. Я был настроен более скептически и не верил в возможность победы Гитлера над Британской империей, бывшей, пожалуй, самой мощной державой того времени. Свою точку зрения я не раз высказывал в клубе газеты "Политика" и в своих статьях на страницах виленского "Курьера". Я был просто убежден, уж если великий народ Британии вступил в войну, Гитлеру не миновать поражения. Станислав Мацкевич полностью разделял мою точку зрения в августе 1939 года; я привык апробировать свои аналитические размышления в беседах с этим умным и дальновидным человеком. С другой стороны, мне представлялось, что по заключении мирных договоров Польша превратится всего-навсего в объект торговли в политических интригах великих держав. В самом деле, почему Черчилль и Чемберлен должны быть к нам более доброжелательны, чем был Наполеон?

Некоторые мои солагерники опасались войны между СССР и Германией, и даже часто говорили об этом политуки. Я

тогда не допускал такой возможности. Я был уверен, что Советы не решатся нанести первый удар, Гитлер же, втянутый в войну с Британией, может пойти на такой шаг только если окончательно сойдет с ума. И даже если он все-таки бы решился, едва ли бы прусский генеральный штаб позволил ему начать войну с Россией. Перспектива развития событий, однако, от этого не становилась лучше: уничтожив Гитлера, на что могут уйти годы, западные державы вынуждены будут пойти на переговоры с его советским союзником, а эти переговоры нам, полякам, не сулили ничего хорошего.

Не исключал я и вероятности возникновения советско-германских трений, например, на Балканах или на Ближнем Востоке. Тогда Советам пришлось бы играть на два фронта, а это может дать нам некоторые шансы. В этом случае несколько десятков тысяч польских пленных могут сделаться козырем в советских руках, который они смогли бы выгодно для себя продать.

Под светом этой ужасно яркой камерной лампы мысли буквально роились в моей голове. Я переживал давние дискуссии, выступления, заявления, публицистические статьи, то есть это не были новые мысли, мысли о сегодняшнем дне. Это напоминало мне самоанализ, которым я так усердно занимался, часами ходя по "улицам" среди многочисленных нар в монастыре, превращенном большевиками в лагерь военнопленных. И как в Козельске, во мне как бы сидело два человека: один — офицер виленского стрелкового полка, старающийся быть похожим на своих товарищей, и второй — ученый, увлеченный и привыкший анализировать общественно-политические процессы. И тот, второй, беспощадно критиковал первого. Но было кое-что новое в этих мыслях: они уже не так удручали меня, как это было в Козельске. Что-то появилось во мне и изменило сам характер моих реакций, как будто некая рука опустила мне на голову и из нее исходили тепло, вера и надежда.

Свой новый психологический настрой я ощутил и тогда, когда стал размышлять о своем будущем, а оно было малообнадеживающим. Еще в Козельске я и подумать не мог, что

Москва решится на физическое уничтожение захваченных Красной армией польских военнопленных, что она так далеко отойдет от общепринятых в цивилизованном обществе правил ведения войны. Мне представлялось, что советские власти, скорее всего, постараются использовать пленных поляков в соответствии с их профессиональным образованием, естественно, держа их под контролем и наблюдением. Ну и, как я уже писал, Москва могла их использовать как некий козырь при заключении будущих международных договоров. Хотя было для меня и очевидным, что Советы постараются отобрать из числа пленных лиц, наиболее им опасных или бывших таковыми, и постараются тихо их ликвидировать, либо даже проведут шумные судебные процессы над ними. Но даже в этом случае, я думал, Москва постарается хоть сделать видимость законности проведения подобных акций.

Самого себя я также относил к той группе лиц, которых большевики посчитают для себя опасными и постараются уничтожить, — я в своей жизни не раз вступал в конфликты с советским государством. Например, в 1918 году я участвовал в деятельности Польской военной организации на территории России, а год спустя, в 1919 году, — в Инфлантах. Позже я занялся в виленском университете изучением советской экономической системы, присоединившись чуть позже к программе научных исследований одного из первых советологических институтов — Виленского института Восточной Европы. Тема моей кандидатской диссертации, опубликованной в 1930 году, была "Ленин как экономист". В 1934 году я издал сборник статей по изучению советского хозяйства, включавший мои статьи и статьи моих ассистентов. В этом сборнике мы старались занять как можно более объективную позицию; мы были уверены, что события, происходящие в Советском Союзе, имеют историческое значение для всего мира, а посему требуют пристального внимания и изучения. Меня просто очаровало серьезное научное обоснование первого пятилетнего плана, но были в нашем сборнике и критические высказывания, которые легко могли не понравиться Москве. В самом деле, если советские власти в начале

тридцатых годов ликвидировали за подобные высказывания ряд видных советских экономистов, творцов первой пятилетки, если в 1938 году они уничтожили виднейшего и одареннейшего после Ленина теоретика коммунизма — Николая Бухарина, то почему, собственно говоря, ко мне они должны быть более снисходительны?

Но, пожалуй, особенно неприятным для Москвы могло оказаться мое активное участие в деятельности группы виленских федералистов. Группа эта, многие члены которой были связаны дружбой с маршалом Пилсудским, считала, что вслед за Польшей, получившей независимость после Первой мировой войны, независимыми должны стать и другие народы, входившие некогда в состав Речи Посполитой. Независимость должны получить и Украина, и Белоруссия, и прибалтийские государства. Конечным этапом этого процесса, по мнению нашей группы, должно было стать создание федерации всех этих государств. Лично я, тем не менее, создание федерации не считал конечным этапом. По моему мнению, независимость Литвы, Белоруссии и Украины должно быть обязательным условием, фактором, никак не зависящим от их будущей политики. Виленские федералисты противились включению в состав Польши исторической Литвы, считая, что она должна войти в состав будущих Белоруссии и Литвы. В то же время Польша имела право сохранить известные права в виленской области, где польское население составляет абсолютное большинство. Естественным продолжением федералистской программы, естественно, было требование предоставления независимости тем территориям, что входили в состав фиктивных советских республик — Белорусской и Украинской. Ну и конечно же, такая программа приводила к противостоянию и конфликту нашей группы с российским и с польским национализмом.

Программа нашей группы во многих своих пунктах совпала с программой прометеизма. Прометеизм, как я писал выше, объединял закрепощенные СССР народы, стремившиеся к независимости. Сам я, однако, с членами прометейских групп контакта не имел, да и, как мне говорили, главные

базы их строго законспирированных организаций находились не в Польше, а в Турции. Но делами этого движения я живо интересовался, хотя бы уже потому, что входил в руководство варшавского Главного института по делам национальностей. Ну а если все эти мои интересы стали бы сейчас известны следователям НКВД, нет никакого сомнения, меня ожидали бы уже не просто допросы, а пытки. Энкаведешники, конечно же, постарались бы вытянуть из меня все известные мне детали. Но парадокс в том, что деталей-то я и не знал: мой интерес к движению прометеистов был чисто академическим, а отнюдь не практическим или политическим.

Таким образом, у советских властей было больше чем достаточно поводов заняться моей особой, как говорится, вплотную.

Все это пришло мне в голову не сейчас, еще в Козельске я жил в постоянном страхе, что вот-вот за мною придут. Объективно страшных вещей на свете довольно мало, страшно то — чего мы боимся. И мне было даже любопытно, почему я так боялся Лубянки и перестал чувствовать страх, когда в ней очутился.

Все это время, рассуждая и вспоминая пережитое, я лежал на спине, с руками поверх одеяла, то есть так, как того требовали тюремные правила. Надзиратель регулярно открывал глазок — я слышал шум отодвигаемой задвижки — и внимательно меня осматривал.

Зэки в одиночках Лубянки находятся под постоянным наблюдением, видимо, чтобы не дать им возможности покончить жизнь самоубийством. Яркий свет лампы продолжал бить в глаза, и я вынужден был их плотно зажмуривать, но свет все равно пробивался через веки, и у меня перед глазами постоянно стояли какие-то цветные пятна. Впрочем, иногда эти пятна наполняли мои воспоминания даже добавочным смыслом. Я даже начал рассматривать пятна, и вдруг понял, они мне напоминают где-то мною виденную иллюстрацию к поэме "Руслан и Людмила". Я начал вспоминать вступление к поэме, выученное мною в детстве в русской гимназии:

*У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре нахлынут волны
На брег песчаный и пустой*

.....
*Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!*

Я вновь и вновь повторял эти строки, и в памяти всплывали все новые и новые четверостишья. Эти стихи как бы отводили от реальности, окружавшей меня. Вопли за стеной стихли, да и мои размышления о собственной судьбе медленно начали отходить вдаль, теряя свою остроту, — я как бы погрузился в поэму, в ее нереальный, сказочный мир. И мне тогда не пришло в голову, что состояние мое вызвано не только воздействием чудесной пушкинской поэзии, но и наркотиками, которые часто подсыпали зэкам в пищу. Я только раз еще пережил подобное состояние. Это было в 1945 году, в Лондоне, когда я смотрел замечательный фильм, весь построенный на игре света и тени, "Фантазия".

Как долго я пребывал в этом состоянии, сказать не могу, но мне кажется, пробыл я в одиночке более 48 часов. Да и как узнать время: часы у меня отобрали, а дневного света в камере не было, и я просто потерял чувство времени. Периодически мне приносили питание, бывшее довольно сносным, и я его быстро поглощал. Меня даже спраши-

вали, не хочу ли я добавки. Я съедал и добавку и быстро вновь располагался на кровати, все в той же позе, на спине, с руками поверх одеяла, зажмуренными от яркого света глазами, и все в том же полубредовом состоянии. Так продолжалось, пока я не услышал короткого приказа: "Собирайтесь!" Меня перевели в другую камеру, там уже был свет дня и были какие-то люди. Чуть позже, поближе узнав порядки и нравы Лубянки, я понял, что, как и все вновь прибывшие заключенные, я провел несколько дней в подвальной одиночке так называемого приемника. Отношение в приемнике к энкам было более-менее человечно: в камерах не было параш и по первому требованию водили в туалет, да и питание было несколько лучше, чем в целом по тюрьме. Не существовало в приемнике и карцера, как, впрочем, и библиотеки, которой в основном здании имели право пользоваться все энки.

Как я понял, основной целью приемника было доведение новоприбывших до такого психического состояния, которое могло бы быть наиболее выгодным следствию. Тут надо сказать, что в Лубянке никто не отбывал срока наказания, здесь проводилось только следствие, т.е. это была чисто следственная тюрьма. Теоретически в СССР вообще нет тюрем для отбывания наказания, хотя в мое время и существовали так называемые политизоляторы, где помещались те осужденные, пребывание которых в лагерях, среди общей массы заключенных, по каким-либо причинам было нежелательно властям²⁶. В 1939 — 40 годах, к примеру, в политизоляторах сидели Карл Радек (на Урале), Бела Кун (где-то на юге России), Ежов, который сидел в одном из самых страшных заведений подобного рода — следственной тюрьме в Суханове, в примерно сорока километрах от Москвы. Лубянка же была следственной тюрьмой особого назначения: там содержали только тех заключенных, показаниями которых интересовались центральные власти, и только так долго, как долго этот интерес существовал. Часто уже во время следствия заключенных переводили в другие тюрьмы, обычно в Бутырку, где они сидели уже до самого суда. Мои

товарищи по камере как-то подсчитали, что общее число заключенных на Лубянке было около шестисот, в то время как в Бутырке — около двадцати тысяч.

До войны, читая репортажи с советских показательных процессов, у меня выработалось представление о советском методе ведения следствия, бывшим единственно своего рода приготовлением, репетиций той роли, которую подследственному приготовили на процессе. Показательные процессы всегда касались каких-либо грандиозных дел, а посему каждый шаг, каждая деталь, даже самая мелкая, должны были быть тщательно продуманы, отрепетированы и подготовлены. Большинство же подследственных моего времени так и не доходило до суда, их дела решались тут же, так называемыми *тройками* — особым совещанием НКВД²⁷. После пребывания на Лубянке мое представление о следствии немного изменилось. Теперь я считал, что оно стремится не к выяснению личной вины подследственного, а к выявлению настроений, целей и сил различных группировок и слоев общества как внутри Советского Союза, так и за рубежом. Огромное внимание НКВД уделял положению в промышленности, и поэтому часть, если не большинство, следователей имели техническое образование. Мне представляется возможным, что на основе собранных материалов НКВД подготовлял регулярные рапорты о положении дел в стране и за рубежом для членов Политбюро²⁸. Следовательно, заключенного нужно было так обработать, чтобы он говорил правду. Приемник же был первым этапом обработки подследственного.

Многие бывшие следователи НКВД, сами оказавшиеся со временем в тюрьме, рассказывали, что со времени ежовщины НКВД потерял ориентацию в происходящих в стране событиях; методы следствия привели к тому, что арестованные признавали себя виновными в самых фантастических преступлениях. А это в свою очередь привело к массовому психозу, и органы безопасности начисто потеряли способность отличать фантастику от реальности. Например, совершенно невозможно было разобраться в действительных недостатках советской промышленности. Каждый арестованный директор

предприятия сразу же признавал себя виновным во вредительстве и профессионально, с использованием технических терминов писал доклад, как именно он действовал, в чем заключались его вредительство и саботаж. Один советский инженер, сидевший со мною в одной камере и сам подписавший признание в диверсионной деятельности, говорил мне, что, по его мнению, именно эта потеря способности ориентировки в действительном положении вещей и привела к смещению Ежова и замене его Берия. Последний попытался внести порядок в этот сумасшедший дом, а для сего, прежде всего, нужно было как-то уравновесить арестованных, привести их в такое состояние, чтобы можно было с ними нормально разговаривать, чтобы они говорили правду, а не несли околесицу. Судя по рассказам заключенных, на первом же допросе следователи убеждали их в необходимости говорить только правду, что именно в правдивых показаниях об их антисоветской деятельности заинтересован суд.

Заключенные уверяли, что в приемнике в пищу добавляли успокоительные средства, но, естественно, проверить это было невозможно. Обычно арестованные проводили там от четырех до шести дней, я же пробыл там чуть больше 48 часов. Видимо, администрация решила, что я достаточно спокоен и уравновешен, чтобы начать надо мною следствие. Были ли подобные приемники в других тюрьмах, я не знаю и никогда не слышал о них, но мне кажется, что это был чисто лубянковский эксперимент.

КАМЕРА №41

После приказа собраться двое конвойных повели меня по коридорам и лестницам, закрытым металлическими сетками. Наверное, именно на этих лестницах и покончил жизнь самоубийством Борис Савенков, прыгнув в лестничный пролет²⁹. Потом мы поднимались на лифте, выйдя из которого, мне приказали остановиться, а один из конвойных пошел к углу коридора, пощелкивая пальцами, это означало, что

сейчас поведут заключенного и надо освободить проход, чтобы он никого не видел. Вообще, в советских тюрьмах существовало обязательное правило: заключенные из разных камер не должны были встречаться и видеть друг друга. Через минуту подошел третий конвойный, и мы двинулись по значительно более широкому, чем в приемнике, коридору. С обеих сторон были двери нумерованных камер, на каждой из которых был сделан автоматически закрывающийся глазок для наблюдения за зэками. Конвойный отворил одну из дверей и приказал мне войти. Дверь за моей спиной тут же закрылась на ключ. Я стоял немного удивленный посреди камеры. Первой моей мыслью было, что эта знаменитая Лубянка выглядит не так уже ужасно.

У меня было ощущение, что я в театре, что сейчас поднимется занавес, выйдут актеры и начнется спектакль; я ждал его с огромным нетерпением.

Это было помещение средних размеров, с окном, закрытым в нижней части так называемым железным намордником, не позволяющим смотреть вниз, на тюремный двор, но зато можно было видеть солнце и кусок голубого неба. Вдоль стен стояло по две кровати, пятая — у окна, напротив двери, посреди камеры был стол и несколько стульев. Мне бросилось в глаза, что в камере было много книг — по одной на каждой кровати и несколько лежало на столе и на подоконнике.

В камере сидело несколько мужчин без пиджаков и галстуков, галстуки в тюрьме считаются орудием потенциального самоубийства и строго запрещены. Было тут тепло, даже жарко. Белые рубашки мужчин были просто ослепительно чисты, они только что пришли из бани, куда зэков на Лубянке водили каждые десять дней. Особенно меня поразила рубашка молодого высокого блондина, ходившего во время моего прихода по камере с книгой в руках. Впечатление было, что я не в тюрьме, а в студенческом общежитии. И опять мелькнула мысль, уж не инсценировка ли все это, не подготовка ли к допросу — уж больно все неправдоподобно выглядело.

Обитатели камеры показали мне свободную кровать и, естественно, начали расспрашивать, как я сюда попал. Я отвечал на их вопросы с надеждой в свою очередь узнать от них, известно ли им что-нибудь обо мне — я все еще подозревал возможность инсценировки. Из четырех моих сокамерников склонность к расспросам и рассказыванию о себе проявили трое: высокий блондин с энергичным лицом, оказавшийся инженером-механиком, специалистом по производству танков. Второй был очень похож на еврея, и скоро я узнал, что он был партийным работником, занимал пост комиссара финансов Казахстана, откуда его и привезли на Лубянку, родом же он был из Бобруйска. Третий был лет около пятидесяти, седой, работал до ареста инженером-корабелом и попал сюда одновременно с Тухачевским и адмиралом Орловым и проходил по одному с ними делу, так называемому планомерному разрушению советского военно-морского флота. Четвертый же обитатель камеры присматривался ко мне исподлобья, ни о чем не спрашивал и вообще помалкивал. Когда же я обратился к нему с вопросом, он ответил по-польски: "Мы же и так знакомы". Это был Бронислав Скалак, известный деятель львовского ППС. Познакомились мы с ним восемнадцать лет тому назад, в начале мая 1922 года, на учредительном съезде Союза польской социалистической молодежи, на котором я выступал с докладом о национальной политике.

В съезде я принимал участие в качестве гостя, поскольку не примыкал ни к одной социалистической организации, но симпатизировал ППС и даже голосовал за эту партию на первых выборах в Сейм в 1922 году. Ну а пригласили меня на съезд благодаря решению его организаторов предложить написать и огласить доклад о национальной политике виленским академическим кругам. А поскольку в то время в нашем университете не было ни одной социалистической организации, кроме так называемой "левицы", ставшей позднее Союзом прогрессивной молодежи, то обратились к той организации, которая меня и делегировала на съезд. В работе съезда я принял самое активное участие, но на вступление

в Союз независимой социалистической молодежи так и не решился. На нем я познакомился со многими людьми, с некоторыми из них — Закс-Зигфридом, Станиславом Коном — я поддерживал долгое время тесные контакты, с другими — Вацлавом Брунером, Дамиенцким, Зарембой — встречался лишь изредка. Скалака же после этого я никогда не видел и даже забыл о нем.

Скалак потом говорил мне, что сразу же узнал меня, но не спешил заговорить, потому что не знал, помню ли я его. Мне кажется, что, кроме того, он был удивлен моим прекрасным знанием русского языка. И все же мы быстро и коротко с ним сошлись. Он страдал туберкулезом, развившимся уже до критической стадии. И где-то примерно через два месяца его перевели из нашей камеры. Встретились мы только осенью 1941 года, когда я пришел провести его в лагерьном лазарете в Коми. Тогда мне показалось, что он не в плохой форме, хотя лагерный врач и утверждал, что он не может быть этапирован. Еще раз, последний, я встретил его осенью 1942 года в Тегеране. Вскоре после войны он скончался в Лондоне.

Во время нашего разговора со Скалаком мы рассказывали друг другу события, произошедшие с каждым из нас за восемнадцать лет. В камеру принесли обед, состоявший из каши и большущей чашки какого-то заменителя чая, а мне еще выдали мою дневную пайку хлеба и сахара, простыню, наволочку и подушку. Казахстанский нарком достал масло и угостил меня этим лакомством, от которого я уже успел отвыкнуть. Блондин тоже имел свои запасы, у него было довольно много сахара. Между прочим мои, товарищи по камере сообщили, что на Лубянке есть тюремный ларек, в котором можно время от времени отовариваться. Это было восьмое мая, мои именины, и я подумал, что отмечать их мне пришлось в совершенно невероятной обстановке и с совершенно невероятными людьми.

Я уже писал, что сразу же, войдя в камеру, мне бросилось в глаза огромное количество книг, тут было около двух десятков книг по самым разным областям знаний и ли-

тературы. Книга, которую читал блондин, была томиком стихов Маяковского, он очень любил этого поэта. Этот молодой инженер был недавно переведен на Лубянку из лефортовской тюрьмы, где под пытками он подписал какие-то вздорные показания, и сейчас ему неминуемо грозил расстрел. Декламированием стихов Маяковского он старался отвлечься от реальности. Мы много разговаривали с ним о поэзии, но полюбить Маяковского я так и не смог, хотя и очень люблю русских поэтов. Наверное, точно так же в начале двадцатых годов молодые коммунисты не смогли убедить Ленина, что Маяковский значительно превосходит Пушкина. От него, моего нового знакомого инженера, я получил почитать автобиографию Станиславского, знаменитого основателя Художественного театра в Москве.

Мне книга была тем более интересна, еще в студенческие годы в Москве 1917 — 18 годов я тесно сошелся с одной из групп молодых актеров, учеников Станиславского. Из других книг, прочитанных мною в той камере, мне запомнилась работа итальянского генерала Доута о стратегии воздушного боя. Было в библиотеке и много переводной английской и французской литературы. Я не сдержал своего удивления и спросил своих соседей, откуда столько книг. Они мне объяснили, что после смещения Ежова заключенные получили доступ к очень хорошей и обширной тюремной библиотеке, скомплектованной в основном из книг, реквизированных после революции у буржуазии. Каждый заключенный имел право получить до шести книг на десять дней. Однако в библиотеке не было книг на иностранных языках и политической литературы, даже трудов Маркса и Ленина нельзя было получить, — политика. Особенно популярной была работа де Голля, не бывшего в то время еще политическим деятелем, о стратегии танкового боя; она буквально зачитывалась до дыр, переходя из камеры в камеру. Я с удивлением обнаружил, что советский интеллигент более его западных или польских коллег склонен мыслить глобальными политическими и военными категориями.

В камере №41 мне суждено было пробыть чуть больше восьми

месяцев, до тех самых пор, когда на горизонте замаячил призрак надвигающейся советско-германской войны. За это время состав нашей камеры часто менялся — одни приходили, другие уходили. Через нее прошли представители многих профессий и социальных слоев советского общества: были и инженеры, и администраторы производств, три студента, бывших секретарями парткомов своих факультетов, один государственный функционер высокого ранга, очень понравившийся мне своим анализом международного положения. Да и по национальному составу это было довольно пестрое общество. Тут побывали представители почти всех неславянских национальностей: грузины, татары, армяне, литовцы, эстонцы. Но не было ни одного крестьянина — я их потом много встречал в лагерях, и ни одного рабочего от станка. Лубянка была учреждением, прежде всего, для представителей среднего и высшего советских общественных классов и для тех, кого Милован Джилас назвал "новым классом". И каждый из них делился своим горем, рассказывал о себе, о своей жизни. Если бы я сейчас мог вспомнить все эти беседы, какая бы получилась интересная книга о "новом классе" и его проблемах во время Великой Отечественной войны!

Пребывание на Лубянке открыло для меня новый мир интересов, реакций и понятий, совершенно отличный от мира козельского лагеря. Интересно, что никто из моих сокамерников ничего не знал о специальных лагерях для польских пленников, хотя те из них, что были арестованы после сентября 1939 года, и знали, что Красная армия захватила много пленников. Да, проявление интереса к людям, которыми интересуется НКВД, не было характерным для советских граждан. То же самое можно сказать и о судьбе пленников польских офицеров. А посему продолжение описания моей жизни в камере №41 выходит за рамки той тематики, которую я хотел бы рассмотреть в этой книге.

Тем не менее, уверен, что описание причин выделения меня из общего числа пленников может пролить дополнительный свет на события, произошедшие в Катыни между 30 апреля и 8 мая 1940 года.

Только через несколько дней после моего перевода в камеру №41 меня вызвали на первый, ночной допрос. Допросы продолжались все восемь месяцев моего пребывания на Лубянке, хотя и не были регулярными, но на них я на собственной шкуре узнал, что такое *особые методы ведения следствия*. Например, эску приказывается держать руки за спиной, а конвоир, обычно стоящий слева, захватывает их и поднимает кверху, что заставляет эска бежать вперед, ощущая сильнейшую боль в руках и плечах. Сначала меня предупреждали о предстоящем допросе, потом раздавался особый сигнал, по которому коридор освобождался от других заключенных, и только после этого я с конвоирами буквально бежал к комнате следователя. Бег наш обычно замедлялся только тогда, когда мы достигали следственного отделения Лубянки. Поначалу мне казалось, что подобное обращение сулит скорые пытки, но позже привык и не обращал на эти бега особого внимания.

Во время моего первого допроса произошел инцидент, давший мне понять, как я мало знаком с обычаями Лубянки, бывшей не только тюрьмой, но и рабочим местом высших чинов советской госбезопасности. В том же здании, что и камеры заключенных, например, располагался кабинет шефа НКВД Берия.

При конвоировании заключенного из тюремного отделения в отделение, где располагались высшие чины НКВД, заключенный должен был расписаться в особой книге, находившейся у дежурного на своеобразном "пограничном" пункте. То же самое проделывалось и на обратном пути в камеру. Когда мне однажды приказали расписаться в этой книге, закрывая от моих глаз написанное выше, я, естественно, отказался. Не могу же подписываться неизвестно под чем. После этого меня отвели чуть в сторону и поместили в точно такой же металлический бокс, какие я видел во дворе смоленской внутренней тюрьмы НКВД. Я слышал, как конвоиры звонили кому-то и расспрашивали, что со мною делать.

В конце концов меня провели к следователю без росписи в книге.

Только вернувшись в камеру, я узнал, для чего делают эти росписи. По словам моих сокамерников, во-первых, они нужны, чтобы точно знать, сколько времени заключенный отсутствовал в камере и где именно он был в это время. Во-вторых, моя роспись подтверждает, что следователь действительно столько-то времени проводил ночной допрос, а за работу ночью они получали определенную доплату. Конвоиры же закрывали от меня верхнюю часть страницы потому, что там были подписи других заключенных, о которых я не должен был, по правилам, ничего знать. После этих объяснений я уже не отказывался расписываться в книге.

Первым делом при нашей первой встрече мой следователь ознакомил меня с ордером прокурора на мой арест и взял с меня расписку, что я с ним ознакомлен. Это меня убедило, что начальник смоленской тюрьмы был до некоторой степени прав: с точки зрения советской процедуры я тогда, в Смоленске, еще не был арестован. После того следователь зачитал мне постановление Генерального прокурора СССР по обвинению меня в преступлении, предусмотренном статьей 58 частью 6 (шпионаж) Уголовного кодекса РСФСР³⁰. Кроме того, мне объяснили, что я более не считаюсь военнопленным, а преступником, и буду трактоваться как таковой со всею строгостью советских законов. Следователь ознакомил меня и с соответствующим разделом уголовного кодекса, предусматривающим за шпионаж высшую меру наказания—расстрел. Я возразил, что не являюсь советским гражданином, не сделал ни единого преступления на советской территории, на что мне следователь гордо заявил, что советский закон карает любого человека за любые преступления против СССР, где бы они не были совершены. Если же речь идет о моем польском гражданстве, добавил он, то такового государства более не существует, следовательно, нет и такого гражданства.

Вообще, это была тяжелая ночь, подавляюще подействовавшая на меня. И все же в душе еще теплилась надежда, что

после какого-нибудь из допросов меня вновь отошлют в лагерь военнопленных. Но и эта надежда гасла с каждым днем. Единственно, что еще как-то помогало, — присутствие в камере Скалака, хотя и он мог помочь только морально. Мы оба старались помогать друг другу, поддерживать друг друга духовно.

Я тогда еще не знал, что обвинительное заключение прокурора, собственно, спасло меня от катынской могилы. В мировой юридической практике есть непреложное правило: ни одно наказание не может быть осуществлено ранее, чем закончится следствие и пройдет суд. Здесь же произошло наоборот. Некий служащий НКВД, получив мое обвинительное заключение, распорядился отсортировать меня от других пленных и направить на следствие, спасши тем самым от расстрела без суда.

Когда я читал обвинительное заключение в кабинете следователя, я не обратил внимания на его дату, мне это тогда совершенно не представлялось значимым. Сейчас же, вспоминая все, что произошло со мною, мне кажется, что заключение было подписано прокурором еще до отхода моего этапа из Козельска и лагерная администрация о нем знала. Как иначе объяснить, что у меня единственного вещмешок был другого цвета, чем у остальных пленных, отправленных этапом из козельского лагеря 29 апреля 1940 года? Кроме того, каждому пленному сопутствовала какая-то карточка, моя карточка по цвету также отличалась от карточек остальных польских офицеров.

Но тогда возникает вопрос: почему меня не этапировали в Москву непосредственно из Козельска, а послали с этапом, шедшим в противоположную сторону, к западу, в сторону Смоленска? Наиболее правдоподобна, на мой взгляд, гипотеза, что там, в Смоленске, был центральный сортировочный пункт для польских военнопленных. Туда, к примеру, доставили группу из четырнадцати польских офицеров, увезенных из козельского лагеря 8 марта, т.е. примерно за три недели до принятия решения о ликвидации польских военнопленных. В той группе был полковник Станислав Лубод-

жецкий, бывший прокурор Верховного суда, осужденный позже на принудительные работы в лагере и прошедший некоторое время в киевской тюрьме. Другие офицеры из той группы, включая подполковника А. Старжевского, бывшего польского военного атташе в Бельгии, пропали без следа. Мне кажется вероятным, что они покоятся в какой-нибудь отдельной могиле на окраине катынского леса*.

Итак, обвинительное заключение не только выделило меня из общей массы польских военнопленных, но и круто изменило всю мою судьбу, подчиненную отныне положениям уголовного кодекса. Но в чем именно заключалось мое "дело", какие обвинения против меня выдвигались? Мне кажется, что, хотя мое "дело" и не имеет прямой связи с трагедией в катынском лесу, оно все же может внести некоторую ясность, дополнительные детали в понимание того, что произошло с польскими офицерами.

Выдвинутые против меня обвинения основывались на двух пунктах:

1. Мое якобы сотрудничество с польской разведкой, заключавшееся в координации и руководстве изучением советской экономики в предвоенные годы в Институте Восточной Европы в Вильно;

2. Мое якобы сотрудничество с польской разведкой во время моей поездки в Германию в 1937 году и работа над книгой о германской экономической системе, опубликованной годом позже.

Дело мое вели несколько следователей. Мой первый следователь, допрашивавший меня в мае 1940 года, заявил мне, что не хочет выделять в отдельное производство или вообще обвинять меня в шпионаже на основе моего изучения советской экономики или на основе моих публикаций по этой тематике, хотя последние и содержали достаточно выпадов против Советского Союза. Однако он требовал назвать имена агентов, засланных польской разведкой в СССР, дес-

*Смотри: рапорт подполковника Лубоджецкого в сборнике "Катынское преступление".

кать, это облегчит мое положение. Безусловно, требование это было лишено всякого смысла: ну разве можно себе представить шефа разведки, сообщающего университетским профессорам и журналистам имена своих агентов? Но тем не менее оно повторялось изо дня в день, иногда сопровождалось грубым толчком меня к стене, а иногда было облечено в форму дружеского совета. Последний часто принимал этакий опереточный характер: "Расскажи все и увидишь, как тебе сразу станет легче на душе", — говорил он мне.

От моих сокамерников я уже знал, что призыв к очищению совести и признанию — стандартный прием советского следствия, что он вызывает у многих смех, но на других все-таки производит некоторое впечатление, и они следуют этому призыву. Для меня же все это было лишь еще одним подтверждением моего давнего убеждения, что советский метод дознания носит инквизиционный характер. В средние века женщина, обвиненная в связях с дьяволом, также должна была очистить свою душу признанием. Но однажды я все же не сдержался и бросил в лицо следователю:

— Шпионом я никогда не был, в Советский Союз не ездил. А если бы даже и был, то нет в этом ничего зазорного: это было бы исполнение моего долга, так же, как советских детей учат всегда и во всем служить своему государству.

Следователь на некоторое время задумался, удивленный моим ответом, а потом заявил, что, возможно, я и прав, действительно, ничего аморального в моих действиях не было. Но тогда меня следует расстрелять как неподдающегося исправлению врага Советского Союза.

Однако вскорости он заявил, что, видимо, придется применить ко мне другие методы допроса, которые смогут мне развязать язык. Я знал, что это означает перевод в лефортовскую тюрьму, где были специальные приспособления для пыток. Но от своих сокамерников я также знал, что после назначения Берия на пост наркома внутренних дел на применение пыток следователь должен получить в каждом отдельном случае разрешение высших властей³¹. На следующий раз

меня, вызвав на допрос, привели в совершенно другую часть здания. Мы шли по коридорам, устланным коврами, и пришли в кабинет, также с коврами на полу, где нас встретил высокий офицер, кажется, подполковник НКВД. Мой следователь тоже был в кабинете. При нем была папка, видимо, с моим "делом". На меня направили свет всех бывших в комнате светильников, следователь уселся в углу кабинета на диване, а допрос повел подполковник. Он сразу же заявил, что не имеет смысла ничего скрывать, и так все ясно: читал лекции в университете, публиковал статьи, ездил за границу, встречался с людьми, участвовал в дискуссиях, собирал информацию о СССР, ко мне приходили люди с явно коммунистическими взглядами, и я давал им изданные в Советских книги. Но ведь в таком случае все мои связи с польской разведкой были бы просто абсурдом или они были такого низкого мнения о нашей разведке?

Допрос постепенно превратился в долгий разговор на разные темы. Например, он расспрашивал меня о деятельности ПОВ. Я ему объяснил, что это скорее исторический вопрос, чем актуальность в предвоенной Польше. Кстати, во время этой беседы случайно всплыла и тема польских военнопленных. Я заметил, что не совсем понимаю, отчего меня отделили от других пленных: я не был советским гражданином, а то, что делал у себя дома, никак не подпадает под действие советских законов, и, следовательно, со мною должны обращаться по общепризнанным правилам обращения с военнопленными. Но подполковник не обратил особого внимания на мои слова, но сказал, что в СССР есть лагерь польских пленников и что там в целом совсем неплохие условия содержания. Я тогда подумал, что эта фраза, прежде всего, направлена на то, чтобы заинтересовать меня в сотрудничестве со следствием. Сейчас же я полагаю, что он имел в виду Грязовец, о котором мой следователь мог ничего и не знать. Это был единственный момент во время следствия, когда я что-то слышал о судьбе моих коллег.

После встречи с подполковником следствие приняло более интеллигентный характер. От меня перестали требовать

списка польских агентов, но стали постоянно твердить, что я-де проводил анализы экономического и общего положения СССР по заказам польской разведки и МИДа. Я же отвечал, что ни я, ни Институт Восточной Европы таких анализов не составляли, и, сколько я знаю, никто никогда от нас их не требовал. Но я соглашался, что составление подобных анализов могло бы быть логичным: мы существовали на общественные деньги, и было бы вполне логично обрабатывать их таким путем. Но факт есть факт — мы их не делали. Если же говорить обо мне лично, то я просто не имел на это времени, преподавая теорию экономики на двух университетских факультетах. Одновременно я заявил, что не имел бы ничего против, если бы кто-то попросил меня сделать эту работу. Я твердо стоял на своем принципе: я полностью лоялен в отношении польского народа, и особенно сейчас, когда мой народ бьется не на жизнь, а на смерть с врагом, и когда жива вера в то, что придет день и Советский Союз станет нашим союзником в этой борьбе. Но, честно говоря, в последнем моем положении я не был очень уверен. И это была не только моя точка зрения, но точка зрения всех пленных козельского лагеря.

Однажды допросы приняли совершенно нетипичный оборот: следователь вместо обвинений в мой адрес стал говорить скорее комплименты. И как бы между делом спросил меня о моих контактах с японской разведкой, но я уже знал, обвинение в сотрудничестве с Японией тоже входит в стандартный набор советского следователя, и оно выдвигалось против каждого из моих сокамерников. Я, естественно, отрицал какое бы то ни было сотрудничество с японской разведкой. На это следователь как-то даже сердечно спросил: "А зачем тогда вас навещал японский военный атташе?" И только тут я вспомнил, что, действительно, к нам в институт несколько раз заходили японские офицеры, интересовавшиеся нашим изучением Советского Союза. Я ответил:

— Институт Восточной Европы никогда не вел никакой тайной деятельности, и к нам, и ко мне в частности, приходило много людей, интересовавшихся нашей работой. При-

ходили и коммунисты, которым я действительно облегчал доступ к советской литературе, приходили и японские офицеры, и даже прислали позже расписные таблички с картинками японского быта. Однако это вовсе не означает, что я имел какую-то связь с японской разведкой.

К моему удивлению, следователь не стал мне угрожать, а сказал:

— Я вас вовсе не обвиняю в сотрудничестве с японской разведкой, я вас спрашиваю о контактах, а это не одно и то же. У нас есть материалы, свидетельствующие, что вы вопреки сильному нажиму не дали себя завербовать. Но вы должны признать, ваш отдел работал и для японской разведки.

Я ответил, что ничего подобного не было, я в курсе дел своего института.

— Не будьте так самоуверены, — заметил мне следователь. И добавил, что если я отказался от сотрудничества, то за моей спиной некоторые сотрудники согласились и предоставляли материалы о советском экономическом положении японской разведке. Закончил он нашу беседу, полушутливо-полуприятельски заявив, что японцы просто нахалы, и вызвал конвой.

Вернувшись в камеру, я долго не мог заснуть, припоминая все детали визитов японцев. Кажется, в 1936 году ко мне обратился японский полковник, бывший японским военным атташе в Варшаве, и сообщил, что японское военное-дипломатическое представительство хотело бы присоединиться к нашей программе изучения советской экономики. Для этого он предлагал дать нам своего сотрудника, который, впрочем, был бы полностью мне подконтролен. Я поблагодарил его за предложение и за лестную оценку нашей работы, но ответ смог дать только после обсуждения его предложения с администрацией университета. Я пошел к председателю института профессору Эренкройцу, ставшему позднее ректором виленского университета, и рассказал ему о предложении японца. Нам обоим было совершенно ясно, что предложение это выходит за рамки обычного международного на-

учного обмена и что предлагаемый нам японцами сотрудник был сотрудником японского генерального штаба, которого нам бы пришлось натаскивать в вопросах советской экономической системы. Профессор Эренкройц заявил, что мы не можем ничего предпринять без консультации с компетентными кругами в Варшаве. И при подвернувшейся okazji, когда оба мы были в столице, мы направились в отдел Востока министерства иностранных дел. Начальник отдела пан Кобыланьский сказал, что вопрос этот входит в компетенцию Генерального штаба, и порекомендовал нам обратиться туда. В Генеральном штабе нас принял заместитель начальника Второго отдела полковник Энглихт, который довольно уверенно отсоветовал принимать японское предложение. Мне даже показалось, он был несколько оскорблен попытками японских военных без консультаций с Генеральным штабом внедрить своих людей в польские академические заведения. Когда ко мне вновь обратился японский полковник, я ему вежливо, но твердо отказал. Вполне возможно, японцы были обижены моим отказом и считали это моим личным решением, тем более, в Польше было достаточно людей, считавших мой интерес к Советскому Союзу скрытой симпатией к коммунизму. Во всяком случае, это была именно та версия, которая попала в руки советского следователя.

Спустя несколько месяцев профессор Эренкройц сказал мне, что японские офицеры еще несколько раз заходили к нему, и в конце концов они договорились, что один из моих студентов, с ведома Второго отдела Генерального штаба, будет регулярно готовить для японского атташе доклады о советском экономическом положении, но выглядеть это должно его, студента, личной работой, и никак не должно быть связано с деятельностью института. Я отнесся к новости без особого интереса — я был тогда занят подготовкой к печати моей книги об экономике гитлеровской Германии и мало занимался советскими проблемами. Да и вообще вскоре забыл об этом разговоре с профессором и вспомнил только после слов моего следователя. Кажется, вечный припев следователей, что НКВД все знает, был близок к исти-

не. Во всяком случае, сейчас они знали обо мне больше, чем я сам помнил.

Во время следствия у меня сложилось впечатление, из двух пунктов обвинения: шпионажа против СССР и шпионажа против Германии второй занимал НКВД значительно более первого. Я старался их убедить, что ни во время сбора материалов для книги, ни во время своего пребывания в Берлине и в Кильском институте экономики и морского хозяйства, я не занимался ничем, что следовало бы скрывать от моих немецких коллег. Следователь же убеждал меня, что по информации советской разведки именно в это время я поддерживал связь с полковником Пельчинским, начальником Второго отдела Генерального штаба. Я, собственно, этого и не отрицал, но подчеркивал, знакомство наше носило чисто личный, дружеский характер, да и завязалось оно еще в то время, когда полковник был командиром Пятого пехотного полка, расквартированного в Вильно, а я был преподавателем экономики в виленском университете. И если полковник Пельчинский и интересовался моей книгой, то в этом не было ничего необычного: Польша была страной слабовооруженной и интерес к экономическим процессам вооружения и перевооружения был просто жизненным требованием для каждого офицера, тем более — для офицера Генерального штаба.

По тем вопросам, что мне задавались в ходе следствия, я понял, моя книга заинтересовала известные советские круги и следователям было приказано разобраться и с самим автором и с причинами написания книги. Уже под конец следствия следователь потребовал от меня письменного доклада о методах финансирования германской политики вооружения. И с этого момента все мои допросы заключались в том, что каждый вечер я писал в его кабинете отчет о немецкой модели экономики вооружения, бывший фактически переводом на русский язык некоторых разделов моей книги, а сам следователь в это время занимался своими делами. Мне даже показалось, он вовсе не интересуется теми методами, которыми Гитлер и Шахт финансировали военную промышленность. Однако кто-то все-таки был в советском ап-

парате, кого эти мои записки интересовали. Более того, кажется, именно эта моя книга послужила поводом к заинтересованию советскими властями моею особой, что произвело такое большое впечатление на начальника смоленской тюрьмы.

МОИ ТОВАРИЩИ ПО КАМЕРЕ

Перед тем, как перейти к описанию моей лагерной жизни, я хотел бы немного места уделить тем моим товарищам по Лубянке, которые наиболее мне запомнились.

Я уже сказал, что Лубянка была своего рода элитарным заведением: вместе с партийными работниками, вышедшими у Сталина из милости, сидели там руководители промышленности, директора заводов и фабрик, главные инженеры. До войны, примерно около десяти лет, я занимался вопросом экономических преобразований в Советском Союзе, и меня особенно интересовал психологический портрет людей, которым было доверено руководить этими преобразованиями. Общая камера давала самую благодатную почву для знакомства с некоторыми из них, и для сравнения их с капиталистическими предпринимателями, с анализом их психологии, проведенным западными историками экономики и — прежде всего — Вернером Сомбартом.

Наиболее интересным из тех, с кем я встретился на Лубянке, мне кажется некто Мирошников, высокий, хорошо сложенный мужчина лет пятидесяти, рабочий по происхождению и старый большевик. Думаю, я могу назвать его фамилию без особого риска: если он еще жив, то должно ему быть около 85 лет. Во время гражданской войны он был командиром дивизии и некоторое время — заместителем Ворошилова, а после войны его направили на административную работу. Несколько лет он занимал пост управляющего делами Совета народных комиссаров, позже — стал во главе алюминиевой промышленности. По тогдашней терминологии он был начальником главка алюминиевой промышленности. Он уверял,

что это было самое крупное производство подобного рода в мире, далеко обошедшее капиталистические предприятия по объему производства продукции.

Еще в начале двадцатых годов Троцкий пытался провести параллель между армией и промышленностью, предлагая милитаризацию последней. Мирошников был человеком, назначенным на административную должность после службы в армии, и собственно никакого административного опыта и знаний не имел. Был он убежденным коммунистом, и, видимо, ему никогда не приходило в голову, что, отдав всю жизнь служению партии, он шел неверным путем. Он и в тюрьме постоянно отождествлял себя с партией и правительством, употребляя выражения "наша партия", "наша политика" и т. п.

О своем "деле" говорить не любил. Кажется, его пытали. Единственное, что он мне сказал, что все его подельники уже расстреляны, он же попал в лагерь на Севере. Сейчас его этапировали в Москву для снятия показаний по какому-то делу, связанному с его. И если он кого и выдавал, то делал это с чувством выполненного долга, как говорил следователь, во имя интересов партии нужно признаваться и в несовершенных преступлениях.

Он неплохо ориентировался в политической ситуации, хотя и мыслил очень догматично, особенно в вопросах внешней политики. Гитлера он не любил, называя нацизм беспринципным движением, но в то же время не возражал против союза СССР с Германией или против их совместного нападения на Польшу в 1939 году. И совершенно не понимал, как поляки могли надеяться на советский нейтралитет в случае германо-польской войны. Он был совершенно убежден, что Польша могла существовать только при условии тесной кооперации с Германским рейхом, и только в этом случае не опасаться захвата Советами ее восточных земель. Короче говоря, он мыслил объективно и, как говорится, по-государственному.

Он хорошо разбирался в ходе нашей сентябрьской кампании, он сидел до Лубянки с подполковником Вищневским, ставшим позднее генералом и начальником штаба Второго

корпуса Войска польского. Кстати, от Мирошников я узнал, что генералу Соснковскому, проведшему некоторое время в оккупированном большевиками Львове, удалось в конце концов пробраться в Венгрию. Вищневский, собственно, и попал в плен во время этого перехода в Венгрию. Позже, когда я с ним встретился, он подтвердил мне слова Мирошникова.

Другой крупной фигурой среди моих сокамерников был уже упоминавшийся мною начальник отдела долговременного планирования военно-морского флота. Это был типичный русский интеллигент, хотя и носил немецкую фамилию Тишбейн. В 1914 году он был студентом факультета кораблестроения Петербургского политехнического института, но был призван в армию, закончил артиллерийскую школу и провел всю войну на передовой, командуя батареей. После революции он вновь вернулся в политехнический институт и закончил курс. Он был близким сотрудником адмирала Орлова, командующего Балтийским флотом, а одно время и командующего военно-морскими силами СССР, расстрелянного вместе с Тухачевским. И с самим Тухачевским у него были близкие отношения, хотя и говорил он о маршале реже, чем об Орлове. После ареста Тухачевского и Орлова Тишбейн понял, что его дни сочтены. Но его арестовали не сразу, сначала он был переведен работать инженером на кораблестроительный завод и только потом арестован и обвинен во вредительстве. Я провел с Тишбейном в одной камере четыре месяца.

Тишбейн был, прежде всего, специалистом и очень мало интересовался партийными делами. Кроме своей работы в плановом отделе, он был еще и редактором морского отдела Большой Советской энциклопедии и даже прочитал нам несколько лекций о флотах Финикии, Греции и Рима.

В 1940 году советский военно-морской флот не мог идти ни в какое сравнение с флотами Великобритании, Соединенных Штатов или Германии, но Тишбейн уверял меня, что, если не произойдет чего-либо непредвиденного, он станет мощнейшим флотом в мире. Сегодня мы являемся свидетеля-

ми частичной реализации его предвидений, точнее, расчетов человека, стоявшего у истоков строительства советского флота.

Когда мы с ним встретились, он уже провел в заключении около двух лет. На мой вопрос, подвергался ли он пыткам, он ответил, нет. Его только били, но били "любя", чтобы выбить из него признание, но не причинить особого вреда. Он был убежден, в конце концов ему придется в чем-то признаться, что он и сделал, признавшись во вредительстве. Но, видимо, что-то в его признании не сходилось, и, вернувшись с очередного ночного допроса, он был прямо-таки ошеломлен. Он спросил меня, что означает слово "поц", но я, сколько ни старался, не мог припомнить такого слова ни в одном из известных мне языков. Он мне рассказал следующее. Допрос в эту ночь был необычным, проводили его сразу три следователя и пытались узнать от него, знает ли он значение слова "поц". Ему показалось, что речь идет о каком-то сокращении, и он с потолка привел расшифровку: правый организационный центр. Более того, он уже готов был признать, что именно из этого центра получал инструкции по проведению саботажа. Но следователи на его слова покатались со смеху и вызвали конвой, приведший его назад в камеру. В это время проснулся комиссар финансов Казахстана, еврей из Бобруйска, и сказал, что по-еврейски "поц" означает женский половой орган. Надо было видеть удивление на лице известного плановика после услышанного им объяснения. Он развел руками и сказал:

— Ну вот, я думал, это правый организационный центр, а это просто п...

Дело ясно — следователи просто хотели проверить степень достоверности его показаний, а один из следователей, еврей, этим словом хотел показать, что все показания Тишбейна ровным счетом ничего не стоят. А сам Тишбейн в это время заявил им о каком-то центре; признание это в контексте намерений следователя выглядело особенно комично. Но следствие на этом не закончилось, и он должен был по требованию следователя написать подробный от-

чет о своем вредительстве и как он его проводил. Отчет был вскорости написан, и следствие имело достаточно материала, чтобы закончить дело.

Однажды в нашу камеру посадили профессионального адвоката, члена коллегии адвокатов. Все участие защитника в политических процессах, где главную роль играет признание подсудимым своей вины, сводится к нескольким фразам с просьбой к суду учесть личные качества, заслуги или иные смягчающие обстоятельства и вынести менее суровый приговор. Но на "экономических" или уголовных процессах помощь адвоката может быть очень существенной. Ознакомившись с делом Тишбейна, этот адвокат посоветовал ему потребовать созыва экспертной комиссии для проведения анализа его показаний. Созыв такой комиссии не имел большого значения, если бы дело Тишбейна было бы передано на рассмотрение внутренним судом НКВД — Особым совещанием, имевшим тогда ограниченные полномочия и не выносившим приговоры выше восьми лет лагерей, но мог бы стать очень полезным, если бы дело было передано в трибунал, обладавший значительно большими полномочиями. Через несколько дней его перевели из нашей камеры, и больше я о нем ничего не слышал.

Если Мирошников поделился с нами информацией о сентябрьской кампании, почерпнутой из разговоров с полковником Вищневским, то Тишбейн, в свою очередь, немного знал о судьбе арестованных в России венгерских коммунистов и кое-что рассказал об этом. Аресты эти, видимо, также были проведены в связи с заключением советско-германского договора. Тишбейн некоторое время сидел вместе с неким венгерским врачом-ларингологом, работавшим до ареста в кремлевской поликлинике и лечившим многих советских руководителей, включая самого Сталина. От Тишбейна мы, например, узнали, что руководитель венгерской революции 1919 года Бела Кун еще был жив в 1940 году и сидел в каком-то южном политизоляторе. Позднее я рассказал об этом Матиашу Ракоши, встретив его в одном из лагерей.

Из других советских руководителей промышленности, с ко-

торами я делил кров на Лубянке, мне вспоминаются директор мукомольного треста с Дальнего Востока, главный инженер самолетостроительного завода в Горьком, главный инженер Харьковского тракторного завода и армянин, специалист по артиллерийскому вооружению, который твердил нам, что, даже если его и приговорят к расстрелу, приговор никогда не приведет к исполнению — ему просто нет замены в его области.

Однажды ночью открылась дверь в камеру, и надзиратели привели нового зэка, указав ему на свободную кровать около меня. Новичок был в длинном кожаном пальто и в прекрасном костюме, а когда он стал доставать из карманов вещи, которые ему разрешили иметь при себе, сразу стало ясно, что жил он в условиях, редко встречающихся в Советском Союзе. Я с любопытством рассматривал его из-под ползакрытых век и, наконец, не утерпев, спросил:

— Вы, конечно, инженер?

— Да, и, к сожалению, главный инженер.

Позже мы с ним довольно коротко сошлись, и он как-то мне сказал, что по его наблюдениям средняя продолжительность пребывания в должности главного инженера составляет в Советском Союзе четыре года. И в течение этого срока непременно что-то случается, что приводит очередного инженера в тюрьму или в лагерь. Должности главных инженеров были опасными: постоянный дефицит материалов, низкое качество работ — все это грозило судом, держало нервы под вечным напряжением, но тем не менее стоили того — как иначе можно было получить столь высокие условия жизни и моральное удовлетворение хоть и от небольшой, но все же власти. Так, мой собеседник, к примеру, имел благоустроенную четырехкомнатную квартиру в новом доме, награды, премии, автомобиль.

Его представление о Польше и о поляках было довольно специфическим. Происходил он из еврейской семьи, жившей где-то на Украине, в поместье семьи Браницких. Как-то еще перед Первой мировой войной его поразили вид графини Браницкой, выходившей из своего дома и садившейся в карету.

И это было все его представление о поляках, никогда более он не встречал ни польского крестьянина, ни рабочего. Я много рассказывал ему о своей стране, и, кажется, ему это было интересно.

Из моих сокамерников, не принадлежавших ни к плановикам, ни к директорам, наиболее мне запомнился тот высокий блондин, с которым я встретился при переводе в 41-ю камеру. Впрочем, он тоже был инженером, но это никак не относилось к его делу. Его обвиняли в убийстве известной советской актрисы Зинаиды Райх, жены Мейерхольда, руководившего своего рода дочерним театром, продолжавшим и развивавшим традиции театра Станиславского. Сам Мейерхольд был арестован в тридцатых годах и пропал без следа. Вскоре после ареста мужа Зинаида Райх была убита, ходили слухи, что убита она была агентами НКВД. Само же это ведомство проводило следствие по делу об ее убийстве, а мой сокамерник проходил в нем как один из подозреваемых. Перед замужеством с Мейерхольдом Райх была замужем за Сергеем Есениным и родила от него дочь, которая была замужем за братом моего соседа по камере.

Поначалу он не признавался в убийстве актрисы, но после перевода в лефортовскую тюрьму, где его жестоко избивали, он признался не только в убийстве, но и в передаче информации о конструкции советских судов польской и японской разведкам. Власти были крайне довольны его признанием и в качестве "поощрения" перевели его на Лубянку, пользовавшуюся в то время среди эзков славой "санатория": здесь не пытали. Переведен он был из Лефортова всего за несколько дней до меня.

Когда же он немного пришел в себя, то понял, его ждет смертный приговор за преступления, им никогда не совершенные. И он решился отказаться от своих показаний. Более того, он отправил генеральному прокурору СССР жалобу с описанием пыток, которым он подвергся в лефортовской тюрьме. Через несколько недель после этого ему объявили, что его жалоба рассмотрена, с него сняты обвинения в убийстве Зинаиды Райх и в шпионаже в пользу Япо-

нии и Польши, но не снято обвинение в антисоветской агитации, и за свои разговоры он должен понести заслуженное наказание.

И все же он вернулся в камеру счастливым: обычным наказанием за антисоветские разговоры в то время было три года лагерей. Кроме того, он надеялся, что его отправят на работу в лабораторию одной из шарашек НКВД. Я тогда в первый раз услышал о существовании "номерных предприятий НКВД", ставших темой романа Солженицына "В круге первом". Среди эков в то время ходили слухи, что арестованный авиаконструктор Туполев тоже работает в одной из шарашек.

Через несколько дней его перевели из нашей камеры, и я уж не знаю его дальнейшей судьбы, попал ли он на вожделенную работу в шарашку, которая представлялась ему воротами в новую жизнь. Месяцев через шесть, уже получив приговор, я сидел в камере с несколькими десятками эков, преимущественно иностранцами, ждавшими этапа в лагерь, и от них узнал, что по делу об убийстве Зинаиды Райх проходило несколько человек, и все они признались в убийстве актрисы.

Сразу после войны я опубликовал в журнале "Белый орел" небольшой рассказик под названием "Конкурс на лучшего убийцу", в котором выдвинул гипотезу, что тот, кто лучше других описал убийство актрисы, и был расстрелян, остальные были просто сосланы в лагерь. Как же было на самом деле, едва ли теперь кто знает. Я, например, не уверен, что она вообще была убита, хотя многие из эков и подтверждали, что слухи об убийстве ходили по Москве.

Следственные тюрьмы НКВД сталинского времени вообще-то очень напоминали черный юмор — сами власти не могли отделить правды от горячечной фантазии следователей и бредовых признаний жертв, полученных под страшными пытками.

БУТЫРКИ И ОКОНЧАНИЕ СЛЕДСТВИЯ

В канун Рождества 1940 года меня перевели из Лубянки в бутырскую тюрьму. Когда меня сажали в "собачник" в тюремном автобусе, из соседнего отделения я слышал несколько слов по-польски и понял, Лубянка освобождается от поляков.

В Бутырке меня поместили в камере в Пугачевской башне, в которой, согласно легенде, во времена Екатерины II содержался этот предводитель крестьянского восстания, выдававший себя за царя Петра III, мужа царицы, убитого в действительности ее любовниками. Поначалу я делил свое новое жилище с еще одним эком, работником министерства иностранных дел, знатоком персидского и арабского языков и крупным специалистом в делах Ближнего Востока. Сидел он в этой камере уже около двух лет, но еще ни разу не вызывался на допрос.

Мне тогда и не снилось, что и я стану знатоком ближневосточных проблем, хотя так и не выучу ни арабского, ни персидского. А случилось это ровно два года спустя, когда в январе 1943 года польское эмигрантское правительство в Лондоне поручило мне организовать на Ближнем Востоке польское бюро с резиденцией в Иерусалиме.

Мы недолго были вдвоем в камере, скоро к нам поместили третьего. Им был следователь из какого-то подмосковного отделения НКВД. Он постоянно доказывал, что стал жертвой интриги, и даже подробно объяснял, кто и как на него донес. Тогда мне казалось, что его жизнь может хорошо иллюстрировать советскую провинциальную жизнь, но сейчас я уже не помню всех деталей. Помню только, как он убеждал меня, что никогда не пытал подследственных и вообще о пытках узнал только здесь, в Бутырке. Потом я его встретил в лагере, он был в добротной одежде, исполнял обязанности начальника карцера и очень оптимистично смотрел на будущее своей лагерной карьеры.

Впрочем, он принес мне и немного полезной информации. До нашей камеры он сидел с генералом Андерсом и знал кое-

что о его судьбе. Меня имя генерала вернуло в атмосферу козельского лагеря. Там я сидел в бараке номер десять, где были размещены младшие офицеры кавалерии, от ротмистра и ниже. Для них Андерс был кумиром, и все лагерные разговоры крутились вокруг его имени. Практически все офицеры в бараке были в двадцатых числах сентября 1939 года в междуречье Буга и Саны в частях, которыми стал командовать Андерс и с которыми он надеялся пробиться в Венгрию. Сам я утром 24 сентября был командиром небольшого отряда конных разведчиков пехотной бригады, состоявшей из остатков 77-й и 85 пехотных полков. Мы как раз были под Сухо Волей, когда недалеко от нас кавалерийские подразделения Андерса прорвали кольцо немецкого окружения, все ту же стягивавшееся вокруг нас. Нашей пехотной бригаде также было приказано выйти в прорыв, сделанный кавалерией. Но случилось так, что генерал с частью своих сил пробился, но за ним кольцо вновь сомкнулось, оторвав от него штаб кавалерийской бригады и некоторые подразделения.

В лагере в Путивле среди нас был заместитель Андерса полковник Желиславский. Ну а мы верили, что со своими отборными частями генерал все же пробился в Венгрию. И для всех нас было большим ударом, когда перед Рождеством 1939 года мы узнали, что он тоже в советском плену. Один из следователей мне рассказывал, что Андерс был ранен у венгерской границы, где его части были атакованы советской авиацией. Он же мне рассказал, что генерал лечился в львовском госпитале и что его семье разрешено было ухаживать за ним; позже они получили разрешение вернуться в оккупированную немцами Польшу, но в Бресте Андерс был арестован. Следователю особенно запали в память ботинки на толстой подошве, которые Андерсу принесла в госпиталь жена, и ужасное потрясение, испытанное генералом при известии о капитуляции Франции. "Хороший мужик", — заключил свой рассказ следователь.

На первом допросе в Бутырках мне сообщили, мое дело передано новому следователю. Им был высокий шатен, чуть

старше тридцати, проводивший следствие в ровной, я бы даже сказал, вежливой манере. Мне почему-то кажется, он был специалистом по Югославии. В его кабинете всю стену занимала огромная штабная карта Югославии со множеством разноцветных флажков на ней. Думается, что эти флажки обозначали коммунистические ячейки или другие агентурные "точки" советской разведки. Карта эта меня сильно занимала, и я просто не мог удержаться, чтобы не смотреть на ее левую сторону, густо утыканную флажками. Дело было в январе 1941 года, за два-три месяца до немецкого нападения на Югославию. Обилие же флажков в левой части карты указывало на усиленную советскую агентурную деятельность в той части страны, которую и немцы, и итальянцы считали своею. Нетрудно было догадаться, как все это могло повлиять на характер советско-германских отношений, хотя я все еще и не допускал возможности нападения Гитлера на Советский Союз. Как-то я не выдержал и спросил моего следователя о советско-германских отношениях. Он ответил, что по-прежнему добрые и товарищеские, но по его усмешке я понял, в долговременность их он не верит. Моя уверенность о невозможности советско-германской войны стала слабеть.

Следователь сообщил мне, что принято решение об окончании следствия по моему делу, и сообщил мне о его результатах. По его мнению, в деле было труднообъяснимое противоречие. Из показаний знавших меня людей получалось, что мое отношение к Советскому Союзу было более позитивным, чем было видно из моего поведения во время следствия. Он лично разговаривал со многими из них, и, по их словам, я был скорее демократом, хорошо понимавшим общественные проблемы и процессы, чем контрреволюционером. Из моих же показаний можно легко сделать вывод, что я был агрессивно настроен против советской власти и, более того, постоянно демонстрировал, что самые реакционные моменты в довоенной Польше мне ближе всего того прогрессивного, что можно найти в СССР. Я потребовал от следователя, как это и положено по уголовно-процессуаль-

ному кодексу, ознакомить меня с материалами следствия, что он пообещал сделать.

Сейчас, вспоминая его слова, я понимаю, что могло быть и иначе. Перед войной в Вильно было достаточно людей, осуждавших меня за мои просоветские симпатии, которые-де проявлялись в моих работах, статьях и университетских лекциях. Действительно, я считал, что в наше время для избежания кризисов и безработицы нужно основываться, прежде всего, на таких политических и экономических системах, которые базируются на идее общего, коллективного труда и управления. Из этой точки зрения я и исходил в своих работах по советской и гитлеровской экономике. Хотя я и безоговорочно отвергал и коммунизм и национализм, мои экономические анализы до некоторой степени напоминали коммунистические тезисы.

В конце двадцатых годов я участвовал в молодежном движении, во главе которого стоял студент юридического факультета Хенрик Дымбиньски, провозглашавший идеи коллективного труда, основывавшиеся на христианских идеалах. Позже одно из крыльев этого движения с самим Дымбиньским стало постепенно сползать на коммунистические позиции, но я по-прежнему сохранил симпатию ко многим его членам. Безусловно, в Вильно было довольно людей, симпатизировавших коммунистам и считавших, что со мною можно не только найти общий язык, но и еще кое-чему от меня научиться. Ну а посему меня несколько не удивило, что, когда агенты НКВД стали наводить обо мне справки, наиболее доверенные им люди дали мне положительную характеристику.

С другой стороны, должен признать, что в словах следователя была и доля истины, когда он укорял меня в моем нежелании рассказывать о событиях и процессах в довоенной Польше. Тактика, к которой я прибег во время следствия, может быть разбита на четыре пункта. Во-первых, я всячески избегал признания в действиях, подпадающих под описание преступлений, наказуемых по уголовному кодексу. А советское следствие в то время очень напоминало инкви-

зицию: признание и раскаяние играли огромную роль. В Советских тогда было два вида судов над политическими:

1. Заочные суды НКВД (так называемые "тройки" и Особые совещания) и

2. Трибуналы, более-менее напоминающие суды в других странах. "Тройки" судили на основании революционной законности, и вопрос о мотивах и характере преступления имел тут второстепенное значение. Трибуналы прислушивались к аргументации прокурора и даже, как уверяли меня зэки, иногда отвергали его выводы. Следовательно, недостаточно серьезно подготовивший материалы дела к судебному разбирательству, сам иногда мог попасть в лагерь за свою халатность. Хорошо разработанным считалось дело, когда обвиняемый не только признавался в совершении преступления, но и сам участвовал в следствии, раскрывал ход преступления, называл сообщников и т.д. Ну а такое "сотрудничество" обвиняемого со следствием достигалось применением пыток и придавало всей методике ведения следствия инквизиционный характер. Во времена ежовщины пытки были регулярными, с приходом Берия следователь должен был иметь разрешение своего начальства на применение регулярных пыток³².

Из того, что мне рассказывали в камере, я понял, что не признавший своей вины имеет шанс выйти из суда оправданным. Следовательно, самым главным было не дать в руки такого козыря, каким было признание³³.

Правда, дела не признавших себя виновными редко направлялись в суд, чаще они рассматривались внутренними судами НКВД, а сразу после назначения Берия на пост наркома внутренних дел максимальный срок, который могли они дать, было восемь лет лагерей. И опять, непризнание своей вины давало больше шансов выжить.

Другим моментом моей тактики во время следствия было старание затушевать мое сотрудничество с группой виленских федералистов. Советская политика особо чувствительна к любому сотрудничеству народов, вошедших в Советский Союз или соседствующих с ним, если такое сотрудничество

не находится под жестким контролем СССР. В то же время эта политика более мягка в отношении проявлений национализма соседних народов, пожалуй, даже, она не прочь провоцировать возрастание антагонизма между ними. В самом деле, как видно из предвоенных событий, сама идея Балканской лиги или польско-чешской федерации действует на Советы как красная тряпка на быка. А каждый, кто стоит на позициях польско-украинского сближения, автоматически становится врагом Советского Союза. А вот венгерско-румынские противоречия или сербско-болгарский антагонизм — просто дар небесный для Советов.

Виленские федералисты, выступавшие за объединение четырех главных народов, населявших некогда Великое княжество Литовское, — поляков, литовцев, белорусов и евреев, — под единой польской администрацией, были, безусловно, врагами, с точки зрения советских правителей, и должны быть так или иначе уничтожены. То, что в начале двадцатых годов, когда решалась судьба Вильно, я выступал против вхождения этой древней литовской столицы в состав Польши, делало меня в глазах большевиков человеком очень подозрительным. Программа федералистов предполагала независимость Украины и Белоруссии. Значит, мне было выгоднее представить себя польским националистом, который на востоке от Польши видит место только для России. Я обдумал это еще будучи в приемнике, размышляя о своей судьбе и о линии поведения на следствии.

Третьим пунктом моей тактической программы было избежание любого намека на мое согласие или готовность в том или ином виде сотрудничать с советскими властями. Еще в Козельске, наблюдая за работой энкаведешников во главе с комбригом Зарубиным, проводивших тщательное изучение каждого пленного, я понял, что делается это не только с целью выявления враждебно настроенных лиц, но и с целью нахождения людей, готовых сотрудничать с большевиками. Их интерес проявлялся в первую очередь к штабным работникам, причем не столько к генералам, сколько к полковникам и подполковникам. Многие из нас считали, особый

интерес они проявляли к личности полковника Кюнстлера. Как бы то ни было, по распоряжению Зарубина для штабных офицеров был оборудован специальный барак, где каждый из них имел собственную кровать, а общие условия содержания были несколько лучше, чем в целом по лагерю.

Когда следствие пошло в таком приятельском и "задушевном" духе, это меня нисколько не успокоило, а, наоборот, насторожило. Особенно я беспокоился, когда начал писать по требованию следователя нечто вроде реферата по своей книге о германской экономике, — что может из этого выйти? Я старался написать его так, чтобы по возможности чаще подчеркнуть свой польский патриотизм и лояльность к польскому государству, несмотря на то, что следователь постоянно твердил, дескать, Польши больше не существует. И еще меня очень беспокоило, как бы не попасть в категорию советских подданных.

В своем постоянном подчеркивании лояльности к польскому государству я занял позицию, которую вполне можно было назвать козельской линией: она полностью совпадала с позицией наших пленных офицеров, с их высказываниями и поведением на "беседах" с лагерными политруками. Они постоянно заявляли, что выполняли свой долг, что лояльны к своему государству вне зависимости от того, какая там была политическая система, что коммунизм им не импонирует и что они верят, наступит день, и советский народ станет союзником народа польского в общей борьбе против фашистской агрессии. Мне казалось, такой подход был не только честным, но и наиболее безопасным. И, пожалуй, наши шансы выжить значительно уменьшились, если бы советские власти стали нас воспринимать как своих заклятых врагов. Утверждение же своей верности долгу и присяге вовсе не означает враждебности Советскому Союзу. Но, с другой стороны, не меньшая опасность подстерегала нас, если бы мы вдруг стали "своими" для Советов.

Во время следствия, таким образом, я старался представить себя обыкновенным козельским пленным, подчеркивая, что меня следует, по международным традициям, отправить

в лагерь военнопленных. Я полагал, что из такого лагеря скорее можно выбраться на свободу, чем из Лубянки или из Бутырок. Сейчас я понимаю, что, хоть и считал себя знатоком СССР, тогдашние мои взгляды были более чем ошибочны. В той новой морали, основу которой положили инструкции о массовом терроре, данные Лениным и Дзержинским в 1918 году, и которая так расцвела при Сталине, всякие международные обычаи и традиции отношения к пленным теряли смысл, становились дешевле бумаги, на которой они были записаны.

Сегодня я спрашиваю себя: знали ли мои следователи о Катыни, о том, что там произошло? Конечно, они знали, что попал я в Советский Союз как военнопленный. Допускаю, что как члены аппарата НКВД кое-что знали о практике тайных экзекуций, но все же мне кажется, они не знали о судьбе, постигшей большинство польских пленных офицеров — это противоречило бы всей системе секретности, царившей в деле катынского преступления. Когда немцы организовали "центр" истребления евреев в Панарах, под Вильно, об этом знал каждый пастух, каждая кухарка, когда же наших офицеров выводили из поезда на станции Гнездово, я не увидел ни одного гражданского лица. Станция как вымерла, было сделано все, чтобы никто не увидел иностранных офицеров, даже окна автобуса, на котором их увозили от эшелона, были закрашены белой краской.

Когда гитлеровские чиновники утверждают, что ничего не знали об истреблении евреев, этому никто не верит. Если же кто-нибудь из работников НКВД будет меня уверять, что ничего не знал о Катыни, я склонен поверить ему: НКВД умел беречь тайны.

ПРИГОВОР

Из слов моего следователя я понял, судить меня будет внутренним судом НКВД. В конце февраля 1941 года меня вывели из Пугачевской башни и привели через внутренний

двор в какую-то комнату, где около тридцати человек ожидало своей участи. Их поодиночке вызывали в отдельное помещение, где и оглашался приговор. Большею частью они приговаривались к восьми годам лагерей, но были и "пятерки" — приговоры на пять лет. Но это в общем-то не имело никакого значения: от бывалых людей мы знали, выжившие по окончании срока получали новый приговор ОСО и новые пять — восемь лет лагеря.

Когда подошла моя очередь, некий энкаведешник, довольно интеллигентного вида, сообщил мне, что я осужден на восемь лет с защитой срока наказания со времени ареста, т.е. со времени моего этапа из Козельска, с отбыванием срока в Усть-Вымском комплексе лагерей в республике Коми³⁴. Он также сообщил мне, что я могу воспользоваться правом обжаловать приговор в Верховном Совете СССР. Я ответил, что не намерен этим правом воспользоваться, и усмехнулся.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил он меня.

Я ответил, что я иностранец и что моя судьба зависит не от приговора и срока, а от международной ситуации, что очень возможны такие ее изменения, которые не только принесут мне преждевременное освобождение, но и помогут оставить Советский Союз.

После оглашения приговора меня отвели в большую камеру, там около шестидесяти только что осужденных эзков ожидали отправки в лагеря. В основном это были иностранцы, но было и несколько высоких советских чиновников, представителей национальных меньшинств. Больше всех в камере было поляков и финнов. Среди поляков я встретил полковника Вацлава Коца, доктора Станислава Скшипика, экономиста и ассистента профессора Грабского во львовском университете, доцента виленского университета Яна Адамуса, ставшего позже профессором университета в Лодзи. Полковника Коца суд осудил на смертную казнь, замененную на десять лет лагерей. Ну а кроме того, были тут представители европейских и азиатских национальностей.

Всеобщий интерес вызывал японский шпион, считавший свою

миссию в России святым делом и бывший оттого страшно гордым. Но администрация не делала в отношении его никакого исключения, относясь точно так же, как и ко мнимым шпионам, которых было предостаточно среди обитателей нашей камеры. Он же был уверен, что скоро будет обменен на советских шпионов, арестованных у него на родине. С этой стороны его перспективы были лучше наших.

Мой же интерес вызвал хорошо образованный немец, историк по специальности, знаток марксистских догм и член Центрального комитета Немецкой коммунистической партии. Он приехал несколько лет тому назад в Советский Союз, посланный руководством КП лечиться от туберкулеза, и почти все время провел в Крыму, в прекрасном санатории с хорошим уходом и лечением. После лечения он некоторое время преподавал в саратовском университете немцам Поволжья. После громких процессов над собственными руководителями партии Сталин перешел к репрессиям против иностранных коммунистов. Именно в это время этого немца и арестовали; он провел около года в каком-то лагере над Волгой и теперь ожидал выдачи гитлеровцам. Меня очень интересовала его судьба и собственные его мысли о ней. Он считал, что его родина после падения Польши, Франции и Норвегии окажется достаточно милостивой, чтобы простить своего блудного сына, одураченного марксизмом.

Не раз я потом вспоминал о нем. Его шансы выжить были равны нашим, его душевная ситуация — много хуже. Мы были солдатами сражавшейся армии, он — битый и пытанный собратьями по доктрине, теми, кому он доверил свое здоровье, лечиться к которым он приехал. Ученый-марксист всегда начинает анализировать ситуацию и перспективы ее развития; я спросил о его взглядах на нынешнее положение вещей. В моем понимании советский строй был тогда в очень любопытной стадии развития. Казалось, Сталин и его ближайшее окружение не только готовы были к политическому, но и к идеологическому союзу с Гитлером. Рядовые же члены партии, сколько я мог понять из бесед в московских тюрьмах, были очень недоверчиво настроены к гитлеровцам.

В этой ситуации головы немецких коммунистов должны были стать своего рода цементом, скрепляющим отношения двух стран. В фундаменте той дружбы и союза лежали общие концепции переделки политической карты мира. Как это представлялось Гитлеру, видно из его "Майн Кампф". Если говорить о сталинской концепции, то мне вспоминается разговор с ассистентом профессора Сукеницкого в Виленском институте Восточной Европы, социал-демократом, Франчишеком Анцевичем. Анцевич внимательно читал мировую прессу и интересовался политическими анализами, исходившими из троцкистских кругов. Он считал, что стратегической целью Сталина был раздел Британской империи между СССР и странами оси Берлин — Токио — Рим. По его мнению, эта цель логически сочеталась с практикой ликвидации старых большевиков и идеологов марксизма в России. Мой немецкий собеседник был крайне осторожен в занятии какой-либо позиции, но все же из его слов было видно, что он готов искать компромисс между марксизмом и национал-социализмом.

Вернувшись к эволюции сталинизма, можно сказать, что она была прервана атакой Гитлера в июне 1941 года. Это нападение имело следствием и то, что акции немецких коммунистов, как и коммунистов из других центрально-европейских стран, резко пошли в гору, а Сталин вынужден был вернуться на позиции борьбы с фашизмом и гитлеризмом. Дождался ли мой сосед нападения Гитлера в советской тюрьме или его успели передать в руки гестапо, этого я не знаю.

ЭТАП НА СЕВЕР

В Бутырке после вынесения мне приговора я пробыл около недели. Оттуда меня сначала перевели в пересыльный пункт в Котласе, а потом — в лагерь в бассейне реки Вырь. Этап длился около трех недель и был очень тяжелым. Я ехал в одном вагоне с членами Центрального комитета компартии Казахстана. От них я узнал, что почти все члены казахского республиканского правительства были осуждены за

”буржуазный” национализм на лагеря и принудительный труд. Среди них был и москвич, начальник республиканского Госплана, за два года до того присланный на укрепление плановой работы; он тоже был осужден за ”казахский национализм”. В соседнем с нашим купе, если так можно назвать наши камеры на колесах, ехали азербайджанцы, и среди них преподаватель экономики из бакинской партшколы. Отдельной группой держались финские пленные, в основном младшие офицеры. Они были, видимо, в глубокой разведке в момент подписания перемирия, захвачены красноармейцами и не признаны военнопленными. Осудили их за нелегальный переход советской границы, каждый получил по пять лет лагерей. Когда мы приехали в Коми, они могли почти свободно разговаривать с местными жителями, язык которых похож на финский, хотя они и живут почти в восьмистах километрах от Финляндии.

Первое время моим соседом по купе был комдив Красной армии. Был он совсем недавно арестован и много рассказывал мне о событиях на западном фронте, о которых я ничего почти не знал — подследственные в советских тюрьмах теряют всякую связь с внешним миром. Он подробно рассказал мне об отступлении англичан под Дюнкерком, а закончил рассказ словами, что все равно немцы не выиграют войну. Разговоры с комдивом еще больше утвердили меня в убеждении, что средние и низшие слои советского общества настроены крайне антинемецки, и что они сопротивляются и будут сопротивляться всяким попыткам советско-германского сближения.

Надо сказать, в нашем эшелоне были не только политзаключенные, были и обыкновенные уголовники, так называемые ”урки”. Вели они себя вызывающе, немилосердно крали все, что плохо лежит, часто открыто, с криками и шумом отбирая у политических их пайки. Да и в лагере им жилось лучше, чем политическим, они имели этакое привилегированное положение, часто назначались на различные административные должности. Они были менее осторожны в своих политических оценках, даже позволяли себе критику вождей. Я

собственными ушами слышал, как один урка в бараке в Котлосе во весь голос, не скрываясь, говорил, что Сталин отравил свою жену. Еще одной характерной чертой урок был их крайний антисемитизм. Они никогда не упускали случая досадить или поиздеваться над своими солагерниками-евреями³⁵.

В Котласе я, благодаря доброте лагерного доктора, попал на несколько дней в лагерную больничку, где познакомился с эсером Ефремовым, бывшим членом Учредительного собрания, разогнанного Лениным в ноябре 1917 года³⁶. Он провел в советских тюрьмах уже около двадцати лет, а перед Котласом он сидел в одном уральском политизоляторе с Карлом Радеком. Сколько я понял из его рассказов, в конце сорокового — начале сорок первого года Радек был еще жив и даже был в неплохой форме. Радек располагал специальным разрешением иметь в камере книги на иностранных языках, не расставался с томиком стихов Мицкевича и утверждал, что это был величайший из поэтов.

Другой мой товарищ по лагерной больничке разделял довольно популярное в то время в России убеждение, что Советский Союз есть дело рук сатаны или его слуг. Вообще, есть два варианта этой теории: в одной преобладают мистические элементы, а в другой — социологические. Первый вариант утверждает, что сатана влияет на ход истории, особенно русского государства. И этот вариант нашел себе поклонников в самых разных социальных группах русского населения, от неграмотных крестьян, прятавшихся по северным лесам в XVII веке от нововведений патриарха Никона, до таких гениев, как Федор Достоевский, Владимир Соловьев и Дмитрий Мережковский. А император Петр Великий некоторыми своими современниками воспринимался не иначе как антихрист. Надо добавить, что советская действительность создавала благоприятные условия для возрождения этой теории. В моей лагерной жизни я не раз впоследствии сталкивался со случаями отказа зэков выходить на работы. Мотивировали они свой отказ тем, что-де всякая работа на советское государство — это работа на сатану. Отказники

эти чаще всего представляли перед судом и получали "вышку", а решение суда вывешивалось на щите у вахты. Особенно мне запомнился случай двух монахов-отказников, которые тоже были расстреляны. Они верили, что своим мученичеством и примером они вырвут их несчастную отчизну из рук зла, правившего в России.

Второй вариант "советского сатанизма" носит, я бы сказал, более рационалистичный характер. Сторонники этой версии считали, что где-то в высших эшелонах власти есть хорошо законспирированный круг людей, сторонников сатаны, которые точно так же верят в правоту своих убеждений, как в средневековые некоторые "ведьмы" чистосердечно верили в свою связь с дьяволом. Эта версия вовсе не требует веры в некие сверхъестественные силы, она только допускает возможность существования секты служителей сатаны, не более того. Группы "сатанистов" ответственны за физическое уничтожение нескольких миллионов крестьян во время коллективизации, за уничтожение цвета командования Красной армии и многих средних офицеров перед самой войной, а также за уничтожение старых большевиков, создавших партию и ее идеологию. Мне об этой теории рассказал молодой студент-математик, осужденный за троцкистскую деятельность. Он добавил, что разговор на эту тему уже сам по себе наказуем. Рассказывал он мне об этом ночью, разговор его очень волновал, мы лежали рядом друг с другом, внимательно следя за кормушкой, которая время от времени открывалась, и через нее надзиратель пристально оглядывал спящих эзков. Несколько наших соседей не спали, и потому я боялся задать моему собеседнику ряд вопросов по его теории. Сегодня, размышляя о причинах принятия решения о катынской расправе, гипотезу того "троцкиста" не стоит схода отбрасывать. Вполне возможно, что Достоевский был провидцем, когда писал своих "Бесов".

Из Котласа нас отправили в лагпункты; ехали мы туда уже не в тюремных вагонах, а в обыкновенных теплушках. Конвой был уже не таким сильным, как ранее: мы вошли в зону тайги, где побег, да еще в зимних условиях, был про-

сто физически невозможен. Перед самой отправкой к нам посадили довольно странную пару эков — глухонемого мужчину средних лет и молодую девушку с лицом монгольского типа. Она не понимала по-русски и единственное, что смогла мне объяснить, это то, что арестовали их в Эстонии. Получая свою хлебную пайку, глухонемой клал ее перед собою на пол, кланялся в пояс, молился и только после этого начинал ее есть. Эки, включая урок, смотрели на эту пару с удивлением и даже с некоторой долей симпатии. Как я понял, эти эстонцы были сектантами и арестованы были за свою религиозную деятельность. Был в нашем вагоне и бородастый русский крестьянин, тоже осужденный за свою веру, но он был иного типа человеком. Когда по приезде на место нам было приказано зарегистрироваться для постановки на хлебное довольствие, он категорически отказался. По его словам, это противоречило молитве "Отче наш", в которой предписывается просить о хлебе насущном только на день сегодняшней, а не на завтра. Я помог ему в этой ситуации, объяснив администрации, что он человек глухой и неграмотный.

Во время нашего этапа в теплушках я узнал кое-что, что может заинтересовать многих, интересующихся современной советской историей. Касается это судьбы Ежова, бывшего шефа НКВД, несущего особую ответственность за вспышку террора в 1937 — 38 годах. Как раз на нарах надо мною ехал в вагоне бывший чиновник Народного комиссариата речного транспорта. Как известно, после освобождения с поста наркома внутренних дел, Ежов некоторое время был наркомом речного транспорта, и этот чиновник по службе должен был быть постоянно с ним в контакте. Незадолго до получения приговора мой собеседник был доставлен на очную ставку с Ежовым. Скорее всего, это было в подмосковной тюрьме в Сухановке, о которой ходит слава, что там признаются все, даже те, что смогли выдержать пытки в лефортовской тюрьме. Очная ставка проводилась где-то во второй половине сорокового года. Ежов, по словам моего попутчика, был в хорошей физической форме, был он одет в

свою форму, которую не снимал со времени работы в НКВД, и даже подпоясан кожаным ремнем, что говорило о том, что на него не распространялись общие правила.

По вопросам на очной ставке можно было понять, что Ежова обвиняют в создании конспиративной группы и он в этом признался. Спрошенный, входил ли в эту группу мой собеседник, он ответил отрицательно, и на этом очная ставка была окончена. В результате последний не стал подельником бывшего наркома внутренних дел. Но поскольку, по мнению советских властей, участника очной ставки с Ежовым нельзя оставить на свободе, он получил свои восемь лет и был направлен в тот же лагерь, что и я. Правда, когда мы прибыли на место, нас разделили, и больше я его не встречал.

По прибытии на станцию назначения, мою группу пешим этапом отправили на лагпункт за двадцать километров от станции, где мы около получаса простояли на двадцатиградусном морозе перед лагерной вахтой, украшенной транспарантом: "Моральное возрождение преступников достигается напряженным трудом". В сумерки нас ввели в лагерную зону и направили в столовую, уставленную длинными столами и деревянными лавками вдоль них. Нам раздали баланду с маленькими кусочками рыбы в ней, но она была горячей, и уже за одно это можно было благодарить Бога. Когда, поужинав, я вышел из барака, я остановился как вкопанный — все небо в северной его части горело и переливалось тысячами разноцветных всполохов, то рождавшихся, то умиравших, растягивавшихся и принимавших самые причудливые очертания. Всполохи северного сияния так и остались в моей памяти, как отметина в жизни, ознаменовавшая ее новый этап — я стал советским ээком.

МОЯ ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ

Мое пребывание в лагере длилось со второй половины марта 1941 года до двадцатого апреля 1942 года, когда я был

освобожден и двинулся на юг. Лагерная моя жизнь делится на два этапа: первый — до так называемой амнистии и освобождения из усть-вымьских лагерей в августе 1941 года. Второй — с конца августа 1941 года по 1942 год, когда меня и Адама Тельмана, бывшего адъютанта командования львовского Союза вооруженной борьбы (ZWZ, см. примечание ¹⁷), исключили из группы освобождавшихся и отправили назад в лагерь. Тельмана освободили в январе 1942 года, а меня — в апреле по личной просьбе нашего посла в Куйбышеве Кота и министров лондонского правительства Вацлава Комарницкого и Казтана Моравского, сделавших по моему вопросу специальное представление советскому послу в Англии.

Первый этап был более-менее сносным, второй же, т.е. осень и зима 1941 — 42 годов, — страшным. Это было время голода, мороза, доходящего до минус 50^мС, груды замерзших трупов, сваленных на лагерном дворе, ожидающих прихода врача, который должен констатировать смерть, и всеобщий авитаминоз, худшей формой которого была пелагра — недостаток витамина Е. В январе — марте 1942 года обыденной вещью было, что некоторые не могли встать на развод — они были мертвы. Наивысшей смертность была среди украинцев, буковинских и бессарабских молдаван и среди кавказцев; русские, финны и китайцы были более живучими.

В феврале 1942 года я был в ужасном состоянии: ноги были покрыты многочисленными следами обморожений, я еле их передвигал, а о выходе на работы в лес и речи не могло быть. Я был тем, что на лагерном языке называется доходяга, и жить мне давали не более трех недель. Лагерный врач доктор Бадьян обратился к коменданту с просьбой на несколько недель откомандировать меня в госпиталь, формально — как больного, а фактически — как ассистента врача. И комендант к всеобщему удивлению легко на это согласился.

Доктор Бадьян был румынским евреем, служившим в чине поручика в австрийской армии во время Первой мировой войны, окончивший позже Венский университет и работав-

ший долгое время врачом в Черновцах. В лагерь он попал в начале 1941 года вместе с этапом бессарабских украинцев. Просьбу свою о моем переводе к нему он обосновал тем, что ему нужен человек, способный с ним объясниться по-немецки, а с пациентами — по-русски. В госпитальной канцелярии скопилась масса документов о смерти эзков, и мы с ними расправлялись следующим образом: доктор Бадьян диктовал мне их содержание по-немецки, а я записывал русский перевод. Эта двухмесячная работа ассистентом лагерного врача позволила мне немного узнать арктическую медицину; позже, работая в ЮНЕСКО, я познакомился и с медициной тропической.

Легкое согласие коменданта на мой перевод в госпиталь стало мне понятно только после освобождения, когда я познакомился с документами о моем деле в польском посольстве в Куйбышеве. Примерно в начале 1942 года польский посол Станислав Кот получил от польских евреев, встречавших меня в лагере, подробную информацию как о месте моего пребывания, так и о состоянии моего здоровья. Не теряя времени, он обратился не в Наркомвнудел, как того требуют дипломатические обычаи, а послал депешу прямо коменданту усть-вымыских лагерей, требуя, как предусмотрено советско-польским договором, немедленно за счет посольства отослать меня самолетом в Куйбышев. Конечно, лагерная администрация не могла освободить меня без соответствующего решения высших инстанций, но поняла, чтобы избежать ответственности, нужно постараться сохранить мне жизнь. Отсюда и столь быстрое согласие коменданта на мой перевод в госпиталь, где хлебная пайка была выше (1 килограмм ежедневно), чем в лагере. Эта пайка, собственно, и спасла меня от обычной участи доходяги — смерти от истощения.

Реакцию коменданта лагеря можно понять, особенно если принять во внимание общую ситуацию в России в то время. Советский Союз вел смертельную борьбу, в успех которой мало кто верил, немцы все еще стояли у стен Москвы, хотя их первый штурм осенью 1941 года и провалился. Госу-

дарственный аппарат работал безотказно, руководимый железной рукой НКВД, но, как мне кажется, и в аппарате мало верили в победу. Эмиссары польского посольства разъезжали по всей неоккупированной части страны, создавая запасы продовольствия и снаряжения, доставляемого из Америки, организовывая интернаты, проводя собрания и богослужения. Все это вместе взятое дезориентировало советскую администрацию на местах. Никто не знал, какие именно условия и полномочия даны полякам советско-польским договором. В таких условиях интерес польского посольства к еще не освобожденному узнику вынуждал лагерную администрацию, как минимум, взять этого заключенного под опеку.

В то время у меня не было информации о судьбе польских военнопленных, кроме двух случаев, которые я и хочу описать. Мне известно, что большая группа польских военных, преимущественно офицеров, принимала участие в строительстве летом 1941 года железнодорожной ветки Котлас — Воркута. Скорее всего, их было несколько сотен человек и они входили в комплекс Севжелдорлага. Я узнал об их существовании от советских зэков, которые даже разговаривали с поляками. Сам я дважды видел колонны зэков, по крою шинелей это должны быть офицеры нашей армии. Вполне понятно, что я, не будучи расконвоированным, не мог подойти к ним ближе. Сразу же после освобождения в 1942 году я доложил об этом польским военным властям в Котласе и польским дипломатам в Кирове и Куйбышеве. Мы тогда решили, что польские офицеры, скорее всего, были освобождены после объявления "амнистии" в конце лета 1941 года, т.е. еще до того, как представители польского посольства появились в районе Киров — Котлас — Воркута. Польские военные составляли в Севжелдорлаге отдельную группу, и нам не удалось узнать, откуда они были привезены в лагерь.

Второй случай касался подхорунжего Павлукевича, которого я встретил осенью 1941 года в усть-вымьских лагерях, где он работал электриком. От него я узнал, что незадолго до ликвидации козельского лагеря его индивидуаль-

ным этапом доставили в Москву, где он провел некоторое время в тюрьме, получил стандартные восемь лет лагерей и был доставлен в лагерь. Он был русским по происхождению и играл значительную роль в русских студенческих землячествах в польских университетах. По советской интерпретации лондонского договора он не подлежал освобождению, так как договор касался только поляков. Советские власти соглашались считать польских евреев поляками, но никак не соглашались освобождать русских, белорусов и украинцев, несмотря на их польское подданство. Правда, многим из них все-таки удалось как-то выскользнуть из лап НКВД и присоединиться к армии генерала Андерса.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НКВД

Я не стану подробно останавливаться на моих лагерных впечатлениях, ибо описание их вышло бы за рамки целей этих воспоминаний. К тому же в литературе и так достаточно описаний лагерной жизни. Поэтому я хотел бы остановиться лишь на некоторых моментах, которые, возможно: прольют дополнительный свет на Катынскую драму.

Прежде всего, как я уже писал в своей книге "Принудительный труд и экономическое развитие" (Forced Labour and Economic Development), лагеря в сталинское время играли огромную роль в советской экономике. Доходы от лагерей намного превышали расходы, связанные с приростом национального продукта, и уже тем паче перекрывали все расходы на содержание штаба НКВД, ставшего к тому времени одним из самых крупных, если не самым крупным промышленным предприятием в мире. НКВД проводил огромные строительные работы, преимущественно в отдаленных районах, возводил дороги и каналы, вел лесопромышленную деятельность на огромном пространстве от финской границы до Тихого океана; как современные монополии, имел собственные научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные фермы и шахты. По моим подсчетам во время моего пребыва-

ния в советских лагерях НКВД располагал более чем семью миллионами рабочих рук. И надо помнить, что это было в то время, когда НКВД испытывал огромный дефицит в рабочей силе.

Необходимость пополнения рабочей силы была немаловажной предпосылкой волны массовых арестов 1937 — 38 годов, так называемого "ежовского набора". Основной задачей НКВД в то время было максимальное использование этой рабочей силы, во всяком случае, мне так показалось во время моего почти трехлетнего пребывания в лапах этой организации. Мне рассказывали даже о таких случаях, когда специалисты, приговоренные судами к смертной казни, использовались НКВД без формального помилования. Мои сокамерники в Лубянке говорили, что часто НКВД заявляет о приведении в исполнение приговоров, хотя люди эти до самой смерти продолжают работать на предприятиях НКВД под другими фамилиями³⁷.

Производственный потенциал лагерей польских военнопленных, благодаря обилию среди пленных специалистов — инженеров, техников, агрономов, врачей и ветеринаров, — был особенно велик. Например, в козельском лагере было более трехсот врачей. И я нисколько не сомневаюсь, что этот потенциал когда-то и где-то мог быть использован советскими властями. Но самое парадоксальное, что НКВД предпочитал уничтожить польских офицеров, нежели найти способы их использования. Взгляды советских правителей, их позиция получали больший вес, чем народно-хозяйственная необходимость. Именно эти взгляды и перевесили, приведя к Катынской трагедии. Будущие историки, вероятно, найдут объяснения этим позициям, сейчас мы о них можем только догадываться.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА

Еще одной чертой советских лагерей, с которой я столкнулся, было значительное превосходство в них националь-

ных меньшинств, представителей неславянских национальностей из оккупированных Советами территорий — Бессарабии, Восточной Польши, Прибалтики, а также непропорционально большое число иностранцев. Впервые превосходство инородцев я почувствовал еще на этапе из Москвы в Котлас, где ехал среди казахов, татар, азербайджанцев и финнов, уже в лагере я нашел много польских евреев — большевики в 1940 — 41 году депортировали из Восточной Польши больше миллиона человек, направляя их частично в лагерь, а частично — на поселение. По подсчетам польского посольства в Куйбышеве, около тридцати процентов из числа депортированных составляли евреи. В то время в советской идеологии еще не был провозглашен официальный антисемитизм, и вывозили евреев не из расистских соображений, а лишь из-за их социального положения: большинство из них зарабатывало на жизнь коммерческим посредничеством, а это считалось в марксистской доктрине непроизводительным трудом, т. е. евреи считались "классово чуждым элементом".

Летом 1941 года, перед нападением Гитлера на СССР, в наш лагерь пришел большой этап украинцев и молдаван, привезенных из только что оккупированных областей Румынии; на некоторых лагпунктах они составляли абсолютное большинство заключенных. В лагере я узнал, что в России живет много греков, всячески подчеркивавших свое греческое гражданство, хотя многие из них никогда не были в Греции. Жили они преимущественно на побережье Черного моря, особо много их было в Одесской области. Встречал я в лагерях и персов, уроженцев советского Азербайджана. Позволю себе напомнить, что та провинция, в которой расположен нефтяной центр Баку, перешла к России от Персии только в первой половине XIX века.

Особого внимания заслуживают китайцы. В дореволюционной России было много китайцев. Занимались они преимущественно торговлей вразнос, специализируясь в основном на торговле чаем, и в своих торговых поездках доходили часто до Польши. Еще с детства я помню расхаживавших по улицам китайцев с длинными косичками и китаянок в широ-

ких шароварах. Во время революции многие из них пошли служить в Красную армию ("Совет плати, моя стреляет"), — но многие, впрочем, проявили себя и хорошими солдатами. Во всяком случае, участники польско-советской войны 1919 — 20 годов запомнили китайские отряды как хороших стрелков и отличных солдат.

В 1940 году по всему Советскому Союзу прокатилась волна арестов среди китайцев, большинство из них было арестовано по подозрению в шпионаже. Но мне все же кажется, НКВД забирал китайцев в лагеря скорее оттого, что все они замечательные работники.

После начала советско-германской войны в лагерях были созданы специальные штрафные бригады, полностью состоявшие из "шпионов" и "диверсантов", в основном эти бригады состояли из китайцев. Я, осужденный за шпионаж, также попал в одну из таких бригад. Бригада наша состояла более чем из трех десятков человек, из которых только шесть, включая бригадира-японца, этапированного с Дальнего Востока, были не китайцами; пятеро других были европейцами: два немца, два венгра и поляк. Один из венгров был родственником известного советского экономиста Варги и носил ту же фамилию*. Вторым был Ракоши, ставший позднее сталинским диктатором у себя на родине. Я сблизился с моими венгерскими товарищами гораздо быстрее, чем с другими членами бригады. Вызвано это было общими интересами. Ракоши часто и много рассказывал о себе. Судьба его, действительно, была интересной и насыщенной событиями: он участвовал вместе с Бела Куном в венгерской революции 1919 года, был в подполье и вел коммунистическую пропаганду в Закарпатской Руси, работал заместителем директора Интуриста в Москве и даже был Президентом Академии архитектуры СССР, хотя не имел

*Имеется в виду академик Евгений Самуилович Варга (1879 — 1964), директор Института мирового хозяйства и мировой политики (1927 — 47), специалист в области политэкономии капитализма, лауреат Ленинской премии (1963). (Прим. переводчика.)

специального архитектурного образования и никогда до того даже не работал на строительстве. В конце концов он тоже получил свои пять лет за "подозрение в шпионаже", так что ничем, кроме меньшего срока, он от других членов бригады не отличался. Но на свое будущее он смотрел оптимистично и уверял, что в Москве есть люди, которые заботятся о нем даже в лагере. И действительно, вскоре после того нашего разговора он был назначен на один из самых привилегированных для эзков постов — начальника столовой для административного и технического персонала лагеря. Кстати сказать, питание, выдававшееся этим людям, хотя они тоже были эками, было вполне приличным, и никак не походило на общую лагерную пайку. Значит, и заведующий столовой, несмотря на всеобщий голод, имел для себя достаточно продуктов. Будучи начальником столовой, он не забыл обо мне и тайно приносил мне немного продуктов. Однажды он даже принес котлеты, это был первый раз после моего жития в смоленской тюрьме, когда мне в руки попал такой деликатес. Венгерские же эмигранты, которым я рассказывал о моем знакомстве с Ракоши, твердят, что я единственный человек, который может сказать о нем что-то хорошее.

В нашей бригаде, работавшей на лесоповале, результаты труда оценивались не индивидуально, а по общей производительности звена. Но мы не только валили лес, но и обрубали сучья, сортировали стволы — в зависимости от их качества на погонку, сырье для бумажного производства, дрова и т.д. Нормы выработки, при которых выдавался полный паек, были непомерно высоки, и только полностью здоровый и очень физически крепкий человек мог их выполнить. А направление на работу в бригаду, занимающуюся корчевкой пней, чаще всего означало смертный приговор — так тяжела была работа и так высоки нормы.

Когда в августе 1941 года в наш лагерь прибыла группа эзков из Бессарабии, она насчитывала две с половиной сотни человек в возрасте 30 — 40 лет; проводя же в марте 1942 года статистический учет, я обнаружил, что за

прошедшее время в группе было около 70 смертей, то есть больше одной четверти. Основной причиной смерти было невыполнение нормы выработки и следовавшее за тем снижение пайка. Голодный же человек практически не способен работать на тридцатиградусном морозе и постепенно умирал от истощения.

Заключенные китайцы, несмотря на свой малый рост и кажущуюся физическую слабость, постоянно выполняли нормы и также постоянно получали полную пайку. Наш бригадир быстро понял, что от меня на лесоповале толку мало, и определил меня в китайское звено, где я занимался подготовкой "фронта работ", т.е. просто очищал от снега рабочую площадку для лесорубов. И хотя никто не занимался учетом личного вклада в результаты работы звеньев и бригад, было совершенно очевидно, моя доля была мизерной. Мои китайские товарищи должны были не только выполнять свою норму, но и мою. Но, надо отдать им должное, я никогда не слышал от них ни слова упрека. Мое мнение о китайцах не изменилось и до сих пор, это — работяги, мало требующие для себя, и очень сердечные товарищи.

Мое пребывание в лагерях в 1941 — 42 годах изменило прежнее мое мнение, что Советский Союз переживал время некоторой передышки после ежовских чисток. Это впечатление, может быть, и было справедливым, но только в отношении чисто русской в этнографическом плане территории Смоленской области. В других частях России, как мне стало очевидно из наблюдений в лагере, сила репрессии осталась прежней и после смещения Ежова. В 1940 году НКВД в поисках дешевой рабочей силы обратил свои взоры на только что оккупированные, по соглашению с Гитлером, территории Польши, Прибалтики и на отторгнутые у Румынии и Венгрии Бессарабию и Буковину. Вторым по значению поставщиком эзков в то время был Кавказ и в особенности — Азербайджан.

Национальный вопрос в Советском Союзе имеет несколько аспектов: исторический, психологический и идеологический. Истоки национального вопроса скрыты внешне ли-

беральным законодательством и марксистской демагогией. Кстати, Сталин после революции занимал пост комиссара по делам национальностей.

После моего отъезда из Советского Союза, я узнал о насильственных депортациях целых народов — крымских татар, чеченцев, карачар, кабардинцев, калмыков, поволжских немцев. По подсчетам видного советолога Роберта Конквеста, в 1943 — 44 годах в районы Центральной Сибири и на Дальний Восток было депортировано свыше миллиона человек*. И как водится, генералы НКВД, руководившие этими акциями, как, например, Серов, палач Литвы, получили награды и повышения. Только после речи Хрущева на XX съезде КПСС депортации были прекращены, а части депортированных было позволено вернуться на родину предков.

Естественно, встает вопрос, как определить эти депортации в психологическом и общественном ракурсе. Мне кажется, экономические интересы здесь не играли никакой роли. Напротив, насильственное вырывание из экономического механизма огромного числа производителей, отправка их в отдаленные и пустынные места была просто экономическим нонсенсом, как, впрочем, и физическое уничтожение специалистов среди польских офицеров.

Мне не представляется убедительным и официальное советское объяснение причин депортации: дескать, депортированы те народности, которые либо симпатизировали гитлеровским захватчикам, либо не противодействовали добровольному поступлению своих соплеменников на службу к фашистам. По моим лагерным наблюдениям, депортации народностей Кавказа и Казахстана начались еще перед войной, когда и речи не могло быть о добровольческих соединениях кавказцев при германской армии, когда Молотов и Риббентроп еще вели переговоры о присоединении Москвы к оси Берлин — Рим — Токио. Да и массовое добровольное вступление в национальные формирования германской армии, если

*Robert Conquest. Soviet Nationalitie Policy in Practice, 1967, p. 104.

такое было, легко объяснимо: а как же иначе должны себя были вести родичи тех осетин, ингушей, чеченцев, с которыми я делил лагерный кров и хлеб? Это была всего лишь естественная реакция населения на политику депортаций национальных меньшинств, начавшуюся еще до войны и принявшую более значительные масштабы в 1943 — 44 годах.

Но я и не думаю, чтобы мое представление, выработанное в лагерные годы, о колониальном типе мышления советского руководства давало бы достаточное объяснение этим депортациям. Русификация — характерная черта русской мысли. Еще Пушкин писал, что все устремления славян должны слиться в российском море. Лермонтов — кстати, мой любимый поэт — и Лев Толстой, участвовавшие в колониальных войнах на Кавказе, также не нашли в себе возможности осудить эти войны, хотя и придерживались взглядов, осуждающих войны вообще. Складывается впечатление, что политика русификации характерна для исторического развития российского государства, но я не уверен, является ли это специфически русской национальной чертой. И можно привести целый ряд примеров, когда яркими проводниками подобной политики становились "инородцы", волею судеб ставшие во главе русского государства. Например, немка по происхождению Екатерина II проводила активную колониальную политику на Украине и принимала активнейшее участие в разделе Польши. В нашем столетии поляк Дзержинский так "умиротворил" Кавказ, что даже вызвал нарекания Ленина; Сталин и Берия, творцы депортаций, были, как известно, грузинами.

Но поскольку темой моих воспоминаний являются все же события в Катynи, возникает вопрос: нет ли связи между депортациями и катынским расстрелом? Ведь обе эти акции, катынское убийство и депортации, происходили под одним и тем же руководством, обе осуществлялись одним и тем же ведомством — НКВД. И тем не менее, между ними есть одно большое различие. Депортации были признаны и осуждены в известной речи Хрущева на XX съезде партии, и даже были сделаны определенные шаги в исправлении допущенных не-

справедливостей. Катыньские же события так и остались не причисленными к "ошибкам" Сталина, и по-прежнему бытует версия, что польские офицеры были расстреляны немцами³⁸. Впервые эта версия прозвучала в обвинительной речи советского Генерального прокурора на Нюрнбергском процессе, но не была подтверждена в приговоре Международного трибунала. Так кто же все-таки убил польских военнопленных? В свете известного нам, ответ однозначен.

Депортации и катыньский расстрел были только двумя сторонами в хорошо отлаженной политике "очищения" территорий для дальнейшей экспансии советского империализма, и вовсе не исключено, что в других действиях НКВД возвращался к этим двум акциям как к моделям поведения. Во время депортаций многие из жертв исчезали без следа, причем их путь можно проследить до определенного пункта, а дальше — неизвестность. Многие жители Восточной Польши и Прибалтики могут привести массу подобных примеров. Например, мэр Вильно доктор Малишевский, профессор гинекологии, бывший ректор виленского университета и председатель Союза легионеров доктор Яковицкий, группа луцких чиновников, в которую входил Богдан Александрович, — все они были депортированы и исчезли без следа. Кстати, среди депортированных довольно солидную группу составляли и местные коммунисты.

Как мне рассказывали в лагерях румынские коммунисты, после оккупации бывших румынских территорий советские власти прежде всего старались собрать информацию о местных ячейках коммунистической партии, о ее составе, членах, руководстве, при этом особый интерес проявлялся к получению списков коммунистов. Причем, почти сразу же после установления контакта с местными коммунистами НКВД приступал к арестам евреев-коммунистов, которых подозревали в троцкистских симпатиях. Впрочем, и все другие члены компартии подвергались чистке, а наиболее независимо мыслящие из них арестовывались.

Такой же "национальный" подход распространялся и на живших в СССР иностранных коммунистов. Сколько мне из-

вестно, большинство из них перед войной сидело по тюрьмам и лагерям, многие из них были расстреляны или осуждены "без права переписки".

ВРАЧИ

Говоря о лагерях, я не могу не сказать о еще одной стороне жизни, называемой мною "цветами на гною". Когда-то давно, читая романы Ремарка о Первой мировой войне, проникнутые прямо-таки ненавистью к истреблению человека человеком, я вдруг обнаружил, что он постоянно подчеркивал еще одну сторону военного бытия — солдатское братство, дружбу и преданность между людьми. Это полностью совпадало с моими впечатлениями от тринадцатимесячной фронтовой службы в 1919 — 20 годах. Сама по себе война, с точки зрения нормального человека, абсурдна, она деморализует не только сражающиеся армии, но и все гражданское население, но в то же время благодаря ей, как цветы на асфальте, появляются новые моральные ценности.

То же самое можно сказать и о лагерном житье. Федор Достоевский, как никто из известных мне писателей, понимал и чувствовал это переплетение добра со злом. Но царская каторга в сравнении с советскими лагерями — детский лепет, и описание лагерного быта еще ждет своего таланта, равного таланту Достоевского.

И даже там, в лагерях, среди грязи и боли, можно найти людскую доброту. Я мог бы многое рассказать о взаимопомощи никогда раньше не знавших друг друга людей. Атмосфера в советских лагерях просто ужасна: голод, холод, непосильный труд, — все это просто невозможно осилить нормальному человеку. И все это следствие социалистической системы, которая, вопреки собственным теориям, создает условия для войны каждого против всех, когда только ложь, воровство и подлость могут помочь человеку выжить; это вотчина сатаны. Но и в лагерях всегда находятся лю-

ди, и среди администрации, и среди эков, которые стараются найти все возможные пути, использовать любую лазейку в предписаниях и инструкциях, чтобы хоть чуточку облегчить жизнь, если не всем экам, то хотя бы некоторым из них. И если я выжил в ужасную зиму 1941 — 42 года, то только благодаря тому, что в, казалось бы, самую безнадежную минуту всегда находился кто-то, кто протягивал мне руку помощи, кто помогал бороться за жизнь.

И первыми среди них всегда были лагерные врачи. Вообще, положение врача в России всегда было особым, они всегда были наиболее отзывчивыми членами общества. Во второй половине XIX века наиболее передовые слои молодежи шли на медицинские факультеты. Воспоминания политических заключенных в царских тюрьмах часто подчеркивают положительную роль врачей. Советские врачи моего времени, т.е. тридцать лет тому назад, тоже еще не растеряли этих качеств, хотя и были тоже эками. Обычно они находились под строгим контролем кого-нибудь из "вольняшек", чаще всего какого-нибудь полуграмотного партийца или медсестры-недоучки, но если и под этим надзором врач мог облегчить чью-то жизнь, он это делал, даже если ему самому грозили репрессии.

Особо мне запомнился один из таких врачей — доктор Орлова, вдова расстрелянного вместе с Тухачевским командующего советским флотом адмирала Орлова. Она была "ЧС", то есть член семьи "врага народа", которые обычно также получали свои десять лет и высылались в лагерь. Из ЧС в мое время в усть-вымьских лагерях еще сидела сестра Абея Енукидзе, многолетнего секретаря Совнаркома и секретаря ЦК ВКП(б), репрессированного во второй половине тридцатых годов. Кстати, по делу Тухачевского были репрессированы не только его мать, жена, сестры и малолетняя дочка, но и две его предыдущие жены. Дочь и сестры Тухачевского выжили и принимали участие в торжественном собрании в военной академии имени Фрунзе в Москве в 1963 году по случаю реабилитации маршала Тухачевского.

Доктор Орлова оставила у меня впечатления типичного

врача-общественника, глядя на нее, я живо представлял себе тех молодых людей, шедших учиться медицине только ради того, чтобы потом пойти в народ. Она мне еще напоминала вдову одного из идеологов польских легионеров, бывшего командира виленской Первой дивизии легионеров Адама Скварчиньского, вышедшую после его смерти замуж за его брата и хорошо известную в Вильно за свою деятельность по попечительству детей.

Не только я, но многие из выживших в холодную зиму 1941 года лагерников Усть-Выми, обязаны своею жизнью доктору Орловой. Я уже писал о той высокой смертности, которая была в наших лагпунктах той зимой и о которой я имею точное представление, так как занимался ее учетом, работая ассистентом лагерного врача. Кстати сказать, высокая смертность озаботила и лагерные власти, отвечавшие за производительность труда заключенных, и есть основания говорить и о заинтересовании этим вопросом самого Берия. Как бы то ни было, но власти северных лагерей провозгласили новый лозунг: восстановление рабочей силы. Сразу же после этого лагерная администрация направила доктора Орлову в поездку по различным лагпунктам. Ее задачей было нахождение причин высокой смертности заключенных и разработка методов ее снижения. Результатом этого было решение о выделении заключенным полного пайка вне зависимости от процента выработки. До этого лагерные врачи могли ходатайствовать о выдаче полного пайка экам, выполнявшим менее 30 процентов нормы, но были ограничены определенным, весьма незначительным числом *разрешенных* ходатайств. Теперь их возможности были значительно расширены. Но это решение администрации вовсе не было актом милосердия, оно было обусловлено прежде всего беспокойством о повышении производительности труда эков. Правда, врачи использовали данные им полномочия и для спасения тех, кто уже не мог полностью восстановить свои силы и стать полноценным работником.

Из моих несколько довольно коротких бесед с Орловой я понял, что она изо всех сил хотела и старалась помочь

всем тем тысячам людей, которые попали в ужасающие условия северных лагерей. И зеки ценили ее за это; я собственными глазами видел, с каким уважением, почти любовью ее встречали обитательницы женского барака.

О гуманизме русских врачей я слышал и от моих товарищей по козельскому лагерю, бывших в советских госпиталях. Многие из наших офицеров попали в плен ранеными или больными и первоначально были направлены в госпитали. Все они с большой теплотой вспоминали о врачах и обслуживающем персонале. Конечно, в семье не без урода, и были исключения и среди врачей. Мое мнение основано на личных наблюдениях, часто случайных, и тем не менее они помогли мне понять психологию некоторых социальных групп того времени. Я знаю, что советские органы госбезопасности, как и гитлеровское гестапо, организовали специальные медицинские бригады, способные на любую жестокость, на любую подлость, но мое впечатление от встречи с врачом НКВД на Лубянке все же было неплохим.

Я не могу сказать, как за прошедшие годы изменился нравственный облик советских врачей и других социальных групп, но мне кажется, в советском обществе всегда есть силы, противоборствующие подлости. Во всяком случае, Солженицын в своих очень реалистичных повестях выводит врача пятидесятых годов скорее положительным героем.

ТОТ, КОТОРЫЙ РАДОВАЛСЯ*

В самое тяжелое время моей лагерной жизни, зимой 1941 — 42 года, я находил много душевной поддержки в разговорах с ленинградским художником, открывшим для себя в лагере Бога, хотя до этого, на свободе, никогда не бывшего приверженцем ни одной религии. Его фамилия выпала из па-

*Этот очерк базируется на моей новелле "Радость", опубликованной сразу после войны в журнале *Orze Viau* под псевдонимом Марбер. (Прим. автора.)

мяти. Впрочем, в лагере его никто и не называл по фамилии, а обращались по имени-отчеству: Николай Петрович, или просто называли — "художник".

В его манере поведения, в жестах, лице было что-то, что сразу же выделяло его из толпы голодных, озверелых и оцепенелых людей. Трудно сказать, какого он был возраста: то он выглядел на шестьдесят лет, а то — на тридцать. Волосы у него были белесые, с золотистым оттенком, напоминающие цвет спелой пшеницы, и трудно было понять, то ли это седина, то ли это их настоящий цвет. Лицо его было бледным и немного усталым. Это вполне могло быть лицо молодого, но измученного человека. Глаза — цвета северного неба, чуть голубоватые, смотрящие не только на людей и мир, но и как бы проникающие во внутреннюю суть предметов. Позже я узнал, что было ему под шестьдесят.

Перед Первой мировой войной он жил в Париже и часто выставлял там свои работы. В тринадцатом году он вернулся в Россию и поселился в Петрограде. Он вращался в основном в аристократических кругах, был при дворе и даже писал портреты великих князей. Революция не стала для него личной катастрофой: новый режим не расправлялся с художниками, а напротив, старался окружить их возможной заботой. Главой Народного комиссариата просвещения и культуры был Луначарский, хорошо ему известный по парижским кафе, заказов тоже было более чем достаточно. Так было до самого 1937 года, когда сотни тысяч людей пошли в лагеря, был арестован и Николай Петрович. Ему не было предъявлено обвинения, он не был на допросах. Просто однажды к нему пришли энкаведешники и заявили, что как социально опасный элемент он высылается на пять лет в исправительно-трудовые лагеря.

Попал он в лагерь, занимающийся лесоповалом, но по возрасту и по состоянию здоровья он был признан там инвалидом первой группы. Это означало, что его не посылали на работы в лес, а использовали на внутренних работах, в зоне. Собственно, это положение инвалида и позволило ему продержаться в лагере больше трех лет.

По правилам НКВД каждый заключенный должен использоваться более-менее по своей специальности, и Николаю Петровичу старались давать художественные работы. Надо ли покрасить пол в чем-то кабинете или окрасить свеженастланную крышу — везде посылали его. Все эти виды работ считались "художественными". Ну а помимо того, его использовали также и на кацелярской работе в отделе лагерного нарядчика.

Использование на легких работах было его удачей, второй удачей было обладание одеялом. Было это толстое стеганое ватное одеяло, часто встречающееся в домах со средним достатком, довольно грязное, но вполне годное. Николай Петрович считал его своим главным спасителем. На дворе стояла суровая северная зима, температура нередко падала ниже 40-50 градусов мороза, барак наш был построен кое-как, со множеством щелей, через которые постоянно проникал внутрь холод, сквозняки гуляли между нарами, а отапливался барак единственной буржуйкой, которая давала слабенькое тепло вокруг себя, дальше было не теплее, чем на улице. И одеяло спасало своего владельца от холода, сохраняя тепло тела. Одновременно оно было и предметом его постоянной заботы: барак был населен урками, и сохранить имущество было не так-то просто. Да плюс еще извечная любовь урок терроризировать политических, отбирая у них пайки, сгоняя с лучших мест на нарах и воруя их вещи. Одеяло же было вещью сразу же бросавшейся в глаза и сохранить его было в самом деле нелегко.

Свободное время Николай Петрович проводил просто сидя на своем богатстве, а перед выходом на работу его полностью захватывал поиск наиболее безопасного места, где можно было бы спрятать свое сокровище. Собственно, эта его постоянная озабоченность сохранностью одеяла и стала поводом сближения и даже дружбы. Я был в то время освобожден от выхода на работы из-за обморожения ног. Да и какие там работы, если я и несколько шагов мог сделать с огромным трудом и почти все время проводил сидя на одном месте. Я охотно согласился стать хранителем одеяла.

В бараке был еще один освобожденный от работ зэк, так что у Николая Петровича была полная гарантия, что его драгоценное одеяло ни на минуту не останется без внимания.

Постепенно так сложилось, что, возвращаясь с работ и забирая одеяло, Николай Петрович некоторое время рассказывал мне о себе, о жизни. Честное слово, это были светлые минуты в моей жизни. Слушая его, мне становилось легче и покойней на душе, казалось, что окружающий нас мир хотя и реален, но не в нем причина вещей и их смысл. Правда где-то рядом, надо только стараться приблизиться к ней, жить по ней. Постепенно, день за днем, Николай Петрович излагал мне свою философию жизни. И неисчерпаемой темой его размышлений и бесед была Нагорная проповедь.

— Я радуюсь, Станислав Станиславович, — сказал он мне однажды, — я все еще радуюсь.

— Чему вы радуетесь?

— Да вот видите, в Писании сказано: "Благословенны страждующие, ибо возрадуются". Вот от этого я и радуюсь. Ведь мы на самом дне унижения и горя, и выход отсюда может быть только один — к радости и счастью. Они (о советском режиме Николай Петрович всегда говорил *они*) вот сейчас заставляют всю Россию зубрить основы диалектического материализма, но диалектика это не только закон мира материального, но и мира духовного. И, значит, терпение на каком-то своем этапе переродится в антитезу, в радость, нужно только освоиться в терпении, стать его частью. Мы просто не представляем, сколько радости, сколько счастья уготовано нам за вынесенное здесь, вот этому я и радуюсь.

В другой раз темой его беседы стало благословение.

— "Благословенны нищие духом, ибо их Царствие Небесное". Что это значит, нищие духом? — начал он. — Вы думаете, что это неграмотные, необразованные или те, кто не может понять сложных вещей? Вовсе нет, это те, кто покорно живут в своих ячейках, воспринимая все с радо-

стью и покорностью. Нищета духа это не то, что имеем или не имеем, это то, чего мы желаем. Можно быть бедным, как церковная крыса, но не быть нищим духом. Знаете, я до сих пор никак не могу избавиться от некоторых юношеских мечтаний. Еще будучи в Париже, мечтал поехать в Америку и открыть собственную мастерскую, да вот война помешала, и, знаете, до сих пор все о том мечтаю, все надеюсь, что еще поеду. Значит, еще не стал нищим духом. Да еще вот это одеяло, я бы не заботился о нем так, если бы был убогим. Но если бы мне удалось избавиться от всех этих мечтаний, радость моя стала бы только чище и сильнее.

Другой основой философии Николая Петровича была убежденность, что жизнь прекрасна. Когда он мне сказал об этом в первый раз, я ответил ему:

— Да, но только не здесь.

— И тут тоже. — отозвался Николай Петрович. — Вот выйдите из барака и посмотрите, как чудесно северное сияние. Вот это и есть проявление абсолютной красоты. И разве не стоит жить только ради того, чтобы это видеть?

Но он видел красоту жизни не только в радующих глаз природных явлениях. Красота бытия была еще, по его мнению, и в движении человеческой души, в людских отношениях, в тех связях, что образуются между людьми. Из разговоров с Николаем Петровичем я знал, что он был дважды женат, что обе его жены живы, но я так и не узнал — сам он никогда об этом не говорил, а я не спрашивал, стыдясь своего любопытства, — был ли он причиной развода или его бывшие жены чем-то провинились перед ним. И все же, когда он мне рассказывал о своей жизни, обеих женщин он вспоминал с огромной теплотой и сердечностью и верил, что еще увидит их.

Николай Петрович, его поведение, его разговоры как бы прибавляли мне веры, давали понять нечто сакраментальное в этой жизни, помогали перенести все тяготы лагерного существования. Наши тела были покрыты язвами, ноги обморожены и распухли, вокруг нас царствовала ненависть и грубость, а его разговоры были мягки и наполнены добротой.

Меня часто преследовало ощущение ожидания, что вот сейчас поднимется покров и мы поймем тайны зла и тайны ожидания.

Николай Петрович как бы вливал в меня веру и оптимизм, но я часто и противоречил ему. Впрочем, скорее только для того, дабы спровоцировать его на новые беседы и отвечать ему на его рассуждения:

— Мы живем во вшах, грязи, голоде и холоде, но это еще не самая худшая сторона нашей жизни. Хуже того, что здесь человек потерял всякую ценность, что мы не ценим самих себя и никто не ценит нас. Вы только посмотрите на лагерных женщин. Я сам воевал на двух войнах, хорошо знаю солдатский язык, но никогда в жизни я не слышал таких слов и таких разговоров, какие без зазрения совести произносят они. Каждая из них готова отдаться повару, и вовсе не оттого, что голодна, а от того, что повар в лагере — фигура весьма влиятельная. А ведь на воле они были матерями и женами и прекрасно знали, что такое женская гордость. Или взять отношение к больным и ослабшим солагерникам, к доходягам, ведь каждый готов их ударить, отобрать пайку, согнать с лучшего места, оттолкнуть от печки, чтобы сесть самому. Знаете, это как в детстве, я помню видел, как куры заклевали больного цыпленка, подошедшего к ним, чтобы поклевать зерна. Я видел много страшных вещей, видел, как у живых людей гранатой рывало животы и как оттуда выпадали кишки, но вот их подобрали санитары, и я уже забыл о них, но о том цыпленке я помню. И сегодня я вновь вижу его, только в человеческом обличи доходяги. Или вот, посмотрите на теснящихся вокруг нас, прислушивающихся к нашему разговору в надежде услышать что-то, о чем можно будет донести лагерному оперу. Где же здесь красота?

Николай Петрович на минуту задумался, и, подняв на меня свои голубые глаза, сказал:

— Вы, Станислав Станиславович, нарисовали правдивую картину, но неполную. Да, несчастья часто открывают человеческую подлость, но столь же часто они открывают и

благородство человеческой души. Красота человека особенно видна на фоне мерзости, но мы так углубились в самих себя и в свои переживания, что просто не хотим ничего видеть вокруг. Все, что вы сказали, верно, но где в вашей картине место для Надежды Алексеевны, для сектантов, для старого анархиста, заведующего баней... Почему вы ничего не сказали о них?

Я и в самом деле совсем забыл об этих людях. Надежда Алексеевна была еще молодой женщиной, ей было около тридцати лет, работала она помощником бухгалтера. Я не был знаком с ней близко, знал только, что после ареста где-то на Урале у нее остался муж и двое детей. Сидела она за то, что неосторожно высказалась о культе Сталина, и НКВД без всякого следствия выслал ее как социально-опасный элемент на пять лет. Она была совершенно непохожа на других женщин. Молчаливая, она постоянно опускала глаза, но если поднимала их на собеседника, то его сразу же наполняло чувство, что живет она в другом мире, в ее присутствии никто не решался произнести ни единого грубого слова. Была она без сомнения красива, но просто невозможно себе представить, чтобы кто-то из мужчин обратился к ней с предложением, которое другим женщинам делалось без стеснения, прямо на людях. Было в ней что-то, что вызывало уважение, и люди относились к ней по-особенному. Она же радовалась каждой встрече с Николаем Петровичем, это были родственные души.

Сектантами в лагере называли двух баптистов: пожилого, лет шестидесяти, и молодого парня, лет двадцати пяти. Были они обыкновенными русскими крестьянами, работали на общих работах и никогда не старались их избежать. Ну а поскольку с детства были они приучены к тяжелому ручному труду, им удавалось выполнять нормы и житье их было более-менее сносным. Не были они единственными, посаженными за веру в нашем лагере, не были они и единственными баптистами, но они отличались своим отношением к со-лагерникам. Каждого они воспринимали как равного, как человека, и каждому старались помочь как только могли.

Особенно бросался в глаза младший из них — молодой, полный физической силы мужчина, прекрасный работник, с глазами, наполненными доброжелательностью и сочувствием. Он мне напоминал виденную некогда икону св. Иоанна Богослова.

Я не упомянул этих людей в своих словах оттого, что мне они казались исключением, не отражающим лагерной действительности.

Николай Петрович отгадал мои мысли:

— Знаете, роль такого рода людей в нашей жизни гораздо больше, чем вы себе представляете. Поймите, Россия — страна исключительная, страна, в которой правит сатана. Вы зря улыбаетесь. Ваша усмешка — следствие вашей сверхрациональной цивилизации. Вы ведь, Станислав Станиславович, уже столько времени провели в России, неужели вы не почувствовали, как на каждом шагу видится сквозь реальность его отвратительная морда?

Но, — продолжил Николай Петрович, — он не победит, а будет побежден, и именно потому, что есть такие люди, как Надежда Алексеевна, сектанты, старый анархист. Дьявол боится чуткости людской. И неважно, какую веру исповедуют эти люди. Я даже не знаю, верующая ли Надежда Алексеевна, анархист же верует как-то по-своему, даже трудно понять, во что. Неважно и то, грешен или безгрешен человек, все мы грешны, но важно то, что в каждом из этих людей есть частица искры Божьей, Его милость и воля к сохранению этой милости. И много еще на Руси людей с чистыми сердцами, гораздо больше, чем вы себе представляете. И о них сломает себе голову царящее над нами зло. Знаю, так будет, и я рад этому.

Есть в русском языке комбинация из двух слов, странно звучащая в переводе на другие языки — светлое пение, — после небольшого раздумья продолжал Николай Петрович. — Это, как ангельское пение, как песнопения в Пасхальную ночь в наших церквях: тихое и ясное пение победившего зло Добра. Мне часто кажется, я слышу это пение. Мне часто снится церковь, освещенная мягким светом свечей,

расшитые золотом убрания священников и это тихое, радостное пение. И на душе становится так светло, так сладко, что радость не уходит и после пробуждения.

Спустя несколько дней после нашего разговора случилось следующее. Я увидел Николая Петровича, идущим в его потертой телогрейке, в старых галошах, несущего свой обед и изо всех сил старающегося не упасть и не пролить баланду на скользком утоптанном снегу. Он бережно и крепко обеими руками держал миску и трехсотграммовый кусок сырого черного хлеба, а на лице его было выражение чуть ли не преклонения перед этим кусочком хлеба.

Надо сказать, в ту страшную зиму это было нормальным явлением, многие эки страдали психозом на почве недостатка хлеба, многие целовали его, называли ласковыми именами. Некоторые даже охотно меняли полученную в пайке рыбу на кусочки хлеба, меньшие по своей калорийности, чем рыба. Причем, относилось это исключительно к хлебу, не было и намека на подобное уважение к другой пище. На лице Николая Петровича было прямо-таки восхищение перед этим маленьким кусочком печеного теста и жмыха.

И в это самое мгновение проходивший мимо урка, мужчина огромного роста и, видимо, недюжинной силы, быстрым жестом выхватил у него хлеб. Николай Петрович попробовал отстоять свое богатство, но от сильного удара упал на землю, а урка быстро скрылся за углом ближайшего барака.

Я подбежал к нему. Он лежал на земле и тихо плакал. Я стал помогать ему подняться. Падая, Николай Петрович поранил лицо над правым глазом и кровь маленькими капельками стекала мне на руки и на снег. Он продолжал плакать. Я взял его под руку и повел в наш барак. Он постепенно пришел в себя, увидел, кто его ведет и что сам он плачет:

— Станислав Станиславович, вы не думайте, что я плачу. Может, так оно и есть, но это выходит само собой. в душе я рад: все к лучшему, и мир прекрасен...

Я не ответил, отвел его в барак и укрыл его бесценным одеялом.

Через несколько дней меня забрали в больничку, а потом пришло освобождение. Больше я не видел Николая Петровича, человека, который радовался.

АНАРХИСТ

Было ему лет около шестидесяти, и во время революции был он уже вполне сознательным, взрослым человеком. Сейчас уж не помню, кем он был по профессии, но кажется, что работал рабочим на текстильной фабрике. Как-то случилось ему прочитать нелегальную брошюрку о взглядах Петра Кропоткина, апостола русского анархизма, одинаково отрицавшего и царскую власть, и диктатуру пролетариата, и марксистскую диалектику, чем заслужил еще до Первой мировой войны враждебность Ленина, с которым часто встречался в эмиграции.

Мой лагерный товарищ смог войти в контакт с Кропоткиным, жившим за границей после удачного и смелого побега из Петропавловской крепости. Он глубоко проникся идеями князя-бунтаря и утверждал при каждом удобном случае, что любая организация — профессиональная, религиозная или государственная — только подавляет человеческую индивидуальность, мешая ее самореализации. Он был верующим и считал, что каждый свободный человек должен найти свою дорогу к Богу.

До революции он не раз сидел за свои взгляды, но каждый раз возвращался на свою работу и вновь пропагандировал анархизм. И только после воцарения большевиков он надолго попал за колючую проволоку. Он был убежден, советский режим — самый подавляющий из всех, известных истории. Он никогда не таил своих взглядов, и, что странно, это ему сходило с рук. Без сомнения, он принадлежал к числу тех людей, жизнью которых правит идея.

Был он лагерным ветераном, и окружающие, и начальство относились к нему с некоторой долей уважения. Да и было за что уважать его, он ведь выжил в аду Беломорканала.

И в то время был своего рода обычай давать более легкую работу прошедшим через Каналстрой, ну и мой приятель получил одну из таких работ — стал начальником сушилки.

Была это небольшая землянка, построенная обок бани и выполнявшая двойную функцию. Сушили там одежду работавшие в лесу, в глубоком снегу, и проводили дезинфекцию. Каждый вечер специально поставленный человек от каждого барака приносил ему мокрую одежду и валенки, а утром, еще до подъема, он получал их назад сухими. И если сушка одежды нареканий не вызывала, то дезинфекция была просто ни к черту. Тепло от сушилки было недостаточным, чтобы убить вшей, и они, кажется, после такой дезинфекции даже лучше размножались. После получения приказа производить секции умерших сушилка стала выполнять еще одну функцию — размораживание трупов перед вскрытием, ведь они были просто каменными, на дворе стояли тридцатиградусные морозы. Когда же лагерный врач собирался проводить вскрытие для выяснения причин смерти, привозили трупы в сушилку и складывали на дне дезинфекционной камеры. Обычно это занимало несколько часов, но бывало, что трупы лежали в сушилке и по нескольку дней. Вход в сушилку экам был запрещен, конечно, кроме тех случаев, когда приносили они одежду для сушки или дезинфекции.

Однажды он мне сказал, что по его наблюдениям сушилка не только дезинфицирует одежду, но и лечит людей. Ведь умирают не только от голода, но и от холода, от которого некуда скрыться. Ему казалось, что если несколько часов полежать на дне дезинфекционной камеры, где не очень горячо, то ослабевший организм начинает лучше сопротивляться холоду арктической зимы. Вот он и старался между трупов положить и живого доходягу, чтобы хоть как-то ему помочь.

Я тоже по его совету стал проходить такой курс лечения. И, честное слово, так было приятно чувствовать разтекавшееся по всему телу тепло, что даже забывал о лежащих рядом покойниках, а выйдя через несколько часов на улицу, мороз мне уже не казался таким сильным.

Однажды пришли за трупам. Двое здоровых мужиков тащили их за ноги из камеры так, что головы покойников гулко стучали по полу. Я лежал тихонько, надеясь, что меня не заметят. Но один из мужиков схватил меня за ноги и потащил, я чуть дернулся, а он, посмотрев на меня, сказал напарнику:

— Смотри-ка, этот-то отогрелся и ожил. — И потащил меня дальше. Я рванулся изо всех сил и убежал из сушилки. Против моих ожиданий, инцидент остался без последствий, и я изредка продолжал приходиться греться.

Лечение мое среди оттаивавших покойников длилось около двух недель, потом меня перевели в больничку. Пожалуй, тепло сушилки действительно спасло меня, в те две недели я чувствовал себя особенно слабым, просто на грани жизни.

После двухмесячного пребывания в больничке пришел приказ о моем освобождении по так называемой "польской" амнистии. Я не смог проститься со старым анархистом и поблагодарить его за доброту, но у меня надолго осталось в памяти воспоминание о людской сердечности и товариществе. Я никогда не забуду всех, с кем мне довелось встретиться в усть-вымьских лагерях.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Примерно 20 апреля 1942 года администрация нашего лагпункта получила приказ отправить меня в управление усть-вымьских лагерей для оформления моего освобождения. И хотя мне надо было проехать всего около пятидесяти километров по железной дороге, поездка эта была самой тяжелой из всех, что довелось мне испытать в советских лагерях и тюрьмах. Было это поздним вечером, шел дождь со снегом и дул пронизывающий насквозь ветер. Состав, на котором я ехал, был прицеплен к допотопному паровозу, построенному, пожалуй, еще в прошлом веке. Ехал я на открытой платформе среди каких-то тюков, сидя прямо под открытым небом, а конвойные и кондуктор расположились в небольшой

будке. Я попросился в будку, там было достаточно места, но конвойный ответил, что такого и быть не может — возить ээка вместе со свободными людьми. Так я и ехал, два часа под мокрым снегом и ветром, мои бушлат, телогрейка и ватные штаны промокли до нитки, а сам я замерз так, что зуб на зуб не попадал.

На следующий день выдали мне новые документы, где всякий раз перед фамилией было написано *гражданин*, и билет до Котласа, где был представитель польского посольства, занимавшийся освобожденными из лагерей польскими гражданами. Ну а чтобы я лучше представил условия жизни в лагерях, дали мне новую обувь и бушлат. В то время в поезда не пускали без предъявления справки о прохождении санобработки, и мне, чтобы избавиться от вшей и получить справку, надо было пойти в лагерную баню. И вот, когда я и группа ээков в костюмах Адама стояли в ожидании нашей одежды из прожарки, пришла инспекция во главе с каким-то большим тузом НКВД. Он, как оказалось, прекрасно знал, кто я есть, и строго выговаривал заведующему баней, что моя одежда обрабатывалась вместе с одеждой ээков, — ведь я был уже *вольный* человек. Тогда я узнал, что вошь вольного стóбит гораздо выше вшей ээков и достойна быть убитой только среди своих вольных собратьев. Я еще раз почувствовал, как унижены заключенные в новой, сталинской России и как это привилегированно в стране рабочих и крестьян — быть вольным человеком.

Через несколько дней, приехав в Котлас, я увидел на станции человека в военном мундире с нашивкой на рукаве — Poland. Это был офицер создававшейся в Советском Союзе польской армии, встречавший освободившихся из лагерей сограждан, дававший им необходимую информацию и посылавший некоторых из них в Среднюю Азию, где формировал свои части генерал Андерс. Он направил меня к пристанционным баракам, где мне должны были выправить документы и дать денег на дорогу. Первое, о чем я его спросил, это о судьбе моих товарищей по козельскому лагерю. Я думал, что они должны составить костяк новой польской

армии, о которой я уже знал из иногда попадавших в лагерь газет. Офицер же ответил мне, что о судьбе большинства козельских пленных ничего не известно, как и о судьбе тех, что были в лагерях в Старобельске и Осташкове, что только небольшая их группа находится сейчас в Грязевцах. Да и вообще, не досчитываются почти десяти тысяч пленных офицеров. По его словам, всем представителям польского посольства, всем офицерам поручено собирать информацию о судьбе пропавших офицеров, но пока ничего конкретного не известно. Под конец же он мне сказал, что мне, видимо, крупно повезло, что меня арестовали и направили в Москву, в посольстве очень сомневаются, что остальные мои товарищи по козельскому лагерю живы.

Барак, в котором размещались только что освободившиеся поляки, располагался метрах в четырехстах от станин. Было в нем несколько помещений, где нашли себе крышу над головой около трехсот приехавших с севера бывших заключенных. Был уже вечер, мне дали тарелку супа и сказали самому найти себе место на нарах. На следующее утро меня разбудило пение, в соседнем помещении кто-то хором распевал молитвы. Я быстро оделся и направился принять участие в службе. Но я подоспел к самому концу утрени. И все равно я был счастлив — это была моя первая легальная служба после "катакомбной" мессы в Козельске в конце 1939 года.

Когда я пришел за подорожной в транспортный отдел нашего представительства, мне сказали, что меня уже давно ждут и что сначала мне надо поехать на встречу с полномочным представителем польского посольства на севере России, который очень хочет переговорить со мною лично. Получалось, что перед поездкой к Андерсу мне надо захватить в Киров. Мне выдали подорожную, и следующим утром я выехал на встречу с польским представителем.

В Кирове меня встретил с распростертыми объятиями Отто Пэр, известный в предвоенной Польше социалист, работавший адвокатом в Грудзиондзе, а сейчас — полномочный представитель польского правительства и посольства на севере

европейской России. Он сразу же поведал, что мое освобождение было главной задачей его миссии, что постоянно получал об этом напоминания от посла Кота в Куйбышеве и от лондонского правительства. Более того, по его словам, на этот счет проводились даже специальные переговоры между нашим правительством и советским послом в Лондоне.

Представительство располагало большими запасами присланных из Америки консервированных продуктов и одежды. И первым шагом Пэра было поручение кладовщику принести мне со склада белье, одежду, пальто и т.п., а меня он попросил выбросить все мои лохмотья. Я поблагодарил его, но со своей лагерной одеждой расставаться не торопился — валенки, бушлат, телогрейка и стеганые штаны, все это, на мой взгляд, как нельзя лучше спасало от холода на русском Севере. Не зря же монголы и другие местные народности веками пользовались именно этой одеждой. Ну а помимо того, если бы мне их удалось сохранить, все эти вещи в будущем были бы чем-то вроде сувенира и напоминания о времени, проведенном мною в лагерях.

Пэр сказал, что, по его наблюдениям, все освобожденные ни в какую не могут расстаться со своей лагерной одеждой, для них это прямо богатство какое-то. И ему хотелось сразу же сломать во мне то типичное для советского зэка отношение к теплой одежде, которым я уже успел заразиться. Еще со склада мне выдали несколько банок консервов, ну и плюс к тому я получал паек в бараке, который тоже был под началом представительства.

Я, конечно же, сразу понял, что заинтересованность в моем освобождении вовсе не значит, что я так уж необходим Польше. Просто это был первый случай обнаружения живого человека из пропавших без вести офицерских лагерей. Ведь известна была судьба только тех примерно 150 офицеров, которых из Козельска направили этапом в июне 1940 года в Грязовец и Павлишев Бор, остальные исчезли без следа. Их искали, но безуспешно, со времени подписания советско-польского договора 1941 года. Правда, были известны несколько "амнистированных" офицеров,

но они были арестованы еще до ликвидации лагерей военнопленных и, естественно, ничего о судьбе этапов не знали. Я же был первым пленным, которого удалось найти и который мог пролить хоть какой-то свет на их судьбу. Мой случай и в самом деле был исключительным: 30 апреля 1940 года я был в ликвидационном этапе, но не был расстрелян, не был и в Грязовце, и только после объявления "амнистии" полякам мои следы обнаружались в Коми АССР. Вполне естественной была надежда польских властей узнать от меня хоть часть событий апреля 1940 — апреля 1942 годов, которые Сталин, Молотов, Берия и Меркулов держали в большом секрете.

Как я и предполагал, Пэр стал расспрашивать меня, что мне известно о польских офицерах. Я рассказал ему то, что несколькими днями позже письменно изложил в рапорте на имя генерала Воликовского, шефа польской военной миссии при советском правительстве. Выслушав меня, Пэр понял, что я не только не развеял мрак над всей этой историей, а, напротив, сделал ее еще более туманной. Особенно озадачило его мое заявление, что большая часть эшелонов с польскими пленными шла на запад и задерживалась на некоторое время в районе Смоленска, и предложил не мешкая все это рассказать послу. Что же до того, что я как призванный на действительную военную службу и не освобожденный от нее должен явиться в ближайший военный комиссариат, то это дело поправимое. После встречи с послом в Куйбышеве, куда был эвакуирован из Москвы дипломатический корпус, я смогу отправиться в Среднюю Азию и присоединиться к сформировавшимся там польским частям.

— Да и кроме того, организация поездки в Среднюю Азию, это не такое простое дело, как вам может показаться, — добавил Пэр. — Мы так поставили вопрос, что им некуда было деваться, и они вас освободили: текст советско-польского договора четко говорит о необходимости освобождения всех польских граждан из тюрем и лагерей. Не могли они и сказать, что ваше место пребывания им неизвестно — мы представили полную и исчерпывающую информа-

цию на этот счет. Но я опасаясь, что, если мы вас сейчас же направим к Андерсу или в Куйбышев, вы никогда туда не приедете. Ну а для того, чтобы ваша дорога прошла без эксцессов, нужно время, нужно добиться от НКВД для вас документов и т. д.

В течение моего почти двухнедельного пребывания в Кирове я убедился в способностях Пэра вести дело с советскими властями. Странно, но что особенно поднимало его авторитет, так это его немецкий акцент и слабое знание русского языка. Из-за этого акцента, полученного им во время службы в австрийской кавалерии в Первую мировую войну, местные советские чиновники приняли его за американца, приехавшего помогать полякам, и относились к нему с особым уважением: СССР и США были союзниками, положение обязывает. На самом же деле Пэр перед самой немецкой оккупацией перебрался в Восточную Польшу, где был интернирован советскими войсками и отправлен в ссылку, откуда он перешел позже на службу к польскому правительству и получил место в польском посольстве.

Он хорошо пользовался тем преклонением перед Западом, которое отличало советских чиновников. Мне кажется, что это преклонение было характерной чертой сталинской эпохи. Такой же характерной, как и неприязнь к интеллигенции, способной все критиковать и высмеивать. Все это часто проявлялось довольно странным образом: с одной стороны, НКВД сажал западных коммунистов, приехавших в Советский Союз, на "родину мирового пролетариата" искать защиты и спасения от фашизма, и привилегированным положением на Лубянке арестованных жителей Центральной Европы, если обнаруживалось их аристократическое происхождение, — с другой. "Новый класс", приведший Сталина к вершинам абсолютной власти, был насквозь пропитан чувством собственной неполноценности. Этот "новый класс" отгородил Россию глухой стеной не только от капиталистического Запада, но и от революционного движения на Западе. Ну а те, кто имел какие-либо контакты с Западом еще во времена НЭПа, участники гражданской войны в Испании и иностранные ком-

мунисты либо пошли в тюрьмы, либо были физически уничтожены. Когда после начала войны судьба России стала зависеть от американских поставок, советская бюрократия резко изменила линию поведения и прямо-таки стала пресмыкаться перед американскими представителями, которых с каждым днем становилось все больше и больше в Советском Союзе. Пэр прекрасно использовал новую ситуацию для освобождения из советских лагерей поляков, спасая их от подневольного труда и вероятной смерти от голода.

Было ли предположение Пэра, что НКВД постарается меня ликвидировать, основано на каких-то фактах, того я не знаю, но он организовал все так, что просто было невозможно тихо убить меня в дороге. Прежде всего, я поехал не один, а в сопровождении польского дипкурьера, который должен был помогать мне и сопровождать меня из-за моего расстроенного здоровья. Перед войной этот человек работал где-то на Новгородщине и был похож больше на боксера, чем на курьера. НКВД не только выдал нам пропуски, но и дал разрешение на проезд в мягком вагоне от Кирова до Горького и даже телеграфом забронировал для нас каюту на пароходе, ходившем по Волге от Горького через Куйбышев на Астрахань. Наше представительство снабдило нас на дорогу продуктами, а жена моего попутчика напекла из американской муки печений и булок, так что вся эта куча еды напоминала приготовление к Рождеству, а не деловую поездку. Ну и еще мы должны были перед поездкой пройти санобработку в вокзальной бане; я уже писал, что без справки о санобработке в поезда тогда не пускали.

В Кирове, перед самым отъездом, я видел пополнение, отправляющееся на фронт; судя по количеству солдат это была пехотная дивизия. Только одна рота была вооружена ружьями, остальные солдаты были безоружны, не видел я ни автоматов, ни противотанковых ружей. Как мне объяснили, оружие было отправлено на фронт специальным транспортом НКВД и там будет выдано солдатам. "Новый класс", часть которого, кстати, тоже была репрессирована, умеет делать надлежащие выводы из прошлого.

Величайшей ошибкой царя было вооружение почти одиннадцати миллионов рабочих и крестьян. О русской армии времен Первой мировой войны так и говорили, что это вооруженные группы крестьян. И если февральская революция была делом рук буржуазии, желавшей изменить ход войны, то октябрьская революция стала делом вооруженного народа, которому Ленин пообещал землю и мир. Учитывая это, советская правящая верхушка делала все, чтобы в этой мировой войне солдаты не повернули оружия против государства и его элиты. И во главе этих акций встал Берия, получивший позднее звание маршала Советского Союза, хотя и не имел ничего общего с проведением войсковых операций³⁹.

На вокзале, после того, как мы предъявили пропуска, выданные НКВД, нам без разговоров продали билеты. На перроне нас встретил патруль НКВД, который еще раз тщательно проверял пропуска и документы каждого пассажира. Везде был порядок, чистота, что мне особенно бросилось в глаза. Наш поезд точно по графику пришел в Горький. И не было и намека на то, чтобы кто-то без билета вошел в мягкий вагон. А ведь во времена Керенского вид солдата, расположившегося в грязных сапогах на красном плюше купе первого класса, был совершенно обыденной вещью. НКВД поддерживал порядок везде и во всем, и все солдаты, которых я встречал на улицах Горького и Куйбышева, вели себя достойно.

На вокзале в Горьком мы нашли представителей посольства, указавших нам дорогу к резиденции польского представительства. Там нам сказали, что каюта для нас уже заказана, пароход отплывает через два дня, а пока мы можем жить здесь, в представительстве. Примерно через два часа по нашему прибытию зазвонил телефон, и начальник местного отдела НКВД очень любезно любопытствовал, как я доехал. И хотя город мне был очень интересен, я, после подобного интереса со стороны НКВД, решил провести оба дня безвыходно в здании представительства. В Горьком мы стали свидетелями нескольких налетов германской авиации, но они не показались мне особенно страшными — у русских бы-

ло достаточно противоздушной артиллерии. Я с грустью вспомнил, что ее недостаток был нашей ахиллесовой пятой в 1939 году...

Пароход, на котором нам предстояло плыть, был еще до-революционной постройки, когда в обычае зажиточных людей было проводить свободное время, путешествуя в шикарных каютах по величайшей реке Европы. Нам досталась огромная каюта с двумя обтянутыми кожей диванами. Путешествовать на этом пароходе было очень приятно. Майское солнце не жалело света и тепла, хотя по берегам еще кое-где лежал снег, а ветер доносил запахи пробуждающейся природы. Проплывая мимо пристаней, часто можно было услышать характерные песни волжских грузчиков.

Меня охватило ощущение покоя и безопасности. Благодаря дальновидным действиям Пэра я был недосягаем для НКВД, не было повода и для беспокойства о моей семье. Мне сказали, что их видели в Вильно перед самым наступлением немцев, и у меня была надежда, что они благополучно дождались освобождения города от большевиков. Конечно, им угрожал голод, но всегда было к их услугам небольшое имение моего тестя под Молодечно, где чего-чего, а картофеля было достаточно.

В дороге я большую часть времени проводил нежась на весеннем солнце на верхней палубе, наслаждаясь весенним воздухом, приносящим щемящие сердце запахи с прибрежных лугов и полей. Единственное, что меня беспокоило, это судьба моих товарищей по козельскому лагерю и пленных старобельского и осташковского лагерей. Но как ни крути, получалось, что в советско-польских отношениях появилась еще одна проблема, еще одна болезненная точка.

И в самом деле, как десять тысяч офицеров, многие из которых имели личные связи во многих частях света, могли стать пропавшими без вести в военном замешательстве? Должен же был хоть кто-то из них дать о себе знать, ведь доходила же информация обо мне из усть-вымьских лагерей до польского посольства в Куйбышеве. Я совершенно исключая всякую возможность того, чтобы в государстве, где

НКВД контролирует, регистрирует и наблюдает за всем на свете, власти могли бы не знать о судьбе такого большого количества людей. Ну и кроме того, я своими глазами видел, что решение о судьбе каждого из нас в *индивидуальном порядке* принималось в Москве, на самом высоком уровне, и логично было предположить, что в НКВД на каждого из нас имелось персональное досье. Ну а следствием всех этих размышлений был вывод, что, очевидно, большинства моих товарищей уже нет в живых. Но я все еще сопротивлялся мысли, что они стали жертвами запланированной массовой расправы, все, что я пережил в Советском Союзе, говорило против возможности их убийства. И в Смоленске, и на Лубянке, и даже в лагере ко мне относились лучше, чем я мог предположить, и, конечно же, это отношение не могло не отразиться на моем образе мысли. Если все же они были убиты, как о том говорили многие, то это было бы событием огромного исторического значения. Рано или поздно правда будет выяснена, и она заставит целые поколения пересмотреть свое отношение к СССР не только в советско-польских отношениях, но и к его роли в Восточной Европе и в мире. Это будет моральный шок. Массовый террор, провозглашенный Лениным и Дзержинским, можно еще как-то, с большой натяжкой, объяснить с позиций классово-борьбы. Расправу же с пленными офицерами, после почти полугодичного их пребывания в лагере, объяснить классовым подходом просто невозможно. Это было бы проявление советского империализма, перед которым померкли бы все акции царского правительства по отношению к польскому народу.

Удобно расположившись на палубе парохода и наслаждаясь майским солнышком, я пытался взглянуть на пережитое мною за последние три года сквозь призму истории. Мое отношение к России было двояким: я любил ее и ненавидел ее строй, а судьба моих товарищей лишь добавляла ненависти. Я закончил русскую школу, на всю жизнь полюбил русскую поэзию и верил в талант русского народа многие из моих кузенов были русскими, я много встречал прекрасных и ду-

шевных представителей этого народа и прекрасно чувствовал себя среди них. Еще в детстве я не раз слышал от моей матери много теплых слов об умершей жене моего дяди, и с тех пор во мне было уважение к русским женщинам, я знал, что на них можно положиться. Позже, уже в университете, на меня и на формирование моего отношения к жизни очень повлияла моя ровесница, русская девушка. И тем не менее, я никогда не допускал возможности союза земель Речи Посполитой с Россией.

В то же время, в моих политических взглядах не было ничего против так называемого Востока, как это бывает со многими поляками. Напротив, Восточная Европа мне была близка, я сам принадлежал к ее культуре. Но мне казалось, что надо как-то защититься от той системы государственной власти, которая возникла в Москве. Жизнь в лагере меня только утвердила в этом представлении.

После трех лет, проведенных в тюрьмах и лагерях, я вступал в новый этап своей жизни. Мысль моя то забежала вперед, рождая множество вопросов, то отступала в воспоминания о прошедшем, и хотя его уже не вернуть, оно вставало передо мною явственно и рельефно. Россия, оставившая на мне глубокий след в детстве, вновь становилась для меня большой личной и политической проблемой. Я вспоминал о польских повстанцах, погибших в сибирских острогах и ссылках, о царских генералах, друзьях моих родителей, о трагической судьбе моих друзей детства и юности; я с грустью и тоской думал и о своей семье. Может, что узнаю о них в посольстве?

В таком настроении я и сошел на берег в Куйбышеве, ставшем на время второй столицей Советского Союза.

ГЛАВА V

КУЙБЫШЕВ

ПОСОЛЬСТВО

Посольство в Куйбышеве напоминало скорее пункт помощи депортированным и пленным, чем дипломатическое представительство. Никто не знал точного числа депортированных между ноябрем 1939 года и июнем 1941 года поляков. Примерная цифра, называвшаяся в то время, была около 1,2 миллиона человек, направленных в лагеря, ссылки и поселения. По советско-польскому договору 1941 года все эти люди должны были быть немедленно освобождены, но лишь очень немногие из них могли покинуть СССР.

Почти все они нуждались в помощи, тысячи людей обращались за выдачей им польских паспортов и материальной помощи. Часто было очень трудно разобраться, был ли тот или иной из обратившихся действительно польским гражданином. Были и случаи, когда советские граждане под различными предлогами старались получить польский паспорт, дабы оставить при удобном случае свою социалистическую родину.

Почти ежедневно приходили известия, что в том или ином пункте поляки задерживались советскими властями вопреки духу и букве договора 1941 года. Отсюда и получилось, что фактически польское посольство состояло из двух отделов: отдела социального обеспечения, во главе которого стоял тогда Стефан Гацкий, и отдела, занимавшегося опросом сосланных и оказанием помощи тем, кто нуждался

в особой опеке польского правительства. Этим вторым отделом заведовал профессор Сукенницкий.

Собственно политические вопросы и прежде всего будущее советско-польских отношений имели в работе посольства и его представителей в различных регионах Советского Союза скорее второстепенное значение. Единственным, пожалуй, человеком, постоянно поднимавшим эти вопросы и выдвигавшим их на первый план, был присланный из Лондона и назначенный на должность пресс-атташе посольства Ксаверий Прушиньский. Из всех сотрудников посольства только один имел опыт дипломатической работы, им был наш бывший посол в Финляндии Хенрик Сокольницкий. Посол Кот понимал свою деятельность прежде всего как миссию помощи польским гражданам, опять-таки ставя политические проблемы на второй план. Да, собственно говоря, он и не был дипломатом, и сам это признавал, добавляя, что и России-то толком не знает.

По образованию он был историком культуры, и из всех политических новостей его особенно волновали приходившие из Польши сведения об уничтожении оккупантами памятников польской истории и культуры. Он был совершенно уверен, что вся сила, влияние и энергия посольства должны быть направлены на спасение погибавших в лагерях поляков, уделяя особенное внимание представителям творческой интеллигенции. Он постоянно находил литераторов, художников, журналистов, помогал им освободиться и выехать из СССР.

Приехав в Куйбышев, я застал в посольстве много известных деятелей польской литературы: Вацлава Грубиньского, Владислава Броневского, Виктора Вайнтрауба, Теодора Парницкого. Были там и представители польской науки: историк Станислав Коцчалковский, химик Сконпский, юрист Виктор Сукенницкий, а из журналистов удалось спасти сотрудника "Нашего Пшеглонда" Бернарда Зингера и корреспондента "Курьера Варшавского" Романа Фаянса.

Сразу же по приезде я получил место в общежитии при посольстве и, оставив там вещи, пошел доложить о своем

прибытии шефу польской военной миссии при советском правительстве генералу Воликовскому. Его, естественно, прежде всего интересовала судьба польских офицеров, и он попросил меня в сжатой форме изложить письменно все, что я знал, описав мой этап из Козельска в смоленскую внутреннюю тюрьму НКВД, и все, что я видел по дороге. Так появился на свет уже упоминавшийся мною рапорт, в котором я обращал внимание польских властей на Смоленскую область, где следовало искать следы пропавших польских офицеров. Кстати, до этого польская военная миссия проводила исследование в совершенно ином месте. Одновременно я представил копию рапорта польскому посольству. Особенно удивлен тем, что, как минимум, часть польских пленных была вывезена под Смоленск, был профессор Сукенницкий.

В свете информации, изложенной в моем рапорте, было совершенно непонятно, даже загадочно, отчего советские власти в своих ответах на настойчивые запросы польской военной миссии о судьбе интернированных офицеров никогда не упоминали Смоленска, в то время как из моего рапорта было совершенно очевидно, что решение о транспортировке туда пленных было принято не местными органами НКВД, а Москвой. Ну и следовательно, все данные об эшелонах с пленными были известны в Москве.

Через несколько дней у меня состоялась беседа с нашим послом. Из нее я понял, что между посольством, военной миссией и командованием сформировавшейся в Средней Азии польской армии существуют некоторые трения, что приводит к слабой координации в поисках пропавших офицеров и полицейских. Я уже упоминал, что в Козельске и Осташкове были интернированы не только офицеры армии, но полицейские чины. У меня осталось впечатление, что профессор Кот был неприятно удивлен тем, что моим первым шагом в Куйбышеве был рапорт о прибытии в польской военной миссии. Во всяком случае, он мне заметил, что не очень понимает необходимость этого шага, тем более, что в Лондоне есть иные виды на мое использование, никак не связанное с ар-

мией. Я объяснил профессору, что по польским законам как кадровый офицер я обязан был зарегистрироваться сразу же после освобождения в ближайшем военном комиссариате. Я, конечно же, готов взяться за любую работу, предложенную мне польским правительством, но все же хотел бы, чтобы это было как-то улажено с командованием Войска польского, которому я формально подчиняюсь в первую очередь.

Из дальнейшего разговора с послом я узнал, что он, как и генерал Сикорский в Лондоне, был крайне удивлен, узнав о самочинных переговорах Андерса с англичанами о переводе польских частей из России на Ближний Восток и передаче их под британское командование. Посол добавил, что наши части по поручению английских властей проводят разведывательные операции, а это может негативно отразиться на деятельности посольства по спасению польских граждан. Зная отношение советских властей к шпионажу и особенно к шпионажу британскому, связанному с Востоком, я не сомневался в справедливости замечаний посла.

Разговаривали мы с послом несколько часов, и я узнал много из того, что происходило за последние три года в нашем правительстве в Париже и Лондоне. Особенно нервировало его решение президента Рачкевича, отдавшего функции Верховного командующего в руки премьер-министра. Произошло это в результате давления, оказанного британскими властями на президента по просьбе окружения Сикорского, который и сосредоточил в своих руках и гражданскую, и военную власть. Я был крайне признателен послу за его откровенность, но все же считал, что его деятельность не отличается такой заботой о нуждах государства, как это было, скажем, у Пилсудского.

Рассказал мне посол и о позиции, занятой польской эмиграцией в отношении польско-советского договора 1941 года. Договор этот, заключенный Сикорским самолично, даже без консультаций с министром иностранных дел Августом Залеским, не только позволил тысячам депортированных поляков получить свободу, но и создал условия для возрождения польской армии. Но в этом договоре вопрос о польско-

советской границе остался открытым. Получалось, что даже в такое трагическое время, когда тысячи красноармейцев без единого выстрела отступали под натиском немецких танковых корпусов, Сталин не отказался от привилегий, полученных по советско-германскому договору 1939 года. Точно так же некогда и генерал Деникин в самые опасные для себя и своей армии моменты никак не мог отказаться от территориальных приобретений России, полученных при разделе Польши.

Многие в эмиграции считали, что для дальнейшего взаимодействия с Россией Советский Союз должен однозначно отказаться от своих территориальных приобретений по пакту Молотова — Риббентропа. Кстати, после подписания договора 1941 года, несколько министров подали в знак протеста в отставку, и среди них генерал Соснковский и Август Залеский.

Профессор же утверждал, что получить в то время согласие Сталина на отказ от польских земель было невозможно, а время не ждало — едва ли поляки смогли бы пережить еще одну зиму в советских лагерях. Кроме того, договор предусматривал создание польской армии, а это могло стать весьма весомым фактором на заключительном этапе войны. Что же касается государственных границ, то они будут созданы в соответствии с балансом сил в конце войны, а никак не по соглашениям, подписанным в ее начале. Именно поэтому генерал Сикорский и выдвинул на первый план вопрос о воссоздании польской армии, оставив в стороне территориальные вопросы, тем паче, вся территория, на которую претендовал СССР, и так находилась под немецкой оккупацией.

Посол даже начал кампанию сбора подписей среди бывших узников советских лагерей в защиту Сикорского. Тогда я не занял какой-либо определенной позиции, сейчас же, рассматривая советско-польские отношения с перспективы, я прихожу к выводу, что в тех конкретных условиях именно Сикорский и Кот заняли единственно правильную позицию.

Во время нашей беседы я задал послу вопрос, который

точно характеризует мой тип мышления после выхода из лагеря. Я спросил его, до какой степени верны сообщения о массовом уничтожении гитлеровцами евреев и сколько в этих сообщениях пропагандистских преувеличений. Я в своей жизни видел немало жестокостей, сделанных человеку человеком. Видел я Первую мировую войну, и русскую революцию, и зверства чрезвычайки (ЧК), и беспощадную жестокость во время сентябрьской кампании 1939 года, да и в лагерях я насмотрелся на действия энкаведешников. Помнил я и как в дерматологической лечебнице на улице Савич в Вильно, сразу после Первой мировой войны, немцы удушили газом нескольких проституток, зараженных венерическими болезнями. Но я не мог себе даже представить государства, которое планомерно, с применением специального аппарата и достижений современной техники, будет уничтожать целые этнические группы, насчитывающие десятки тысяч людей⁴⁰. Мне казалось, что есть такие моральные нормы, преступить которые не решится ни одно государство, даже тоталитарное. И эти моральные нормы в моем понимании были фактом человеческого бытия. Но на это профессор Кот дал мне прочитать несколько рапортов подпольных польских организаций, и у меня не осталось никаких сомнений: крематории существовали и не простаивали.

Подтверждение факта уничтожения людей нацистами сильно повлияло на мои взгляды на идущую войну. Я всегда, как я не раз уже упоминал, был сторонником сближения с Германией вне зависимости от ее политической системы, также я всегда считал, что, если дойдет до войны с Гитлером, это будет война не на жизнь, а на смерть. Во время моих предвоенных поездок в Германию у меня сложилось впечатление, что Германия стоит перед дилеммой: либо союз с Польшей, либо ее уничтожение. Я не раз участвовал в дискуссиях на тему польско-немецких отношений, но после того, как кремационные печи стали реальностью и в них уничтожались тысячи людей, у меня не осталось и тени сомнения: Гитлер и гитлеризм должны быть уничтожены, существование нацизма угрожает самому существованию чело-

вечества. Более того, с Гитлером следовало бороться даже в том случае, если интересы Польши требовали поисков компромисса. Несмотря на все, что я пережил и знал о Советском Союзе, мне казалось, что советская система не может, неспособна зайти так далеко, как зашел Гитлер. Я сомневался, что мои товарищи по козельскому лагерю еще живы, но я и не верил в возможность их массовой и запланированной ликвидации.

Как-то после беседы с послем ксендз Кухарский сообщил мне, что епископ Гавлина хотел бы со мною встретиться для беседы в тесном кругу и приглашает меня на обед. Честно сказать, я был удивлен, что среди обитателей польского посольства находится и полевой епископ польской армии. Как оказалось, он часто бывал в польских подразделениях в Северной Африке и в советской Средней Азии, встречался и с только что освобожденными из лагерей поляками. Мне кажется, сам факт поездок епископа в Казахстан для встречи с польскими воинами хорошо иллюстрирует тот хаос и панику, которая охватила Советский Союз в первый год войны.

Епископа очень волновала судьба пропавших польских офицеров, но не менее сильно его интересовала и советская лагерная система и моральный климат в ней. Я сказал ему, что мне представляется, в советских лагерях нет той преднамеренной жестокости, которая, по сообщениям, царила в немецких концлагерях, и что высокая смертность советских заключенных является следствием системы, а не людей, большинство из которых лишь под огромным давлением проводят политику центральных властей. Сообщил я ему и мое наблюдение, что с приходом Берия к человеческой жизни стали относиться более гуманно. И это, на мой взгляд, говорит о том, что наши офицеры не могли быть расстреляны. Хотя, с другой стороны, трудно было себе вообразить такую катастрофу, при которой все они могли погибнуть. Особенно, если учесть, что размещались пленные офицеры в трех лагерях, отдаленных друг от друга сотнями километров.

ДЕЛО ЭРЛИХА И АЛЬТЕРА

Кроме исчезновения пленных офицеров, был и еще один инцидент, случившийся во время моего приезда в Куйбышев. Я имею в виду дело Альтера и Эрлиха. Генрик Эрлих и Виктор Альтер были социалистами, активными членами Бунда — еврейского крыла Польской социалистической партии, т.е. части Второго Интернационала⁴¹. Бундовцы не разделяли идеалов сионизма и видели будущее еврейского рабочего класса тесно связанным с судьбой Польши. Альтер был членом исполкома Второго Интернационала, а также депутатом Польской Рады народной в Лондоне, исполнявшей функции парламента в изгнании. Оба, и Альтер и Эрлих, перед немецким вторжением в Польшу перебрались на восток и таким образом попали в руки Советов. После освобождения из-под следствия они быстро завязали контакты с различными политическими организациями в СССР и за границей, а позже организовали Еврейский антифашистский комитет. Советские власти делали вид, что полностью разделяют их цели, предоставили им помещение, штат секретарей и обеспечили транспортом, т.е. со всех сторон окружили провокаторами.

Из того, что мне рассказали в посольстве, я сделал вывод, оба решили, что во время всеобщей угрозы фашизма настало время для устранения разногласий между Вторым и Третьим Интернационалом, ну и, естественно, не скрывали своих взглядов. Если это действительно так, то они показали полное непонимание стиля мышления советских руководителей. Прежде всего, подобные взгляды под корень уничтожали сам принцип сталинской диктатуры, и если еще можно было как-то считать это "товаром на экспорт", то уж никак нельзя было допустить "внутреннего потребления" этой точки зрения. Во-вторых, Сталин и его окружение относились с огромным недоверием и даже враждебностью к западноевропейским социал-демократическим и социалистическим движениям. Я сказал "западноевропейским" потому, что к американским "друзьям Советского Союза" был иной, более сложный подход. Ну и наконец, надо помнить о все

возраставшем антисемитизме, который фактически выпестовал сам Сталин. Таким образом, любой западный буржуазный демократ или социал-демократ, да еще и член Второго Интернационала в СССР становился крайне нежеланным и даже опасным гостем.

Однажды вечером Альтер и Эрлих, которые, как и другие работники посольства, имели карточки на обслуживание в относительно дешевой и достаточно приличной дипломатической столовой, пошли туда на ужин и никогда уже больше не вернулись. После нескольких дней бесплодных поисков местные власти НКВД признали, что оба находятся у них под арестом. Этот случай крайне обеспокоил обитателей посольства, и особенно тех, у кого не было дипломатических паспортов. Каждый вдруг ясно почувствовал, что с легкостью может оказаться там, откуда его вырвало соглашение генерала Сикорского с СССР.

Мне рассказали, что, когда посол Кот обратился к замнаркому иностранных дел Андрею Вышинскому, который обычно принимал в отсутствие Молотова дипломатов, и попросил освободить Альтера и Эрлиха, тот ответил, что это совершенно невозможно — оба были-де немецкими шпионами. Посол обратил внимание Вышинского, что оба были хорошо известными миру социалистами, да вдобавок евреями, и никак не могли быть шпионами Гитлера. На это Вышинский сказал, что Троцкий тоже был еврей и социалист, а оказался на деле германским шпионом. Что оставалось делать послу?

Вышинский был одним из самых циничных представителей сталинской системы. Был он, вне сомнения, человек интеллигентный, ученый-юрист, написавший несколько работ в области права и занимавший видное положение в советской науке. До революции и сразу после нее был меньшевиком и присоединился к большевикам только где-то в 1920 году. Во время сталинской диктатуры он играл ведущую роль, занимая пост Генерального прокурора и проводя известные показательные процессы. Именно он был государственным обвинителем на процессах Бухарина, Зиновьева, Каменева и других старых большевиков и друзей Ленина. Он был одним из

проводников той политики, которую Леонард Шапиро в своей фундаментальной работе по истории советского коммунизма называет борьбой Сталина против партии. Перед самой войной он перешел на работу в НКВД и стал заместителем Молотова. Альтер и Эрлих были представителями того самого течения политической мысли, к которому принадлежал и сам Вышинский с 1903 года до времени своего перехода в стан большевиков. Наверняка, он знал их задолго до их приезда в Советский Союз. И тем не менее он сам сыграл не последнюю роль в их ликвидации.

Вышинский, видимо, был польского происхождения. Както посол Кот сказал мне, что спросил об этом Вышинского. Тот не отрицал, но заметил, что с Польшей его более ничто не связывает.

Честно сказать, дело Альтера и Эрлиха заставило меня еще более четко представить себе весь ужас советской системы. Ну и еще я понял, Советы в своих решениях мало обращают внимание на мнение заграничной общественности и правительств, как это обычно считается. Эрлих и Альтер были арестованы в тот момент, когда СССР вел смертельную борьбу с Гитлером, а в этой борьбе все социалистические силы, как и все евреи, должны были представляться естественными союзниками. Это было начало войны, СССР нуждался в материальной и технической помощи, а созданный Альтером и Эрлихом Антифашистский еврейский комитет мог оказать серьезное содействие расширению необходимой помощи. И все же советские власти решили, что уничтожение этих двух социалистов более важно, чем международная репутация и нужды страны на данном этапе войны.

Дело Эрлиха и Альтера оказало влияние и на наше отношение к перспективе обнаружения пропавших пленных. В Козельске я не раз слышал мнение, что Советы не решатся на физическую ликвидацию пленных или на посылку их на принудительные работы; хотя Советский Союз и не был членом Женевской конвенции об отношении к военнопленным, он все же дорожил своей репутацией в глазах других стран. Если в драматичный момент своей истории советские власти

не обратили внимание на обращение известных американцев, включая жену президента Элеонору Рузвельт, то почему они, собственно, должны были заботиться о судьбе польских офицеров, которые наверняка не имели влиятельных покровителей? Единственное, что еще поддерживало мою надежду найти в живых хотя бы немногих пленных, была вера, что после Ежова массовые экзекуции не практиковались.

Никому до сих пор так и не известны подлинные причины расправы над Эрлихом и Альтером, подготовленной, без сомнения, лично Сталиным, но вероятнее всего, причины эти носили характер внутривнутрипартийный. Это было наглядное предостережение партийным бонзам не вступать ни в какой контакт ни с руководством Второго Интернационала, ни с международными еврейскими организациями. Одновременно это была и перчатка, брошенная в лицо западным демократиям: в данном случае Сталин не пошел даже по пути инсценировки показательных процессов, как это было сделано с оппозиционерами внутри ВКП(б) и еще раз раньше с меньшевиками и социалистами-революционерами.

В этом деле как в капле воды отразилась вся суть сталинизма, но было это и предупреждением, что ждет Запад, если Советский Союз выйдет живым из войны. Тогда нам, сотрудникам посольства, казалось, случай Эрлиха и Альтера всколыхнет общественность Соединенных Штатов и Англии. Мы после нескольких лет, проведенных в советских застенках, просто не имели представления, насколько равнодушна к преступлениям советского режима западная пресса, как беззастенчиво она обманывает своих читателей, когда дело доходит до информирования их о происходящем в СССР.

Из сотрудников посольства наиболее поражен случившимся с Эрлихом и его товарищем был известный польский журналист еврейского происхождения Бернард Зингер, писавший до войны для еврейского еженедельника "Наш Пшеглонд". Издание это было до войны одним из самых информированных в Польше, а о самом Зингере говорили как о лучшем польском репортере. Я несколько раз встречался с ним и

до войны. Осенью 1938 года мы вместе участвовали в правительственной инспекции руководимого вице-премьером Евгениушем Квятковским Центрального экономического округа. Собственно, я попал в число проводивших инспекцию только благодаря моей книге об экономической политике Германии, которая в то время имела шумный успех. Инспекция длилась пять дней, и все это время каждый из ее участников старался как можно чаще побеседовать с Зингером. Он был прекрасным собеседником, обладал чудесным чувством юмора, был осведомлен обо всем на свете — у него были связи чуть ли не во всех легальных и нелегальных польских группировках, не исключая и коммунистов.

В Куйбышеве Зингер меня встретил весьма приветливо, как старого знакомого. Вскоре после моего приезда на него обрушился тяжелый удар: пришло сообщение, что его сын, сражавшийся в Карпатской бригаде, погиб под Тобруком. Он как раз при мне со слезами на глазах читал письмо от однополчанина сына Ержи Гедройца, бывшего свидетелем гибели сына.

Зингер уверял, что, как только выберется на Запад, приложит все силы, чтобы из дела Эрлиха и Альтера сделать новое дело Сакко и Ванцетти, итальянских анархистов, приговоренных в двадцатых годах американским судом к смертной казни. Исполнение приговора тогда возбудило целую волну протестов. Зингер так загорелся этой идеей, что все время диктовал машинисткам статьи об Эрлихе и Альтере. Но, на мой взгляд, у них не было ни единого шанса быть опубликованными. Впрочем, кажется, Кот все же пересылал их в наше посольство в США в надежде поместить их в какой-нибудь газете.

Я провел с Зингером несколько месяцев в тесном контакте. В августе 1942 года мы с ним сопровождали посла Кота в его поездке в Иран и провели несколько недель в одном отеле. Он был, пожалуй, самым критически настроенным из нас всех к Советскому Союзу и приложил массу усилий, чтобы показать послу все противоречия советской системы. В ноябре 1942 года мы вновь встретились с Зингером, на

этот раз в Иерусалиме. Он показал нам маленькую гостиницу в Новом Иерусалиме, где хозяйкой была старая польская еврейка, готовившая воду для чая в самоваре, а к чаю она давала домашнее печенье, готовила рыбный суп по пятницам и курицу по-еврейски по субботам. Мы прожили в этой гостинице около трех недель. Я чувствовал себя там как где-нибудь в Ошмяне или в Щвенчанах и даже с некоторым сожалением покинул эту маленькую и очень милую гостиницу, когда для меня освободилась комната в доминиканском монастыре, где размещался известный всему миру Папский институт по изучению Библии.

В начале 1943 года Зингер через свои связи в Еврейском агентстве раздобыл для нас автомобиль, чтобы мы смогли поездить по кибуцам* в Палестине. Я, Виктор Вайнтрауб и профессор Сукенницкий провели в этой поездке около недели. Посетили мы в ту поездку множество разных кибуцов. Некоторые из них были целиком заселены коммунистами, и на каждой стене красовался портрет Троцкого. Зингер так и не остыл от своей идеи опубликования материалов об Альтере и Эрлихе. Вскоре после этого он выехал в Лондон.

Когда в мае 1944 года я сам оказался в Лондоне, мы уже с Зингером не встречались — мы вращались в разных кругах польской эмиграции и в разных кругах английского общества. И мне ничего не известно о статьях о деле Эрлиха и Альтера в английской или в польской печати; мне показалось, что Зингер отказался от своей идеи. Не знаю, пробовал ли он вообще что-либо на эту тему опубликовать. Возможно, он попал под влияние своего друга Исаака Дойчера, польского троцкиста, еще перед войной эмигрировавшего в Англию и получившего работу в журнале "Обсервер". Во время войны Дойчер разделял в своих статьях советскую точку зрения на вопросы послевоенного развития Восточной Европы. После войны я несколько раз встречал статьи Зингера в польском журнале, издававшемся посольством Берута.

*Кибуц — поселения еврейских колонистов в Палестине; часто имели собственные силы самообороны. (Прим. переводчика.)

Когда мы все же встретились, он пригласил меня к себе домой на ужин, предварительно договорившись, что я не буду задавать вопросов о его переходе на службу к коммунистам. Он производил тогда впечатление человека, как бы зажатого в клещи, лишенного свободы, а от его бывшего чувства юмора не осталось и следа. Он явно стыдился своей политической переориентации. Кстати, этим он отличался от другого моего куйбышевского приятеля Ксаверия Прушиньского, о котором я напишу несколько позже. Тот перешел на службу Польской Народной Республике в полной уверенности, что делает правильный выбор.

Сегодня даже в трудах советологов и историков мало что можно найти о деле Альтера и Эрлиха. Дело это погребено под массой иных проблем и сведений.

ТАЙНА ЛЕОНА КОЗЛОВСКОГО

До моего появления в Куйбышеве в посольстве произошло еще одно неприятное событие, которое не перестает меня волновать и по сей день. Я говорю о побеге на Запад через линию фронта бывшего профессора археологии и председателя Совета Министров Польши профессора Леона Козловского. Правда, был ли это побег или он был просто захвачен немецкими властями, я не знаю. Во всяком случае, говорили об этом именно как о побеге и таким же образом об этом сообщило германское радио.

Если это действительно был побег, то поводом к нему послужило, скорее всего, какое-то недоразумение. Надо заметить, что профессор совершенно не говорил по-русски. И тем не менее, как мне говорили, польский военный трибунал, действовавший в польской армии в Советском Союзе, заочно вынес ему смертный приговор.

Но была и другая версия, по которой будто бы он поехал в расположение частей генерала Андерса, чтобы записаться добровольцем. После войны князь Евгениуш Любомырский рассказывал мне, что перед исчезновением Коз-

ловского он жил с ним в одном бараке в армии Андерса.

Советы вывезли Козловского откуда-то из-под Львова. В 1940 — 41 годах в советских тюрьмах одновременно сидели сразу три бывших польских премьера: Скульский, Александер Пристор и Козловский. По заявлению советских властей, Пристор скончался в тюрьме, а о Скульском вообще ничего не удалось узнать; один Козловский был освобожден по так называемой польской амнистии. После освобождения он некоторое время работал в нашем посольстве, а потом выехал к Андерсу.

Сам я с Козловским знаком не был, но у нас было много общих приятелей; все они отзывались о нем как об очень интеллигентном, но несколько неуравновешенном человеке с неустроенной личной жизнью. Он отличался хорошим чувством юмора и не раз свои политические взгляды излагал в полушутливом тоне. Мне говорили, что он был уверен в необходимости найти пути согласия с Германией. Во всяком случае, он часто говорил об этом в частных беседах. Восточные польские земли он, судя по всему, вовсе не рассматривал как неотъемлемую часть польского государства. Франчишек Анцевич говорил мне, что, когда группа литовских журналистов брала у Козловского интервью и спросила о его отношении к вопросу Вильно, тот ответил, что это внутреннее дело литовцев, и он как поляк в этом вопросе права голоса не имеет. Он посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к литовским депутатам польского парламента — к Марьяну Кошчалковскому и Александру Пристору, которые к тому же были в свое время и председателями Совета Министров.

Безусловно, побег к немцам, да еще в то время, когда польские власти формировали польскую армию для борьбы с фашистами, был предательством и должен был получить надлежащую оценку. Но, с другой стороны, в случае Козловского едва ли можно говорить о политическом оппортунизме, скорее, здесь имели место независимость образа мысли и большое личное мужество. Мужество он проявил и на проведенной в Берлине вскоре после его побега пресс-конфе-

ренции. Мне кажется, что он, как и я, будучи в советской тюрьме, прошел через определенный процесс самоанализа. Каковы были постулаты его образа мысли? Скорее всего, это так и останется тайной. Но в восточной части Центральной Европы было много людей, стоявших на распутье — какую позицию занять в отношении к советской угрозе и к гитлеровскому варварству, какое из этих зол меньшее. Примером такого типа людей может быть бывший югославский министр обороны, командовавший в первые годы войны партизанскими подразделениями, и расстрелянный коммунистами после войны генерал Михайлович. В своей повести "Не надо говорить громко" Юзеф Мацкевич прекрасно описал эти сомнения и метания*.

Сейчас, спустя почти четверть века, я не могу не описать и другого "германофила", с которым я часто встречался в 1943 и 1944 годах. Признаюсь, германофильство в то время было довольно распространено в среде польской и центрально-европейской интеллигенции.

В конце тридцатых годов внимание общественности привлекла книга Адольфа Бохеньского о положении Польши, которая, по его мнению, находилась как бы между молотом и наковальной, т.е. между Германией и Россией. Станислав Мацкевич считал эту книгу блестящим анализом международного положения Польши, которая достойна стоять в одном ряду с написанной еще до Первой мировой войны работой на ту же тему Романа Дмовского и Владислава Студницкого. Бохеньский в своей книге приходил к несколько иным, чем в свое время Дмовский, выводам. Проведя математически точный, я бы даже сказал — маккиавелевский анализ польского международного положения, он приходил к выводу, что обеспечение безопасности и процветания Польши как суверенного государства можно достичь лишь имея дружеские, основанные на взаимном уважении, отношения с Германией. Правда, сколько можно было понять из бесед с

*Jozef Mackiewicz. Nie treba glosno mowic. Institut Literacki, Pariz, 1969.

Адамом Гейделем*, после войны Бохеньский круто изменил свои взгляды.

Бохеньский принадлежал к тому поколению поляков, которое, родившись еще до образования независимой Польши, вышло в большую жизнь уже после майского переворота 1926 года. Его можно было назвать мозгом издававшихся Ежи Гедройцем и очень популярных в тридцатых годах журналов "Бунт молодых" и "Политика". Я к приверженцам, или, скорее, к клубу этих журналов не принадлежал, мне был чужд их консерватизм, но мне нравилась их идея сделать польскую внешнюю политику более гибкой и их высокий интеллектуальный потенциал. Меня познакомили с Адольфом, и он часто впоследствии навещал меня в Вильно. Когда началась война, Адольф был в Париже, там же, во Франции, он закончил школу подхорунжих и ушел воевать, участвовал в битвах под Нарвиком и Тобруком и даже получил орден *Virtuti Militari* за уничтожение неприятельского наблюдательного пункта. Этот интеллектуал стал замечательным солдатом, показывавшим пример личной доблести целой бригаде.

И вот однажды, осенью 1943 года мы собрались втроем в маленьком кафе в Иерусалиме: Адам Бохеньский, Влодзимеж Хагемайер, тоже служивший в свое время в Карпатской бригаде, и я. Бохеньский начал излагать свою точку зрения на политическое положение. По его мнению, дальнейшая война с Германией потеряла всякий смысл: немцы уже явно ее проиграли, но, с другой стороны, столь же явной была и все возрастающая угроза со стороны СССР. Более того, он считал, что, несмотря на всю бесчеловечность гитлеровской оккупационной политики, германская армия сдерживала Сталина в его агрессивных замыслах. Разговор этот шел тогда, когда наши солдаты готовились к участию

*Имеется в виду Адам Гейдель, профессор экономики Ягелонского университета в Кракове. Он был в тесной дружбе с Дмовским. (Прим. автора.)

в итальянской кампании* и знали правду о событиях в Катыни. На высказывания Адольфа Хагемайера заметил:

— Знаешь, если это твоя точка зрения, то ситуация крайне проста. Мы недалеко от турецкой границы, можем совершенно свободно туда поехать и обсудить с немцами вопросы возможного взаимодействия.

Бохеньский вовсе не почувствовал в словах Хагемайера иронии и простодушно ответил:

— Твое предложение в общем логично, но, видишь ли, есть одно но: воинская служба, полковые знамена, присяга — все это для меня значит много больше, чем политическая логика.

А я в эту минуту подумал о Козловском. Он был легионером, а легионы были, пожалуй, самым романтическим моментом в истории Польши. И наверняка Козловский чувствовал то же самое, что и Адольф. А если так, то что же было сильнее этих чувств, что стало для него выше солдатской чести?

Сразу после войны я слышал, что Козловский погиб во время одной из бомбежек Берлина, то ли в 1944, то ли в 1945 году. Преподаватель политологии университета в Калгари, Канада, профессор Шавловский как-то показал мне номер "Жиче Варшавы" от 22 — 23 июня 1974 года с некрологом Леона Козловского, скончавшегося 11 июня 1974 года на "чужбине". Там же было сообщение о панихиде в костеле Святого Карола Боромеуша. Некролог был подписан сестрой, учениками и друзьями. Но из этого краткого сообщения невозможно было понять, где и как провел Козловский последние тридцать лет, что делает его судьбу еще более таинственной.

*Речь идет о готовившейся западными союзниками высадке десанта в Италии и открытии второго фронта в Европе. (Прим. переводчика.)

ДЕЛО РОЛЬ-ЯНЕЦКОГО

Дело Роль-Янецкого очень затруднило работу посольства по оказанию помощи "амнистированным" полякам. Он был представителем посольства где-то в отдаленном сибирском районе. Приехал на работу в посольство из Англии и имел дипломатический паспорт и офицерское звание. Кстати, его откомандирование в посольство считалось военной командировкой.

В июне 1942 года он по служебным делам приехал в Куйбышев и захотел немного пошиковать — отправился в дипломатическую столовую. И надо же было такому случиться, что он там забыл свою папку. Естественно, агенты НКВД быстро изучили содержание папки и нашли документы, позволяющие обвинить Роль-Янецкого в шпионаже. Не знаю, был ли это военный или промышленный шпионаж.

Хорошо известно, что, желая кого-либо скомпрометировать, НКВД подсовывает этому лицу шпионские материалы, но в данном случае никто в посольстве такой гипотезы не выдвигал. Никто его и не осудил за сотрудничество с неприятелем. Для всех было очевидным, что он выполнял некую миссию для Англии, т.е. государства, бывшего для нас, как и для Советского Союза, союзником в войне.

Советы особенно чувствительны к таким инцидентам, перед войной в стране царила настоящая шпиономания, властям и населению под действием пропаганды шпионы и террористы мерещились на каждом шагу. Как я понял из моих разговоров с обвиненными в шпионаже, а таких я немало встретил в лагере, в то время особо опасными считались три разведки: английская, японская и польская. Да и сам я был осужден на восемь лет лагерей именно за шпионаж, единственным подтверждением которого были мои статьи, ничего иного, кроме моего знакомства с советским типом экономики, не содержавшие. По законам военного времени за шпионаж полагалась смертная казнь, но Роль-Янецкий имел дипломатический паспорт, и дело закончилось требо-

ванием советских властей, дабы он в 24 часа покинул пределы СССР.

Ночь перед отъездом он провел в комнате, где, кроме него, жили Вацлав Грубиньский, профессор Станислав Кошчалковский, я и еще несколько человек. Напротив моей постели была дверь, постоянно открытая, в маленькую комнатку Владислава Броневского и Бернарда Зингера, а слева стояла постель Вацлава Грубиньского, бывшего из-за своего эпикуреизма и добродушия отличным товарищем и в горе и в радости. Справа стояла еще одна кровать, в тот вечер, уткнувшись лицом в подушку, на ней лежал высокий человек. Он лежал не вставая, он не представился ни мне, ни моим товарищам, он даже не разделся, а лежал в ботинках и одежде. Это был тоскливый вечер. Нам вроде бы и хотелось как-то посочувствовать этому человеку в его беде, и вроде было неудобно, да и отталкивало его нежелание разговаривать. Мне очень хотелось узнать, сколько в действительности было в его папке компрометирующего материала, а сколько было подложено туда НКВД.

Следующим утром, все так же молча, он вышел из посольства и на поезде уехал в сторону иранской границы. Многие сомневались, доедет ли он до Ирана. Правда, потом мне говорили, что встречали его в Ираке, где он был командиром одного из этапных пунктов на пути польской армии из России через Иран и Ирак в Сирию и Палестину.

Дело Роль-Янецкого дало возможность советским властям нанести ощутимый удар по всей нашей системе социальной помощи, пункты которой нам удалось создать практически во всех районах СССР. Профессор Кот был этим случаем просто поражен и очень недоволен армейским командованием. Мне даже кажется, этот инцидент был причиной отставки Кота и шефа армейской миссии генерала Воликовского. На место Воликовского пришел военный атташе подполковник Тадеуш Рудницкий, бывший начальник штаба 19-й пехотной дивизии, с которым я встретился во второй половине сентября 1939 года под Томашевом. Рудницкий перед самым захватом в плен смог переодеться в гражданскую одежду и

таким образом избежал судьбы других польских офицеров, лежащих в катынской могиле.

Мне неизвестны детали миссии Роль-Янецкого, неизвестны и материалы, за которыми он охотился, но общая тенденция этого дела мне представляется ясной. Когда в 1941 году в Лондоне формировалась польская миссия во главе с профессором Котом, старались найти дельных людей, которые бы смогли работать в отдаленных местах Советского Союза, оказывая помощь депортированным польским гражданам. Это должны быть люди психологически и физически сильные, способные преодолеть трудности долгих и частых поездок по огромным пространствам страны, где царил голод, холод, хаос и эпидемии. Такие люди были только в числе военных. В этих условиях и было решено откомандировать часть офицеров, выдав им дипломатические паспорта для работы за границей.

Вполне естественно было и то, что британская разведка поручила им выполнять функции наблюдателей, о которых посол мог и не знать. И в этом не было никакой враждебности к Советскому Союзу: хорошая информационная служба — это одна из британских традиций, и она охватывала не только враждебные государства, но и союзные страны. В самом деле, крайне трудно планировать военные операции, не имея представления о потенциале союзника. Например, английский генерал в отставке Картон де Виар пишет в своих мемуарах, что, когда его направили в качестве наблюдателя в Польшу, к нему явилось сразу около двадцати резидентов английской разведки, проводивших операции на польской территории. А ведь Польша в то время была союзником Англии, и именно в целях защиты Польши Британия вступила в войну.

Те круги, которые принимают фундаментальные решения в ходе войны, безусловно, должны иметь точную информацию как о неприятеле, так и о союзниках. Перед войной в Польше получению такой информации, к сожалению, уделяли крайне мало внимания. Мне не раз приходилось слышать высказывания, что ни наше правительство, ни военное коман-

дование не имели точного представления о физических и технических возможностях оказания нам Францией помощи в случае войны.

Во время моей поездки в 1937 году в Германию, где я собирал материалы для своей книги об экономической политике Гитлера, я часто, особенно от руководителей Гитлерюгенда, слышал, что Франция психологически не готова к ведению войны. Наш же военный атташе во Франции полковник Блешиньский, видимо, более увлекался историей искусств, чем изучением положения во французской армии. Я встретился с ним 15 августа 1920 года над Вкрой, где он проводил стремительную, но бесполезную контратаку против большевиков. Он принадлежал к тому типу польских офицеров, которые проявляют себя с самой лучшей стороны на поле брани, но в мирное время больше интересуются искусством, историей и философией; это был романтический тип, так характерный для времени маршала Пилсудского.

Мне кажется, наше руководство в своей политике также не располагало и достаточной информацией в отношении Великобритании, часто просто вслепую принимая решения. Заключение договора с Англией, конечно же, улучшило наше политическое положение на международной арене, но он никак не мог помочь в случае войны, надеяться на действительную помощь англичан было бы безрассудно. Весной 1939 года Ллойд Джордж выступил в парламенте с большой речью, в которой не только сказал о военной слабости Польши, но и признал и определенную слабость в этом отношении самой Англии. И что парадоксально, я собственными глазами видел, что наше командование не обратило на это заявление никакого внимания. Английские военные взяли на заметку заявление Ллойда Джорджа и ограничили и без того слабую помощь в нашем вооружении. Мы же по-прежнему продолжали поставлять Англии практически все произведенные в Центральном промышленном округе зенитные орудия. Скорее всего, английские штабные работники считали, что Польша в случае войны с Германией обречена, даже если Советский Союз придет ей на помощь.

До войны мы, безусловно, имели разведчиков и в России, и в Германии, но нас совершенно не беспокоило получение информации о положении дел в стане союзников, и это было огромной ошибкой. У англичан был совершенно иной подход: надо быть хорошо информированным о противнике, но не менее хорошо и о союзнике.

В 1941 — 42 году перед Англией встала проблема оказания помощи СССР. И это был фундаментальный вопрос, его решение зависело от того, насколько помощь может ослабить немецкий натиск. Ну а обретающиеся в разных частях России поляки, очевидно, должны были образовать еще один канал для получения информации на этот счет. Не знаю, занимался ли этим вопросом генерал Сикорский, но уверен, что польские военные просто не могли отказаться от выполнения разведывательных и наблюдательных функций. Мы были с Англией союзниками, и положение обязывало быть союзником во всем.

Однако посол Кот мог и наложить вето на подобную деятельность сотрудников, особенно, если дело касалось работников, выполнявших работу по социальному обеспечению соотечественников. Кот направлялся в Россию с двойной целью: во-первых, помочь десяткам тысяч депортированных польских граждан и, во-вторых, установить дружеские и доверительные отношения между лондонским правительством генерала Сикорского и советским руководством. В Польше никого особенно не беспокоили разъезды по всей стране агентов английской разведки. Да я и сам охотно критиковал польскую национальную политику, когда меня в Вильно посетил британский генеральный консул Франк Север. В Советском Союзе дело обстоит совершенно иначе, здесь власти особенно чувствительны к любому проводимому иностранцами сбору информации, особенно, если они имеют связь с британской разведкой.

Таким образом, нужно было четко разграничить работу по оказанию социальной помощи и деятельность по сбору разведывательной и иной информации, а профессору Коту еще до отъезда в Россию следовало взять с офицеров обяза-

тельство не заниматься сбором разведданных под прикрытием своих дипломатических паспортов. Но все предвидеть тяжело, и надо добавить, что Кот слабо знал Россию и советские условия, имел довольно смутное представление о методах английской Интеллидженс Сервис.

Сам я столкнулся с разведывательной деятельностью наших офицеров, приехавших из Лондона, спустя каких-нибудь два месяца после дела Роль-Янецкого, в августе 1942 года. Почти сразу после моего приезда в Иран, куда я сопровождал посла Кота, ко мне обратился наш офицер — фамилия его начисто вылетела из памяти — и попросил встретиться с ним для беседы. Он представился шефом одного из подразделов II-го отдела Генерального штаба. Подчинялся Генштаб непосредственно Лондону, а не армии Андерса, продвигавшейся в то время из Средней Азии через Иран в Ирак. Я охотно согласился на беседу. Оказалось, этого капитана очень интересовала система навигации и ее состояние на участке Волги между устьем и Куйбышевом. Я забыл сказать, что мы с послом ехали в Иран преимущественно водным путем — по Волге, через Каспийское море до северного иранского порта Пехлеви, а дальше уже сушей до Тегерана. Я сразу же почувствовал важность этого вопроса. Помимо прочего, я и сам интересовался экономической политикой СССР и их действиями в военных условиях. Стоит заметить, что дело было в преддверии Сталинграда, когда немцы рвались к Волге.

К сожалению, я не смог дать моему собеседнику никакой ценной информации — я не имел понятия о довоенном состоянии судоходства на Волге, следовательно, и сравнивать было не с чем. Правда, капитана мало интересовал мой анализ, его интересовало число встреченных нами на Волге нефтеналивных судов. Но и тут я не мог помочь ему. Я видел танкеры, но мне в голову не пришло их считать. Конечно, если бы заранее знал об интересе к нефтеналивному флоту, я бы мог подготовить цифры.

Моя беседа с капитаном показала, на какую проблему натолкнулся Роль-Янецкий. Очевидно, ему поручили сбор ин-

формации по конкретной теме, он собирал данные и хранил их в той самой папке, которая и попала в руки НКВД.

Дело Роль-Янецкого помогло мне понять, в каком щекотливом положении было наше правительство, сотрудничая и с Англией и с Советским Союзом. Сикорский как Верховный главнокомандующий не мог отказаться от сотрудничества с английской разведкой, но как премьер-министр он стремился к дружеским отношениям с СССР и мог в некоторых случаях отстранить гражданский персонал посольства от кооперации с Интеллидженс Сервис. И генерал Сикорский без сомнения достиг некоторого взаимоуважения в отношениях с Советским Союзом. Но полное доверие было невозможно до тех пор, пока не станет ясной судьба пропавших военнопленных. Инцидент с Роль-Янецким также весьма испортил наши взаимоотношения.

Этот инцидент, который на первый взгляд кажется незначительным, имел далеко идущие последствия. В июле — августе 1942 года было арестовано множество представителей посольства в различных уголках СССР. Многие из них никогда не вернулись из заключения, т.е., вероятнее всего, просто были расстреляны. Советские власти и без того были не в восторге от нашей сети представительств и стремились сократить их число, дело Роль-Янецкого только помогло им в этом, дав неплохой аргумент для ослабления нашей активности.

КСАВЕРИЙ ПРУШИНЬСКИЙ

После моего приезда в Куйбышев главным источником критической информации о ситуации в польских военных и политических эмиграционных кругах стал Ксаверий Прушиньский. Он приехал вместе с Котом из Лондона и занимал пост пресс-атташе посольства. Он был ярким сторонником Сикорского и Кота, но врожденный публицистический талант и прекрасное чувство юмора помогали ему смотреть на вещи трезвым взглядом. Свои разговоры он густо пересыпал

анекдотами, и получалось, что люди как бы играют некий спектакль в огромном театре жизни. Должен заметить, такой подход и в самом деле помогает лучше понять смысл и ход событий.

С Ксаверием я часто встречался и до войны. Тогда он был сотрудником виленского "Слова", газеты, издававшейся Макевичовским. Встречал я его и в редакции варшавской "Политики". Был он лет на десять моложе меня. Его поколение не прошло школы конспиративной работы и не участвовало в борьбе за независимость в 1918 — 20 годах. Кажется, во время учебы в университете он принадлежал к Державной молодежи, организации крайне консервативного толка. Впрочем, я не имел с ней контакта и не могу сказать ничего существенного о ее идеологии. Мой добрый приятель Станислав Мацкевич считал необходимым сотрудничество молодых талантливых консерваторов со "Словом" и делал все, чтобы заинтересовать в сотрудничестве с редакцией Бохеньского, Збышевского и Прушиньского.

Во время гражданской войны в Испании Ксаверий поехал туда в качестве корреспондента ряда польских изданий. Его репортажи из стана республиканцев были написаны очень даровито и ярко демонстрировали волю левых сил к борьбе с симпатизировавшими итальянскому фашизму генералами. Его консервативные приятели были крайне удивлены стилем и направленностью этих репортажей. После он вместе с польскими эмигрантами оказался в Палестине и вновь разразился серией блестящих статей. Позже все его статьи были изданы отдельным сборником и принесли ему некоторую известность, и его стали считать за молодой публицистический талант, выросший в независимой Польше. Он стал желанным автором во многих изданиях, и не только в Польше. Некоторые чешские литераторы предлагали заняться ему изучением положения в Чехословакии и таким способом открыть для себя дверь и в чешскую литературу.

В 1939 году его не призвали в армию, но он после сентябрьских поражений пробрался на Запад, закончил школу подхорунжих во Франции и принимал участие в битве под

Нарвиком. Он был удостоен за эту битву ордена Крест Борцов. После подписания Сикорским и Майским советско-польского договора он был принят в штат польского посольства в СССР.

В Куйбышеве Ксаверий развил бурную деятельность, стараясь завести как можно больше связей в среде иностранных дипломатов и журналистов, а когда было возможно, и среди советских кругов. Ну а его склонность к донжуанству и то неотразимое впечатление, которое он производил на женщин, оказали ему в этом немалую помощь.

Посольство наше издавало, помимо всего прочего, и предназначенный для армии генерала Андерса и тысяч "амнистированных" сограждан журнал, в котором Ксаверий играл первую скрипку. Вообще, пресс-отдел посольства был просто букетом литературных талантов, я уже упоминал выше многих из них. Во главе отдела стоял Ксаверий. И если в литературном отношении он был равным среди них, то в отношении официальном он имел более привилегированную позицию — он был единственным в отделе обладателем дипломатического паспорта. Остальные были бывшими советскими заключенными, которых Кот взял на работу в посольство и выдал им служебные паспорта.

Советские власти с некоторым раздражением относились к тому, что на территории посольства обреталось огромное число людей, формально к дипломатическому корпусу никакого отношения не имевших. Однако Кот старался обойти трудности и поменьше обращать внимание на претензии советских властей. Он часто в обход "обычного" пути, т.е. через Наркоминдел, обращался с просьбой об освобождении того или иного человека непосредственно к местным органам НКВД. Ксаверий считал, что если бы на месте Кота был профессиональный дипломат, много бы из спасенных послом так никогда и не увидели бы свободы.

Летом 1942 года Ксаверий заболел тифом, и как раз когда я приехал, он был в кризисном состоянии. Правда, на следующий день кризис миновал и его жизни уже не было такой сильной угрозы, как днем раньше. Во время болезни

за ним ухаживала Тереза Липковска, сестра жены генерала Соснковского и дочь известного петербургского предпринимателя Владислава Жуковского.

Постепенно Ксаверий пошел на поправку. Мы стали чаще встречаться и проводить время в беседах. Он рассказал мне о событиях в политической жизни польской эмиграции, обо всем, что произошло во время моего заключения. Когда Ксаверий окреп и смог ходить, мы с ним часто стали бывать на прекрасном пляже на другом берегу Волги, чуть в стороне от центра Куйбышева. Кстати, до революции город назывался Самара, и здесь был губернатором Петр Аркадьевич Столыпин, пожалуй, самый выдающийся русский политический деятель времен Николая II.

От посольства было рукой подать до берега Волги, там мы нанимали лодку, и моей задачей было перевезти Ксаверия на другой берег, на пляж. Надо признаться, это было не так-то легко: река в этом месте была шириной километра два, лодки здесь делали в расчете на бурную погоду, тяжелыми, да еще надо было и побороться с течением. Но Волга течет плавно, ее течение не идет ни в какое сравнение с силой родной Вилии. В ветреные дни, когда над Волгой поднимались барашки волн, наша переправа напоминала мне поездки под Нароч, где я так любил проводить время до войны. Ксаверий восхищался моей сноровкой в управлении лодкой, и мы оба получали огромное удовольствие и от поездок, и от бесед.

Во время наших прогулок мне пришло в голову, что мы замечательно представляем разницу в темпераментах севера и юга Речи Посполитой, — Ксаверий был родом с Украины. Но мы и чем-то были похожи друг на друга: оба худые и болезненные. Правда, я за два месяца после освобождения из лагеря уже немного отъелся и выглядел много лучше, чем в первые дни. У Ксаверия после тифа еще иногда появлялись рецидивы горячки, но все же я выглядел слабее его.

На пляже, даже по воскресеньям, было довольно пусто. Изредка Ксаверий встречал там своих знакомых. Например,

туда часто приходила чета секретаря китайского посольства. Он был женат на польке и имел семерых детей, которых воспитывал в католическом духе, и они даже немного говорили по-польски. Бывали там и чехи, с которыми у Ксаверия были особенно близкие отношения. Русских же почти не было.

В рассказах Ксаверия почти постоянно звучали три фамилии: Сикорский, Кот и Станислав Мацкевич. Последний был нашим общим приятелем, хотя и был далек от консерватизма и в своих политических воззрениях симпатизировал так называемым виленским демократам, издававшим перед войной газету "Курьер Виленски".

Ксаверий с большим почтением относился и к Коту, и к Сикорскому, но одновременно прислушивался и к мнению Мацкевича, недолюбливавшего посла и премьера. Вообще, Ксаверий уважал политические взгляды других людей, но Мацкевич был ему особенно интересен. Мацкевич ставил Кота выше Сикорского, но все равно оба они, по его мнению, не были великими политиками. Он считал, что только генерал Соснковский мог бы стать таковым, но он не имел ни малейшего желания принимать участие в большой политике. Ксаверий же считал, что такая классификация неправомерна, что Сикорский вполне может еще сыграть великую роль в польской политике, возможно, даже большую, чем Пилсудский, сторонником и поклонником которого он был.

Собственно, на этом взгляде и основывалась его философия истории, которую он мне подробно изложил на волжском пляже. Он считал, что Сикорский действительно блестящий премьер эмиграционного правительства, но тут же задавал себе вопрос: означает ли это, что Сикорский подлинный государственный муж? Ведь государственный муж — это тот, кто влияет на исторический процесс, тот, о ком народ будет помнить и после смерти. В XIX веке таким мужем был Бисмарк, в наше время — Пилсудский, возродивший Польшу буквально из пепла; таким же мужем был и Кемаль Ататюрк, поборовавший имперские традиции и превративший Турцию в народное государство, в республику. Ксаверий счи-

тал, что война круто изменит направление и приоритет развития польского государства.

Как-то само собой получалось, что я сравнивал теории Кота и теорию Ксаверия. Так, для посла договор Сикорский — Майский был прежде всего возможностью оказания помощи тысячам депортированных и заключенных в советских лагерях соотечественников. Для Ксаверия это был переломный этап в истории страны. На мой взгляд, это была чисто публицистическая точка зрения, причем не все в ней вязалось между собой. Возможно, такой двойкий подход к оценке советско-польского договора был просто отражением двух образов мышления: крестьянского у Кота и шляхетского у Ксаверия.

Но я не мог не согласиться, что, скорее всего, позиция Польши в Центральной Европе после войны сильно упрочится. Согласен я был и с необходимостью в будущем уладить наши отношения с восточным соседом. Но я никак не мог согласиться с тем, что стабилизация нашего политического положения непосредственно зависит от наших территориальных уступок. Мне казалось, что между польским и русским народами нет и не может быть этнографической границы, а следовательно, не должно быть и границы государственной. А украинцы и белорусы должны были получить право образования собственных независимых государств на своих землях. Мне казалось, что в этом случае Белоруссия и Украина захотят создать некую более широкую центрально-европейскую федерацию, и к ним в этом присоединятся и Прибалтийские государства. И вполне естественно, если такие государства образуются, Польша должна будет им передать те белорусские и украинские земли, которые она получила по Рижскому договору 1921 года.

Но новую, послевоенную Европу нельзя себе представить и без Германии. Если же немцы проиграют войну, то, вероятно, Германия будет существовать в том положении, в котором она была до Бисмарка. То есть это будет ряд мелких государств, входящих в единую конфедерацию или союз, как это было в Первом рейхе.

И Россия и Германия были объективными фактами нашего географического положения, и едва ли в нем что-либо изменится после войны. А посему необходимо было, забыв о всей бесчеловечности нацизма создать такие условия, при которых было бы возможно плодотворное сотрудничество будущих поколений Польши и Германии.

В этом разговоре мы вспомнили Владислава Студницкого, с которым и я, и Ксаверий были очень дружны; Ксаверий сказал, что видел его в Кракове перед самой оккупацией; Студницкий в то время жил на правах старого приятеля в квартире Кота. Мне казалось, что не только Студницкий думает так же, как я, но и другой наш общий знакомый — Адольф Бохеньский, сражавшийся в это самое время под Тобруком.

Наш разговор вовсе не был дискуссией. Скорее, это было размышление вслух. Мы представляли разные политические позиции, но мы могли понять друг друга. Я сказал Ксаверию, что точка зрения, дескать, союз с Литвой был ошибкой, и даже регрессом, для меня не нова, подобные высказывания я слышал и раньше. Помню, в начале двадцатых годов ректор виленского университета Альфонс Парчевский высказал эту мысль на семинаре небольшой студенческой группы. Он высказал ее как вопрос к самому себе, и так и не смог на него ответить. Перед Первой мировой войной Парчевский принимал участие в движении лужицких сорбов*, и ему казалось, что германизация западных славян — это что-то вроде ответа, следствия на поворот Польши к Востоку, на ее союз с Литвой.

Если же говорить о моем мнении, то я могу понять приведенную выше точку зрения, однако она никак не может изменить мой взгляд на положение в Восточной Европе. Для

*Лужицкие сорбы (сербы, венды, лужичане) — западнославянский народ, называемый иногда полабскими славянами, издавна проживающий на востоке и юго-востоке Германии. В настоящее время около 100 тысяч лужичан живет в округе Котбус, ГДР. (Прим. переводчика.)

меня эта проблема еще имела и эмоциональную окраску, predeterminedенную специфическими условиями моего родного края. Вопреки тому, что мои предки были переселенцами из Шотландии, а мои родители и деды считали себя сто процентными поляками, я считаю себя сыном Литвы. Литва и Белоруссия для меня ценны сами по себе, и я не могу рассматривать их лишь как объекты российской или польской политики. Я убежден, что оба эти края, и Литва, и Белоруссия, должны получить независимость, которая станет гарантией их сближения с Польшей. И уж никак я не могу согласиться с принесением их в жертву империализму — ни красному, ни белому.

Я уже говорил, что Ксаверий был настроен весьма дружелюбно и относился с пониманием к тем, кто мыслил иначе.

Поговорили мы и о том, как бы выглядела сегодня Польша, если бы приняла в свое время германское предложение в сотрудничестве в отношении Востока. А ведь среди наших знакомых было достаточно людей, склонных пойти на такое соглашение. Предложения эти были, безусловно, весьма опасными, но могли принести нам и некоторые выгоды. Станислав Мацкевич выступал против Бека не столько из-за проводимой им явно прогерманской политики, сколько из-за того, что он даже не попробовал извлечь для страны никакой пользы из этой политики. Она просто-напросто была непоследовательной и непродуманной. Ксаверий считал, что Запад должен понять, у нас был выбор, мы могли пойти на союз с Германией и избежать событий осени 1939 года. Пойдя на сотрудничество с немцами, мы могли сделать их доминирующей силой в Восточной Европе, но мы выбрали иной путь. Именно *выбрали*, а не были поставлены на него.

Иными словами, Польша была не только жертвой немецкой агрессии, но и нацией, способной думать о будущем. Он считал, что наша пропаганда должна быть нацелена на то, дабы Запад понял, отчего мы отказались, пойдя на войну с Германией и заранее зная, что потерпим в ней поражение. Можно даже сказать, мы закрыли собою Россию, хотя

это было всего лишь парадоксом истории, но никак не решением Бека, Рыдзь-Щмиглого или Мощчицкого. И я, и Ксаверий согласились, что, если Гитлер проиграет войну с Россией, а в то время это еще не было очевидным, то будет в победе и заслуга Польши.

Ксаверий мыслил как художник — колоритными образами, складывавшимися в цельную картину, но он не был склонен к анализу событий. Его воображение было захвачено великими идеями и не менее великими мифами. Но он не был и настроен слишком эмоционально против Германии, как это было с народными демократами и правыми. Мне показалось, он был скорее настроен прорусски, даже просоветски, хотя и марксистская фразеология, и сама русская культура, бывшая столь близкой мне, были ему совершенно чужды.

Чем это было в нем вызвано? Может, его так сильно увлекла республиканская Испания, где он провел довольно долгое время в качестве военного корреспондента? Или он привез эти настроения из Лондона? Или это было отражением традиций консервативного польского дворянства, еще в XVIII веке начавшим искать пути согласия с Россией? Сейчас мне представляется, что Ксаверий хотел бы видеть Сикорского в роли Бенеша, занявшего сразу же после начала войны позицию полусоюзника в отношении СССР.

Соглашение Сикорский — Майский в общем было смоделировано по типу советско-чешского договора. Как бы то ни было, в кругах, близких к Сикорскому, не раз поднимался вопрос о переезде правительства или хотя бы Верховного главнокомандующего в Россию — это было и ближе к Польше, да и поляков в то время в Советском Союзе было больше, чем в Англии.

Отражением этих процессов было, как об этом пишет в своих мемуарах Прагер, заявление Сикорского в Раде народной, что его-де вопросы прибалтийских государств не волнуют, его забота — будущее Польши. Но нельзя сказать, что уподобление Бенешу в тех конкретных условиях не имело смысла; оно было невозможным только до тех пор, пока не станет ясной судьба пропавших польских пленных. Пожа-

луй, этим же можно и объяснить некоторые недомолвки Ксаверия в его разговорах.

Оба мы очень серьезно размышляли о будущем Польши и всей Восточной Европы. Ни я, ни Ксаверий, естественно, не возражали, что Россия располагает огромным экономическим и культурным потенциалом. Мы расходились только в одном: Ксаверий хотел, чтобы послевоенная Польша опиралась на российский потенциал, я же хотел только дружбы с Россией, и то только после того, как поработанные ею народы получат независимость. То есть я мыслил категориями времен конца Первой мировой войны.

Любопытным было различие в нашем образовании и подходе к будущему Польши: если мой товарищ был явным питомцем иезуитов, то я вырос на идеях русской дореволюционной гимназии и подпольных молодежных кружков. Ксаверий не был склонен к мышлению общественными категориями, и уж совершенно чужды ему были споры о той или иной интерпретации марксизма. Я же, собственно, к экономике и пришел через Маркса — моей первой экономической книгой, которую я прочитал еще перед революцией, была работа Карла Каутского о Марксе и марксизме. Я никогда не разделял марксизма, но все же был согласен с точкой зрения Станислава Брозовского, утверждавшего, что марксизм сам по себе, по своей прагматичности довольно неплохой инструмент изучения различных культурных, политических и общественных явлений. В тридцатых годах меня часто упрекали, дескать, я слишком много уделяю в своих лекциях внимания марксизму и проблемам советской экономики, что отрицательно влияет на молодежь. Ну а Ксаверий в это время был сотрудником консервативного виленского "Слова", что само по себе уже о многом говорит.

Я уже сказал, что Ксаверий практически не знал России, и сколько я мог заметить, слабо говорил по-русски. Зато он прилично говорил по-французски. Его можно было считать человеком западной культуры, хотя выступающие скулы на его лице и наводили на воспоминания о степняках. Сам же я, можно сказать, вырос на русской культуре,

очень люблю русскую поэзию и русский театр; во время большевистской революции, когда Ленин так настойчиво старался получить власть в Петрограде, я был студентом Московского университета. Я вообще прекрасно чувствовал себя в среде русской интеллигенции, мне были близки ее чаяния и понятны парадоксы ее мышления.

В чудной атмосфере отдыха под ласковым солнцем, на чистом песке волжского пляжа во мне вставали картины прошлого, вспоминалась юность... И все же в отношении России — и белой и красной — я был более бескомпромиссен, чем этот представитель иезуитской школы, которого до войны все считали замечательным представителем нашей молодежи. Я даже опасался, что Ксаверий внутренне согласен, чтобы Польша, в случае победы Советского Союза, играла роль аванпоста советской экспансии на Запад, чему сам я очень и очень противился.

Итак, мы рассуждали, высказывали друг другу наши взгляды на будущее, но разве кто-нибудь может предсказать ход событий? Да и война еще была на том этапе, когда ход ее, а тем более — исход, были непредсказуемы. Дело было летом 1942 года, и перелом в ходе войны еще не наступил. Впрочем, мы затруднялись только в прогнозе событий в отношении России, в том, что Германия неминуемо будет разбита, не сомневался ни один из нас.

Незадолго до войны я опубликовал в газете "Курьер Виленски" серию статей, которые сравнивали экономические потенциалы Британской империи и Третьего рейха. Вывод я сделал довольно однозначный: в случае германо-английской войны Англии потребуется довольно много времени, чтобы реализовать свои потенции, но результат будет один — Германия проиграет. Собственно, практически то же самое написал и сам Гитлер в своей "Майн кампф", которую я очень внимательно прочитал, будучи в Кельне и собирая материалы для своей книги "Экономическая политика гитлеровской Германии". Однако я ничего не писал о том, как такая война может отразиться на судьбе польского государства. Но получение от Англии гарантий помощи я счи-

тал важнейшей целью нашей дипломатии. Эти гарантии должны были существенно облегчить наши переговоры с немцами и помочь нам сгладить те противоречия, что остались после договора 1934 года. В самом деле, разве маршал Пилсудский подписывал этот договор, чтобы после окончания срока его действия начать войну? Конечно, нет. Пилсудский подписал его с явной целью получить время, необходимое для улаживания спорных вопросов с нашим западным соседом.

В 1939 году никто, кроме Советского Союза, в германо-английской войне не был заинтересован, а посему я наивно полагал, что до войны дело не дойдет. Когда же война все-таки вспыхнула, стало очевидным, что военный союз Гитлера и Сталина резко увеличил потенциал Германии. Ну а когда в советском лагере я узнал о немецком нападении на Россию, мне это показалось совершенно безрассудным шагом. Когда же в конце 1941 года стало известно о вступлении в войну Соединенных Штатов, я понял, судьба Германии предпрешена.

Но если вернуться к Советскому Союзу, то в 1942 году было не только неясно, что ждет его в военном плане, но было и неясно, продержится ли советский режим до конца войны или он будет сменен некоей новой политической системой. Правда, они отстояли Москву, и Ленинград все еще, несмотря на постоянные атаки немцев и финнов, оборонялся. Но мы тогда и не знали, что финны участвуют в войне, только стараясь вернуть себе утраченные территории, и наотрез отказались участвовать в атаках на Ленинград⁴². С другой стороны, Советский Союз практически лишился 50 процентов своей промышленности — все важнейшие промышленные области на юге страны были заняты немцами.

В то время немцы пробивались на Кавказ, т.е. к главнейшему району советской нефтедобычи. Отсюда получалось, что, если немцы займут Кавказ, главной ареной войны станет Иран, Турция и Сирия. Этого как раз и опасались англичане, и именно этим был вызван демарш Черчилля, в результате которого формировавшаяся на советской террито-

рии польская армия под командованием генерала Андерса получила разрешение передислоцироваться на Ближний Восток, т.е. войти в сферу английского оперативного командования.

Однажды я встретил в посольстве на мессе, отправляемой виленским иезуитом ксендзом Кухарским, генерала Андерса и его начальника штаба генерала Шишко-Бохуша, только что приехавших с Ближнего Востока. Уже по их форме можно было понять, что они принадлежат к европейским колониальным войскам. Их вид оживил во мне наши козельские дискуссии о предназначении армии генерала Вейганда в Сирии. Мы тогда и представить себе не могли, что и сами сможем скоро там оказаться. Теперь, кажется, это становилось реальностью. И вновь мне вспомнились мои товарищи по плену, и вновь я задумался над их судьбой: где они, что с ними случилось?

Поводом наших дискуссий в Козельске стала одолженная комбригом Зарубиным профессору Комарницкому книга Черчилля о Первой мировой войне, в которой он писал, что существует вероятность переноса тяжести войны на Ближний Восток и на Балканы и что от исхода событий в этом регионе будет зависеть и исход войны. Это была любимая стратегическая идея Черчилля. Когда, уже позже, меня допрашивали в бутырской тюрьме, в кабинете с огромной картой Югославии, сплошь утыканной цветными флажками, мне вдруг пришло в голову, что именно на Балканах и может развалиться советско-немецкий союз. Я помнил еще со времени своей поездки в 1937 году в Кельн, Гамбург и Берлин, как много внимания уделялось немецкими плановиками экспансии на Ближний Восток. Ну а как ученик русской школы, я хорошо помнил об извечном стремлении Российской империи к "теплым морям", т.е. к Персидскому заливу.

И я решил, что если, как мне сказал посол Кот, мне потребуется ехать в распоряжение нашего лондонского правительства, я постараюсь как можно дольше задержаться на Ближнем Востоке — мне хотелось быть поближе к ключевым событиям войны. И это намерение вскоре осуществилось.

В конце 1942 года три министерства нашего лондонского правительства — министерство иностранных дел, министерство информации и министерство по делам конгресса — решили основать на Ближнем Востоке специальное исследовательское бюро. Я был назначен директором этого бюро с резиденцией в Иерусалиме.

Мне казалось вполне вероятным, что в случае немецкой оккупации Кавказа некоторые советские части вынуждены будут отступить в этот регион. Мне было интересно представить политические последствия этого отступления, любопытно было и представить себе, как НКВД будет выглядеть в эмиграции.

Собственно, не только военное положение Советского Союза было в 1942 году крайне тяжелым, не легче было и его внутреннее положение. Значительная часть населения голодала, сотни тысяч людей были привлечены к подневольному труду в лагерях; почти каждая семья имела там своих "представителей"⁴³. Воинским подразделениям, расквартированным внутри страны, не выдавалось оружие, кроме того количества, что необходимо для их тренировки. В результате тотальных чисток перед войной Сталин напрочь уничтожил весь цвет высшего советского военного командования, что, естественно, сильно повлияло на деятельность советских штабов и сильно ослабило советскую стратегическую мысль. После отступления Красной армии из Белоруссии и Украины ситуация вроде бы несколько уравнилась, но не настолько, чтобы стать полностью необратимой. Все еще могло измениться, и не в лучшую для Советского Союза сторону.

Было трудно делать прогнозы судьбы СССР и еще по двум причинам: во-первых, все еще не были ясны политические цели Гитлера в развязанной им войне и, во-вторых, не были известны размеры помощи союзников СССР. Мы не располагали материалами, необходимыми для оценки военной стратегии Германии, а ее политическая стратегия выглядела крайне странно. Гитлер мог бы сыграть на национальных чувствах нерусского населения, провозгласив лозунг осво-

бождения поработанных Россией народов, что породило бы прогитлеровские настроения на Украине, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. С другой стороны, он мог использовать и русский патриотизм, провозгласив лозунг освобождения всех народов СССР от большевизма. Когда в лагере я прочитал о падении Смоленска, мне казалось, что следующим шагом Гитлера должно быть создание там альтернативного русского правительства. Но Гитлер не пошел ни по одному из этих путей. Неужели он и в самом деле верил, что весь Восток населен "недочеловеками", способными лишь быть в услужении у расы господ? Помимо моральной стороны вопроса, принятие этого положения за основу своей политики неминуемо должно было привести его к поражению. И это параноидальное поведение Гитлера давало Советскому Союзу дополнительные шансы выжить.

Трудно было разобраться и в намерениях англосаксов. В 1941 году в советской прессе было опубликовано нечто вроде исследования, я его прочитал будучи в лагере. Сталин в нем заявил, что исход войны зависит прежде всего от возможностей СССР и Германии мобилизовать в кратчайшие сроки всю свою промышленность. Сталин несколько не сомневался, что с помощью железной руки НКВД он достигнет цели скорее, чем Германия: голодные люди под постоянной угрозой репрессий будут послушно воевать, умирать, работать. Но одновременно вставал вопрос: сможет ли советская система противостоять огромному германскому промышленному потенциалу, который к тому времени уже включил в себя практически всю Европу? Отсюда следовало, что помощь западных союзников может иметь для СССР решающее значение.

Ну а эта посылка, в свою очередь, порождала новый вопрос: будут ли в состоянии союзники дать достаточную помощь во-первых, и захотят ли они ее дать во-вторых? Русские интеллигенты, с которыми я говорил на эту тему в лагерях, были довольно скептически настроены. Они полагали, что в интересах Англии не помочь победить Советскому Союзу, а лишь с его помощью истощать силы Германии.

Отсюда будут и соответствующие размеры поставок. Однако они полагали, что американские поставки будут значительно больше по объему и значению.

По моим наблюдениям, советские люди более рационалистично, или даже по-маккиавелевски, подходят к вопросам внешней политики. И это отличает их от западной общественности, которая во внешней политике крайне эмоциональна, и от правителей царской России, которые руководствовались в своих действиях такими понятиями, как честь, верность данному слову и т. п. В СССР же эти понятия воспринимаются не иначе как пережитки феодализма. И поэтому советские шаги на международной арене легче предсказуемы, чем, скажем, шаги западных держав. Западная внешняя политика очень зависима от общественного мнения, которое, например в США, часто носит характер периодической истерии и имеет диаметрально противоположные цели и направленность.

Однако в своем прагматическом мышлении советские руководители допускают грубейшую ошибку: они переносят свойственный им самим цинизм на западных правителей. Отсюда, к примеру, произошло убеждение, что западные союзники будут помогать СССР лишь в ограниченных масштабах, которые не дадут Советскому Союзу выйти из войны победителем, ибо это будет означать крах капитализма, крах Британской империи и либеральных демократий.

Летом 1942 года было много разговоров об открытии Второго фронта. Читая в посольстве протоколы бесед Сикорского со Сталиным, я не раз встречал упоминание о врученной Сикорским Черчиллю памятной записке о необходимости скорейшего начала в Европе военных действий союзных держав.

На это Сталин ответил: "Правильно", но я сомневаюсь, что он поверил в искренность собеседника. Но все же, кажется, Сикорский здесь был честен, по его концепции, польские войска должны были сражаться на Востоке под стратегическим командованием Красной армии. Концепция же о передислокации наших частей на Ближний Восток по-

явилась позже и без его участия, хотя, безусловно, и требовала его утверждения.

Суммируя все вышеизложенные факты, я сомневался в шансах советской системы продержаться до конца войны. Мне казалось, что так же думают и западные руководители. И все же, очень многое зависело от успеха немецкой операции на Кавказе. Если бы немцам удалось захватить Иран, был бы перерезан основной путь американских поставок в СССР. Много говорили и о немецком наступлении на Сталинград, это примерно 500 километров на юго-восток от Куйбышева. Мы с Ксаверием скоро имели возможность собственными глазами увидеть силу этого наступления, проезжая по Волге по служебным делам. И опять-таки, наступление на Сталинград, важный промышленный и стратегический пункт, было всего лишь вспомогательной операцией, которая должна была обеспечить успех наступления на Кавказ. Армию Андерса, уже начавшую продвижение на Ирак, ждали нелегкие дни, если бы немцам удалось захватить Кавказ и направить всю силу своего удара на Иран и Турцию.

Ксаверий не разделял моих взглядов и был настроен значительно более оптимистично в отношении шансов Советского Союза.

События подтверждали правильность его интуиции, а не моего анализа. Спустя несколько месяцев немцы были разбиты под Сталинградом, а спустя год произошла битва на Курской дуге, не менее важная, чем сталинградское сражение. Я часто потом возвращался в мыслях к тем нашим разговорам, пытаюсь найти причины моих ошибок. Скорее всего, основная моя ошибка была в неучитывании размеров эвакуации промышленности на восток. Впрочем, я в то время фактически не располагал информацией на этот счет. Вышедшая после войны книга Вознесенского, одного из творцов этой эвакуации, была для меня просто откровением.

Если бы мне кто-то в 1942 году рассказал об успехах и масштабах этой эвакуации, я бы просто не поверил ему. Я тогда стоял полностью на позиции моей довольно объемистой работы о советской экономике, опубликованной в изда-

ниях Института Восточной Европы в Вильно в 1934 году. Статья эта в основном опиралась на материалы изучения первого пятилетнего плана, в то время как уже вторая пятилетка принесла существенные перемены в системе советского промышленного руководства.

Недостаточно внимания я уделил и такому моменту. Каждый, кто бывал в России, может подтвердить, что там царит полнейший хаос, но в то же время в некоторых областях, как, например, в оборонной промышленности, во времена Сталина царил просто идеальный порядок. Советы благодаря этому располагали огромными артиллерийскими запасами, у них было много прекрасных конструкторов танков. Кстати, двух из них я встретил в лубянской тюрьме.

Американская помощь, достигшая колоссальных размеров, началась фактически в 1943 году, т.е. уже после Сталинграда. Поставки в большей своей части шли через порты Персидского залива, и далее — через Иран, где американцы специально для этого построили дороги.

Во время своего троекратного пребывания в 1942 — 44 годах в Иране я собственными глазами видел подлинно колоссальные размеры американской помощи. Но, как мне говорили, в нее не входили ни артиллерия, ни танки. Она состояла прежде всего из транспортных средств и продовольствия⁴⁴. Танков, оружия и боеприпасов Советы имели с избытком. Но ни я, ни Ксаверий во время наших дискуссий этого не знали.

Различие между нами было не только в оценках, но и в отношении к России вообще. Ксаверий полагал, что послевоенная Польша должна заниматься вопросом своих западных границ, восточные же воеводства должны быть отданы России, а их населению предоставлено право выбора: либо стать советскими гражданами, либо перебраться в Польшу. И меня очень удивлял такой его подход. Ведь еще недавно, до войны, у него была даже дуэль с лидером виленских народных демократов Звежиньским, вызванная заявлением эндеков, что-де Ксаверий отрицает принадлежность Львова Польше.

Я противопоставлял его точке зрения свою излюбленную теорию о создании в Восточной Европе подобия Швейцарской конфедерации, которая бы объединяла народы этого региона, но одновременно и оставляла бы им свободу экономического и духовного развития. На мой взгляд, это было единственное приемлемое решение проблемы. Если же говорить о проблемах так называемой Центральной Литвы 1920 — 22 годов, то я был категорически против автоматического включения Вильно и Виленской области в состав Польши.

Конечно, моя теория была фактически отражением того, что принято у нас называть ягелонской традицией. Хотя, в нашем столетии возрождение этой традиции должно было, по-моему, наступить на основе совершенно иной классовой структуры. Акты Кревской и Любельской Унии были выражением объединения дворянства и шляхты Польши, России и Литвы. В двадцатых годах, когда было так много разговоров о федералистских планах Пилсудского, мне казалось, новый союз должен быть союзом крестьянских республик, для которых Ковенская Литва могла бы быть хорошим примером.

Возрождение же Речи Посполитой в ее традиционной классовой структуре выглядело для меня чистой утопией. И в этом смысле Станислав Мацкевич с его политическими взглядами был утопистом: аристократическая республика бесповоротно канула в Лету. А вот географическое положение народов от Карпат до Балтики осталось прежним. Польско-литовско-русская Уния была пробой сил против приходящих с Востока разрушительных нашествий; казачьи войны были выражением оборонного характера Унии, ибо они были войнами классовыми.

До войны возрождение Унии было возможно лишь после того, как все народы и государства региона проведут у себя такие же аграрные реформы, как провели Литва и Латвия. Свои взгляды на эту проблему я не раз излагал в виленском Клубе скитальцев, где и Ксаверий часто бывал в качестве гостя.

В начале тридцатых годов моя точка зрения на систему

оборонной организации Восточной Европы претерпела некоторое изменение. Это было время Великой депрессии во всем капиталистическом мире, особенно пострадали тогда из-за разницы в ценах на сырье и готовую продукцию страны аграрного типа экономики. Я задумался тогда над проблемой индустриализации всего этого региона. При этом безрассудно было рассчитывать на иностранные кредиты — они были сконцентрированы в руках немецких и австрийских банков, и таможенная война с Германией крайне затрудняла привлечение капитала в Польшу. После окончания таможенной войны пришел мировой экономический кризис. Мне стало ясно, что мы должны в своей программе индустриализации рассчитывать прежде всего на общественное мнение и на собственные силы. Собственно, все это и послужило началом моего изучения германской экономической политики.

В Советском Союзе в это время царил голод, вызванный коллективизацией крестьянства, но одновременно готовилась почва и для быстрого рывка в промышленном развитии. Я занялся изучением советской политики индустриализации даже до того, как стал изучать экономику Третьего рейха. В моем понимании, достижения СССР были достойны внимания каждого экономиста, они круто изменяли многие представления, свойственные классической экономике. Стоит добавить, что перенос на нашу почву советских экономических моделей для меня вовсе не означал автоматического переноса или принятия советской политической системы и философии.

Во второй половине тридцатых годов я отошел от молодежной группы, руководимой Хенриком Дембиньским и Стефаном Ендрыховским. Я отошел от нее именно потому, что изучение советской экономики постепенно привело их и к принятию советского политического лидерства, хотя Дембиньский все еще и не был сторонником советской идеологии. Ксаверий в это время был, как говорится, по ту сторону баррикад. Теперь же он явно подходил к принятию идеи советского политического лидерства, не уделяя, однако, особого внимания историческим последствиям Ок-

тябрьской революции. Впрочем, он не увлекался и марксистской философией.

Наши дискуссии на волжском пляже остались в моей памяти своего рода идейно-политическими воспоминаниями в преддверии нового этапа моей жизни. Спустя два года, уже после окончания войны, оба мы продолжали жить по тем принципам, что излагали друг другу, отдыхая на берегу Волги: Ксаверий поступил на работу в МИД Польской Народной Республики и был назначен послом в Голландии. Кажется, это немного было против его желания, он более охотно принял бы назначение послом в Ватикан. Я же после войны стал чем-то вроде интеллектуального бродяги, занимая ряд постов в университетах Лондона, Манчестера, работая при ЮНЕСКО в Индонезии, Соединенных Штатах и в Канаде.

Жизнь Ксаверия мне представляется интересной психологической проблемой. Не думаю, что оппортунизм играл в его поступках главную роль. Скорее, он жил под действием какого-то непонятого мне импульса. Анализ его поведения, пожалуй, потребовал бы больше места и перекликался бы с известной книгой Милоша, в которой он описывал пути, приведшие часть польской молодежи к принятию коммунизма в сороковых годах. У Милоша его герои шаг за шагом приходят к марксизму, но я не думаю, чтобы Ксаверий когда-либо стал сторонником этого учения. Это было скорее странным путем становления его личности, постепенно приведший его к чувству необходимости согласия на политическое лидерство Советов. Впрочем, он уже в наших дискуссиях стоял именно на такой позиции.

Мне даже кажется, что, если бы он лучше понимал марксистскую философию, он никогда бы не отдал свои способности в распоряжение коммунистов.

Марксизм — очень ценный метод объяснения общественных и экономических явлений конкретно взятой эпохи, но он совершенно непригоден для объяснения культурных и политических процессов, проходящих в более протяженном временном отрезке. Как, например, с позиции теории классов-

вой борьбы объяснить сходства в политике Ивана III, Петра Великого и Екатерины II с одной стороны, и Сталина — с другой? Марксизм практически непригоден для понимания всего исторического процесса развития цивилизации. Например, Арнольд Тойнби, с которым мне не раз пришлось впоследствии встретиться, в своем фундаментальном одиннадцатитомном труде в конечном итоге приходит к выводу, что развитие человеческой цивилизации явилось следствием появления религий⁴⁵.

Марксистское мышление настолько не аисторично, насколько было аисторично мышление классических экономистов XIX века, от которых так много перенял сам Маркс.

С Ксаверием мы расстались в Тегеране спустя почти два месяца после наших пляжных дискуссий. Он выехал в Лондон, а я, как и хотел, задержался на Ближнем Востоке. Перед самой высадкой союзников в Европе Ксаверий вернулся в армию в чине пресс-офицера. Во время первого же боя он упросил водителя танка доверить ему управление, наехал на мину и в результате до самого конца войны провалялся в госпиталях. Мы с ним не смогли встретиться ни тогда, ни позже, перед его отъездом в Польшу. Правда, мы некоторое время переписывались. Но и это наше общение не было долгим, Ксаверий погиб в автомобильной катастрофе. Спустя некоторое время после его гибели его брат переслал мне неотправленное письмо, в котором Ксаверий обещал мне помочь кое-что сделать для меня в Польше. Надо сказать, это кое-что было для меня крайне важным.

Если же вернуться к судьбе узников козельского и старобельского лагерей, то, естественно, Ксаверий был в курсе всех моих знаний на этот счет. Но он не очень доверял моим словам до того времени, пока немецкое радио не сообщило, что обнаружены могилы польских офицеров. Причем, обнаружены они были именно в том районе, который я называл — под Смоленском. Это известие пришло, когда я был в Иерусалиме, а Ксаверий — в Лондоне.

ГЛАВА VI

ДОРОГА В ТЕГЕРАН

В июле 1942 года стало известно, что, не пробыв и года на своем посту, Кот его оставляет и что будет назначен новый посол.

Мне неизвестны причины этого решения, но почти сразу после приезда в Куйбышев я понял, ни Кот не доволен своим постом, ни советские власти не испытывают большого удовольствия от него в этой должности.

Кот, как я уже писал, приехал ранней осенью в Россию с двойной целью. Во-первых, помочь десяткам тысяч польских граждан, осужденных и депортированных советскими властями. И, во-вторых, создать условия для взаимного доверия и сотрудничества между Польшей и Советским Союзом.

Договор Сикорский — Майский открывал множество возможностей. В тех областях Советского Союза, где были большие скопления депортированных поляков, открывались представительства посольства, организовывались склады одежды и продовольствия, состоящие в основном из американских подарков. На узловых станциях была организована польская информационная служба, которая направляла освобожденных сограждан в места формирования польских воинских частей, предоставляла иную необходимую информацию и помощь. Представительства посольства старались организовать медицинскую, культурную и религиозную помощь согражданам, выдавали им на руки польские паспорта.

Огромным достижением посольства было создание Центральной картотеки польских граждан в СССР. Туда поступала вся информация, которую только удавалось получить. Каждый из освобожденных поляков, к примеру, опрашивался и прежде всего их просили назвать имена и места пребывания других польских граждан. В результате этого была создана картотека, содержащая сведения о нескольких десятках тысяч поляков, некоторые из которых, вопреки советско-польскому договору, все еще содержались в заключении.

Позже, в 1943 году, когда Советский Союз разорвал дипломатические отношения с лондонским правительством, послу Ромеру все же удалось вывезти на Ближний Восток всю эту картотеку, и она была передана в Международный Красный Крест.

В представительствах посольства часто проводились католические службы, на которые приходили толпы людей, отвыкшие в заключении от самой идеи свободы. Весть о присутствии в представительствах священников быстро облетала округу, и было много случаев, когда православные крестьяне приезжали за многие километры окрестить своих детей.

Во время битвы за Москву поляки сосредоточились в тылу и, по мнению многих, образовали независимую от советских властей общину. Как пишет в своих воспоминаниях профессор Кот, до февраля 1943 года посольству удалось создать на советской территории 807 своих организаций и представительств с 2639 сотрудниками, которые в общей сложности оказали содействие более чем тремстам тысячам польских граждан*. Все это было просто неслыханно в сталинском государстве, и, естественно, вызывало недовольство властей.

Посол Кот не только не владел русским языком, но и не понимал специфики Советского Союза, ментальности его руководителей, это затрудняло его отношения с властями. И

*Stanislaw Kot. "Listy z Rosji", Londyn, 1965, str. 27.

хотя он постоянно подчеркивал свое крестьянское происхождение, это мало помогало ему, власти по-прежнему относились к нему с недоверием и часто с враждебностью. В самом деле, крестьянин, дошедший в буржуазной Польше до университетской кафедры, в глазах сталинских чиновников должен был быть из "кулаков". А это была худшая репутация в Советском Союзе.

Во время первых пятилеток Сталин вел открытую борьбу с крестьянством, что нашло свое продолжение в принудительной всеобщей коллективизации. Спротивление этой политике было подавлено с такой жестокостью, что ее можно сравнить только с жестокостью нацистов в отношении еврейского населения. В величайшем изменении общественной структуры, происшедшем в СССР в 1929 — 32 годах, так или иначе погибло около десяти миллионов человек. И все это преподносилось как борьба за новую жизнь, борьба с "паразитическим" кулачеством.

Любопытно, что вера в то, что "народная демократия" станет демократией просоветской, была сильно распространена среди польских эмигрантов. Это было своего рода апробацией тезиса, дескать, за популярной среди миллионов польских крестьян идеей народной демократии пойдет больше людей, чем за группкой коммунистов, и что Сталин именно народной демократии будет уделять большее внимание в послевоенном развитии Польши. Сколько я знаю, именно эта идея высказывалась премьером Миколайчиком во время его поездок в Москву и встреч со Сталиным в 1944 и 1945 годах.

Кот полностью поддерживал политику Миколайчика. Я несколько раз тогда с ним встречался в Лондоне. Он никак не мог объяснить, чем, собственно, эта теория так хороша, и ограничивался голословными уверениями, что, вот, пройдет время и все будет хорошо. Позже он принял пост посла ПНР в Риме. Неужели за почти год, проведенный им в Советском Союзе, он так и не понял генеральную линию советской политики? Мне кажется, все его действия были продиктованы все же пресловутой партийной дисциплиной.

Хотя Кот и был ревностным сторонником народной демократии, занимал ряд видных постов, мне кажется, он не имел в партии особенного влияния. Позже, когда он вновь оказался в эмиграции и проводил много времени в Британском музее, я встречался с ним, но мы в наших разговорах никогда не возвращались к тому, что разделило нас в конце войны.

Другим приемом, которым Кот пытался расположить к себе своих собеседников, было подчеркивание его демократичности. Он постоянно заявлял, что время диктатуры Пилсудского и его преемников безвозвратно ушло и нынешнее польское правительство состоит из подлинных демократов и либералов. Советский Союз, по своей сущности, диктатура небольшой группки людей, держащих в своих руках аппарат принуждения и экономику. Советские функционеры относятся к западным демократам, включая и так называемых друзей СССР, с явным, часто нескрываемым пренебрежением. Даже сэра Стаффорда Криппса, который предупредил советское руководство о предстоящем нападении Гитлера, никто в Советском Союзе не воспринимал всерьез, и именно оттого, что он был известным демократом. С другой стороны, незадолго до этого Риббентроп в тесном кругу похвалялся, как легко ему удалось достичь доверия и расположения советских коммунистов*. Ну а каким было при Сталине отношение к людям, действительно верным идеалам демократии, видно из описанного выше дела Альтера и Эрлиха. И трудно себе представить, чтобы кто-то в Советском Союзе расчувствовался от уверений польского посла в его демократических пристрастиях.

Кот часто любил подчеркивать, что он, собственно, не профессиональный дипломат. Следствием этого было убеждение, что Сикорский прислал в СССР своего близкого друга, дабы и в отношениях двух стран добиться дружбы и тесного контакта. Это объясняло и то, что Кот часто выходил за жесткие рамки дипломатического протокола, осо-

*Albert Speer. "Erinnerungen". Propyläen Verlag, Berlin, 1969.

бенно, когда дело шло о заключенных в лагерях и тюрьмах соотечественниках.

Советские власти часто устраивали дипломатические приемы. В Куйбышеве этим целям служил специальный дипломатический ресторан, доступ туда имели только представители посольств и узкий круг советских чиновников. Там можно было прекрасно и дешево покушать, а водка и икра продавались без ограничений. Но советские власти крайне противились возникновению каких бы то ни было приятельских отношений между советскими функционерами и иностранными дипломатами. Таким образом, особо дружеские отношения с советскими представителями Коту было создавать довольно трудно.

Мне кажется, что Сикорский и Кот заранее договорились о манифестации при каждом удобном случае своего особенного расположения к Советскому Союзу. Несколько месяцев спустя, на Ближнем Востоке, мне рассказывали, что в 1941 году Сикорский уволил нескольких польских консульских работников в этом регионе за их связи с прометейским движением. А несколько позже он заявил в Лондоне на заседании Рады народной, что его не касается судьба прибалтийских государств. Иначе как уступками советскому империализму эти шаги назвать нельзя. Но, кажется, они скорее породили недоверие, чем благодарность среди советских чиновников и руководителей.

Но стремление расположить к себе советских руководителей можно и понять: как бы ни закончилась война, реальностью было нахождение почти миллиона депортированных поляков на территории СССР. Их можно было рассматривать и как заложников. Сикорский же стремился к возрождению польской армии за границами оккупированной Польши; армия эта должна была принять действенное участие в войне, а Советы держали в своих тюрьмах и лагерях лучшие кадры для этой армии. Кроме того, кратчайшим путем возвращения этой армии в Польшу была советская территория.

Конечно, с политической точки зрения было бы лучше,

если бы эта армия ударила по немцам со стороны Балкан и Румынии, но такое решение не могло быть принято хотя бы из-за соображений такта. Ну а если польским солдатам суждено было сражаться бок о бок с советскими, то, естественно, следовало создать атмосферу товарищества и доверия, и кто бы ни стал польским лидером, должен был искать пути нормализации отношений с Советским Союзом. И такие люди, как Ксаверий Прушиньский, свято верившие в то, что в польско-советских отношениях наступила новая эпоха, были просто необходимы для новой польской дипломатии. Его поведение вызывало уважение, а то, что он болтал в журналистских кругах, безусловно, немедленно доводилось до сведения Наркоминдела. То есть назначение Ксаверия на пост польского пресс-атташе было логичным шагом Сикорского.

В то же время пропажа пленных офицеров делало невозможным дальнейшее польско-советское сближение. Даже если бы Кот был более психологически подготовлен к контактам с советскими чиновниками, было бы просто трудно представить себе шаги в этом направлении до выяснения судьбы офицеров козельского, старобельского и осташковского лагерей. Ведь посол по самому своему посту уже должен был добиваться их освобождения в соответствии с положениями договора 1941 года. Ну а его собеседники никак не могли ему помочь — офицеров уже не было в живых. И они вынуждены были давать различные расплывчатые ответы, которые только порождали взаимную подозрительность и недоверие.

Штаб польской армии в СССР высылал своих людей в различные районы страны с целью выяснения судьбы пропавших офицеров, да и наши информационные офицеры на узловых станциях также старались обнаружить их следы. Есть сведения, что НКВД проводил среди них кампанию дезинформации, стараясь дезориентировать и запутать наши поиски. Ну а дело Роль-Янецкого позволило Советам выдвинуть контробвинения против нас.

Кот в такой ситуации, естественно, столкнулся с трудностями в выполнении поставленных перед ним задач. Труд-

ности эти отразились и на его состоянии здоровья — у него было повышенное давление и частые приступы мигрени. Ну и очевидной стала необходимость заменить Кота профессиональным дипломатом, способным сохранить оставшиеся после ухода армии генерала Андерса пункты социального обеспечения польских граждан и сохранить, если не упрочить, дружеские отношения с советским правительством. А главное, новый посол должен был строго придерживаться рамок протокола и не забивать голову своим собеседникам личной либеральностью и демократичностью. Все вышеописанное и привело Тадеуша Ромера, бывшего посла в Токио, на пост польского посла в СССР. Как мне позже говорили, Ромер действовал с присущим ему тактом и даже завоевал известное расположение со стороны советского руководства.

За несколько дней до отъезда Кот нанес прощальный визит Вышинскому. Кажется, с ним был и советник Мнишек, сотрудник нашего МИДа. Я не видел протокола этой беседы, но, как говорят, во время ее упоминалась и моя фамилия. В дипломатии существует обычай выполнения личной просьбы отъезжающего посла. Кот попросил разрешения уехать вместе с Альтером и Эрлихом. Вышинский ответил, что, к сожалению, это невозможно. Скорее всего, он был прав — едва ли они еще были в живых. Тогда Кот попросил, чтобы мне было разрешено сопровождать его до Ирана. Вышинский сказал, что это может быть сделано, и рекомендовал мне обратиться к соответствующим инстанциям в Куйбышеве за выездной визой.

Мое положение после освобождения из лагеря, с советской точки зрения, было таково: польский гражданин, проживающий в СССР и работающий в посольстве Польше. Я имел польский служебный паспорт, но не имел дипломатического иммунитета, и для выезда из страны я должен был получить выездную визу, в которой, впрочем, мне могло быть и отказано.

Я тут же обратился в милицию, где мне рекомендовали зайти через несколько дней. Когда я вновь туда пришел,

мне сказали зайти завтра, на завтра — снова — завтра, и так до бесконечности. Но в конце концов мне однажды объявили, что паспорт мой еще не готов, и попросили прийти за ним после обеда. Но и после обеда мне назначили время где-то всего за полчаса до отхода парохода. Я понял, они не хотят отказать мне в визе, но и не хотят, чтобы я успел на пароход. Я вернулся в посольство; Кот уже готовился к отъезду на пристань. Найдя шофера, я договорился с ним, что, как только он привезет посла, сразу же возвращается за мною и, завезя меня в управление милиции, отвез бы на пристань. Иначе я и в самом деле опоздал бы к отплытию.

После отъезда посла со мною произошло что-то совершенно невероятное. По натуре своей я человек нервный, а тут вытягиваюсь на диване и засыпаю крепким сном. Проснулся я примерно через полчаса, свежий и полный сил. Было около трех часов. Машина уже ждала меня. Я схватил свой чемодан, и мы поехали в милицию. Там я пробыл еще около получаса, но в конце концов мне выдали визу. До отплытия осталось четверть часа. Я прошу шофера гнать на пристань во всю мочь, не обращая внимания на знаки и правила езды. Сам немного волнуюсь — ведь нас может остановить какой-нибудь милиционер, несмотря даже и на дипломатический номер автомобиля.

На пристань мы приехали перед самым отходом парохода. Я показываю офицеру НКВД свою визу, он отдает мне честь, а я уже бегу к трапу. На пристани полно народу: чиновники, дипломаты, энкаведешники в начищенных ботинках и отутюженных мундирах. Энкаведешники, мимо которых я пробегаю, отдают мне честь, вообще, все выглядит, как в буффонде. Пароход тем временем уже отваливает, между ним и пристанью около трех четвертей метра, я разбегаюсь; прыгаю и вместе с чемоданом падаю прямо на Ксаверия. Меня поддерживает, опасаясь, что я вывалюсь за борт, какой-то матрос. Я на пароходе.

Через минуту я прихожу в себя и поднимаюсь на верхнюю палубу, где стоит посол Кот и машет шляпой провожающим

его советским чиновникам и членам дипломатического корпуса. Я присоединяюсь к его окружению, снимаю купленную в Куйбышеве в магазине Оттона Пэра шляпу и тоже поднимаю ее в прощальном салюте. Мне вспомнились слова Лермонтова, моего любимого поэта, сказанные им, когда за стихотворение на смерть Пушкина он был выслан Николаем I на Кавказ:

*Прощай, немытая Россия!
Страна рабов, страна господ.
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.*

Наш пароход плыл на юг, в сторону Кавказа. Кстати, голубые петлицы и околышки фуражек энкаведешников, так элегантно отдававших мне честь несколько минут назад, очень схожи с околышками и петлицами царских жандармов, которых я немало повидал в детстве. "Я так рада, что в семье больше не будет голубого цвета", — сказала мне после отречения Николая II моя подруга, отец которой был жандармским полковником при ставке императора в Могилеве и которого она всем сердцем любила.

Я почувствовал, что жизнь в России во второй раз в моей жизни уходит в прошлое. Первый раз это было в сентябре 1918 года, в Орше, где я пересек границу между страной Ленина и немецкой оккупационной зоной. Правда, сейчас мы все еще были в пределах Советского Союза, но уж очень нереальной казалась мне возможность задержания меня. Все-таки я входил в окружение польского посла, которого так торжественно провожали несколько минут назад.

Конечно, мы еще не забыли дела Эрлиха и Альтера, но ведь у них не было выездной визы... И я чувствовал себя в безопасности настолько, насколько можно быть безопасным в сталинской России. И самое главное, меня утешало, что моя семья находится вне досягаемости НКВД.

Ксаверий тоже стоял среди нас на верхней палубе. С красной розой в петлице пиджака он выглядел очень элегантно. Я подумал, что роза, скорее всего, не должна была символизировать его любовь к революции, а была пред-

назначена кому-то из провожающих — Ксаверий был просто неукротимый дамский угодник. Это был его стиль — романтический и очень эмоциональный.

Когда пароход выплыл на середину Волги и очертания пристани стали исчезать из глаз, он сказал тихим и немного печальным голосом: "Ну что ж, давай сойдем вниз". Спустившись на нижнюю палубу, где располагались пассажирские каюты, Ксаверий обнял меня, и я увидел слезы на его щеках.

— Прости. Все эти часы я сильно переживал. Ведь они могли тебя задержать, — сказал он.

До самой последней минуты Ксаверий стоял у трапа и ждал, что вот-вот я приеду. Он даже немного задержал отдание сходен, увидев меня бегущим по пристани к пароходу. Я почувствовал нахлынувшую на меня волну благодарности и привязанности к этому милому человеку. Правда, еще я подумал, как спокойно мне удалось пережить один из самых драматичных дней в моей жизни.

Пароход шел полным ходом. Я так погрузился в спешке на него и так был рад, что все же успел до отплытия, что даже не задумался, где я буду размещен и куда отнести свой чемодан. Спросил об этом Ксаверия. Он ответил, что для меня приготовлена соседняя с ним каюта, и проводил меня на палубу первого класса. Несмотря на то, что наш пароход, как и большинство пассажирских судов на Волге в то время, был еще дореволюционной постройки, все здесь блистало чистотой и порядком. На одной из лакированных дверей одноместных кают висел билет с моим именем и профессорским званием. И я вновь вспомнил о "шутках" НКВД: с одной стороны, они уверяли посла, что считают меня человеком из его близкого окружения, а с другой — сделали все, чтобы я не успел на пароход.

Кот уезжал из Советов с довольно большой группой людей. Кроме Ксаверия, сюда входили еще Бернард Зингер, Роман Фаянс, доктор Юлиан Малиняк. Последний был видным деятелем ППС в Западной Польше, а в России некоторое время был представителем нашего посольства в Ново-

российске. Был он уже пожилым человеком, пожалуй, ровесником посла Кота. С нами же ехала и Тереза Липковска, исполнявшая обязанности секретаря посла. Все они, в отличие от меня, получили визы за несколько дней до отъезда, и это только подчеркивало "игру" НКВД со мною. Кстати, состав нашей группы лишней раз подчеркивал старание Кота вывезти из Советского Союза как можно больше польских интеллектуалов. Особенно тех, кто хорошо владел пером.

На одном с нами пароходе ехали и двое младших сотрудников посольства, оба они направлялись в Лондон. Один из них был сотрудником по особым поручениям, хотя едва ли Кот имел таковые. Второй был шофером посольства, и, кажется, приехал с первой группой сотрудников осенью 1941 года. Я подозревал, что, помимо основной работы, они занимались еще и валютными спекуляциями. Впрочем, не они одни. На пароходе они следили за несколькими тюками дипломатической почты, за которой требовался присмотр днем и ночью. Кроме того, они выполняли функции кладовщиков продуктов, взятых нами в дорогу со складов посольства — в военных условиях трудно было предположить, как долго продлится наша поездка. Да и в стране царил голод, и на питание в ресторане парохода нечего было и рассчитывать.

Проснувшись следующим утром, я вышел на палубу, и меня просто очаровала волжская природа, особенно чудесная в это время года. Было теплое утро, на прибрежных лугах косили и складывали в стога сено. Легкий ветерок доносил запахи цветов и свежескошенного сена. И я понял всю прелесть путешествия по Волге, о которой мне столько рассказывали до революции мои знакомые.

Волга начинается с озер на Валдайской возвышенности в западной части Великодержавии, почти рядом с Осташково. У одного из этих озер в 1939 — 40 годах был лагерь нескольких тысяч наших пленных полицейских и офицеров Корпуса пограничной охраны. Это был один из пропавших лагерей, о судьбе узников ходило много толков, но никак

нельзя в них было отличить правду от вымысла. Километрах в ста от лагеря, на юго-восток, расположены Великие Луки — место главной битвы Стефана Батория с Иваном Грозным в XVI веке.

Волга в своем верховье течет на восток, постепенно поворачивая на юго-восток. И только у Казани, столицы побежденного Иваном Грозным татарского царства, она окончательно берет направление на юг. Чуть ниже Казани в нее вливается Кама, и Волга становится действительно большой и полноводной рекой. У Куйбышева она делает огромную петлю, обходя Жигулевские горы, и течет на юго-запад, аж до самого Сталинграда, бывшего Царицына. Сталинград, собственно, наиболее западная точка нижнего течения этой великой реки. Отсюда и его огромное стратегическое значение — захват Сталинграда означает перерезанные коммуникации между центром России и Кавказом.

Мы как раз и плыли на юго-запад, все более и более приближаясь к районам боевых действий. Иногда мы приставали к берегу, где садились и выходили пассажиры и выгружался какой-то груз. Мы видели знаменитых волжских грузчиков, которые подпевали себе, перетаскивая вручную невероятно тяжелые вещи. Об их песнях в дореволюционной России было написано немало книг. За всю дорогу я ни разу не видел портовых кранов и даже лебедок, все делалось вручную, и грузчики помогали себе пением. Несколько раз нам встречались барки, которые тянули вверх по течению группы бурлаков. Они тоже пели свои заунывные песни. Это был традиционный российский способ перевозки товаров по Волге, и он все еще существовал в эпоху пара и дизелей. Были ли это зэки или "вольные", никто не знал, да и я был слишком осторожен, чтобы задавать такие вопросы.

Между Куйбышевым и Сталинградом самый большой порт был Саратов. Здесь разгружались прибывшие с Кавказа танкеры, и отсюда нефть в железнодорожных цистернах расходилась по всей России. Если бы немцам удалось захватить Сталинград, Советский Союз оказался бы на голодном топливном пайке. Правда, уже были и другие нефтяные источ-

ники. Один из них располагался на Крайнем Севере, в республике Коми, и работало на нем несколько тысяч заключенных. Но эти новые месторождения были еще в начальной стадии эксплуатации и едва ли могли существенно повлиять на уровень нефтедобычи.

Саратов стоит на месте давнего татарского поселения. В XVIII веке Екатерина Великая направила сюда немецких колонистов, им и обязана эта местность своим расцветом. После революции поволжским немцам была дана некоторая культурная автономия, для них был даже открыт специальный университет, в котором преподавал мой сокамерник по Бутырке⁴⁶. Часть Саратова, расположенная на левом берегу, выделена в отдельный город и носит название Энгельс — бывшая столица немецкой республики. После нападения Гитлера на СССР часть населения республики была депортирована в лагеря или выслана. В лагерях в Коми я встречал множество поволжских немцев, большинство из них было выслано в Сибирь. Сейчас, глядя на их бывшую республику, я вспоминал моих лагерных друзей-немцев.

Основную массу садящихся на пароход на пристанях пассажиров составляли военные, добирающиеся до своих частей, воевавших под Сталинградом. На верхних палубах располагались офицеры, солдаты размещались внизу. Офицеры имели обычно при себе продукты, которые они отдавали поварам в ресторане, и те готовили для них обеды.

На второй день после нашего отплытия из Куйбышева, после получения соответствующего разрешения от советских властей, Ксаверий прочитал советским офицерам доклад о жестокостях немецких оккупантов. И хотя Ксаверий говорил с сильным акцентом и множеством ошибок, доклад его, прочитанный в переполненном зале ресторана, был очень тепло принят. Впрочем, плохое знание русского языка даже облегчало контакт с аудиторией: в России традиционно вызывает настороженность хорошо говорящий по-русски иностранец. Тот же, кто получил небольшие языковые знания на дипломатической работе, вызывал уважение.

На одной из пристаней между Саратовым и Сталинградом

на наш пароход погрузился рабочий батальон, состоявший преимущественно из поляков. Они, примерно около ста человек, расположились в ужасной тесноте нижних палуб. Я спустился к ним поговорить. В основном это были молодые ребята, моложе двадцати лет, одетые в армейские гимнастерки. Они говорили мне, что получают за свой труд фронтовой паек. Но прежде чем мы с ними успели разговориться, пришел приказ об их выгрузке. Эта встреча меня очень удивила. До этого я никогда не слышал о польских рабочих батальонах при Красной армии, тем более о работающих на Сталинградском фронте. Это был, пожалуй, еще один способ, помимо депортации и высылки, оттока польского населения с захваченных Советами в 1939 — 41 годах наших территорий. И сколько их погибло на работах, того уж никто не узнает.

На третий день путешествия, перед самым заходом мы прибыли в Сталинград. Тут сошли на берег все военные, и на пароходе сразу сделалось свободно. Нам объявили, что стоянка продлится несколько часов. Было также сказано, что город часто подвергается немецким бомбардировкам, а посему нельзя зажигать света после захода солнца и не рекомендуется сходить на берег. Зингер, однако, не выдержал, репортерское любопытство толкнуло его посмотреть город перед ожидавшимся со дня на день наступлением немцев. Я пытался его отговорить, ведь совет не сходить на берег был фактически приказом и невыполнение его могло привести к аресту. Но Зингер все же пошел и вернулся уже в полной темноте, часа через два. В городе он не нашел ничего необычного. По его словам, жизнь шла своим чередом, не было и следа паники. Мы простояли у сталинградского причала целую ночь. Немецкие бомбардировщики так и не прилетели, но все время было слышно отдаленную артиллерийскую канонаду. Припомнив свой фронтовой опыт, я решил, что батареи расположены в километрах тридцати от нас, то есть где-то в районе Дона, приближающегося в этом месте довольно близко к Волге.

На восходе мы отплыли от Сталинграда. Волга тут почти

под прямым углом поворачивает к юго-востоку; мы плыли в сторону Астрахани и Каспийского моря. На пароходе стало как-то спокойней после высадки военных. Повара стали больше уделять нам внимания, готовя для нас обеды из наших консервов. Консервами же мы и расплачивались с ними за услуги. С берега снова доносились запахи трав и цветов.

Во время поездки я проводил много времени в обществе профессора Кота, которого судьба и война из ученого сделали дипломатом. Кот страдал бессонницей и обычно по вечерам приглашал нас с Зингером и Ксаверием к себе в каюту поболтать. Беседы наши длились за полночь и помогли мне поближе узнать этого человека.

Еще до войны я много слышал о нем, особенно от профессоров, связанных по работе с Ягелонским университетом. Он был видным историком польской реформаций, принимал участие в так называемом брестском протесте — в протесте общественности против ареста ряда ученых, выступавших против политики правительства. Среди арестованных было несколько известных людей. Арестован был и Винцент Витош, бывший премьер правительства народного единства во время большевистского нашествия в 1920 году, кавалер ордена Белого Орла — высшей польской награды. Кампания протеста имела тогда большой резонанс, особенно в университетских кругах. О нем мне много рассказывал профессор экономики Ягелонского университета Адам Хейдель, занимавшийся его организацией вместе с Котом. В начале тридцатых годов правительство протасило в Сейме новый университетский устав, позволивший министерству просвещения лишить Кота и Хейделя кафедр. Лишились работы и некоторые другие участники протеста. Это, в свою очередь, породило новую волну недовольства в университетах. Так что Кот в моих глазах выглядел политической индивидуальностью, хотя он и представлял отличные от моих политические взгляды.

Пожалуй, поэтому мое общение с Котом будило в памяти воспоминания о противоречиях последних двадцати лет. Но сам он оказался не таким, каким я его представлял. Он

почти не интересовался идеологическими и философскими аспектами политического развития общества, но зато был крайне любопытен к людям. Он подходил к ним с целью создания не как Макс Вебер или Вернер Сомбарт некоего общего типа человека, напротив, Кота интересовал каждый конкретный человек с его проблемами, чаяниями, мыслями. Он любил встречаться с новыми людьми. Позже, в Тегеране, он собирал вокруг себя множество незнакомых ему раньше людей и мог часами с ними разговаривать на самые разные темы.

Основным источником информации в наших беседах в каюте Кота и потом — в Баку был, конечно, Зингер, знавший множество людей и фактов. Он знал даже факты из жизни ватиканского клира, так широк был диапазон его интересов. Мне показалось, что как историк Кот уделял огромное внимание изучению роли и характера отдельных людей, оказавших влияние на ход развития истории и культуры Польши. У нас с ним были общие знакомые, оба мы принадлежали к университетским кругам — все это и помогло нам близко и быстро сойтись.

Кот много расспрашивал меня о роли масонства в виленской жизни во время борьбы за независимость. Я рассказал ему и о своем участии в группе масонов Витольда Абрамовича и об известных мне фактах их деятельности, о своих догадках и прогнозах. Сказал я и что мне кажется, что состав и система польских масонских лож были быстро разгаданы органами НКВД. Так, полковник Вацлав Коц, с которым я сидел после вынесения приговора в одной камере в Бутырках, сказал мне, что после признания в антикоммунистической деятельности следователь спросил его, почему он не говорит о своем участии в масонской ложе. Коц тогда ответил, что его спрашивали об участии в политических организациях, масонская же ложа была организацией культурного характера. Он был осужден трибуналом на смерть, которую в последнюю минуту заменили десятью годами лагерей.

Другой неожиданностью для меня было отсутствие у Кота

интереса к внешней политике. А ведь именно внешняя политика была пунктом раздора между Фронтом Морж, к которому он до войны принадлежал, и Пилсудским. Фронт Морж, в который входили Строньский, Сикорский и Паде-ревский, был сторонником сохранения ситуации, созданной Версальским договором, по которому Польша входила в орбиту Франции. Пилсудский и его сторонники стремились к более гибкой политике, к проведению самостоятельных переговоров с Германией, сохраняя при этом военный союз с Францией. Как бы то ни было, Станислав Мацкевич писал о возможности создания оси Париж — Берлин — Варшава. Бек, после смерти Пилсудского, шел в том же направлении, проводя жесткую политику, основанную на уверенности, что Польша в состоянии защитить свои интересы сама.

Честно сказать, это была политика блефа. Как экономист, занимавшийся экономикой Германии и России, я прекрасно знал, как мы были слабы по отношению к нашим соседям. Ну а сейчас, в силу стечения обстоятельств, мы стали английским сателлитом. Но меня интересовал вопрос, в нашем нынешнем положении имеем ли мы хоть какое-то влияние на формирование послевоенного устройства мира? Особенно меня занимал этот вопрос оттого, что я ехал в Лондон на работу именно в министерство, занимавшееся подготовкой материалов к будущей мирной конференции. Мне представлялось, что в наших интересах было бы сохранение традиционной британской политики *баланса сил* на европейском континенте. И, естественно, меня интересовала точка зрения нашего министерства иностранных дел.

Однако Кот не был склонен говорить на эту тему. Его прежде всего интересовала внутренняя политика, расстановка сил как среди польского подполья, так и среди нашей общественности в эмиграции. От него я много узнал о политической жизни в Польше, не утихнувшей и во время оккупации. А я об этом ничего не знал, ведь в советских лагерях я совсем был изолирован от политики.

Любопытно, что в наших беседах мы совершенно не затрагивали чисто военных проблем или, например, возможного

исхода битвы, отголоски которой мы слышали в Сталинграде. Мы тогда и не знали, что приближаются дни, которым суждено определить будущее России, Польши и всей Европы. Мы уделяли больше внимания не будущему, а делам и людям недавнего прошлого.

Так, за разговорами, мы и не заметили, как приплыли в дельту Волги. Правда, до определенной степени дельта ее начинается сразу за Сталинградом, где река разделяется на два равных рукава. А километров за тридцать до Астрахани Волга распадается на несколько десятков рукавов, самостоятельно впадающих в Каспий. С парохода все это выглядит похожим на огромный разлив со множеством островов среди безбрежной речной глади.

Вместо постоянно сопутствовавшего нам теплого и ласкового ветерка теперь мы почувствовали приходящий из дельты смрад. Этот ужасный запах напомнил слышанный в лагере анекдот, что, дескать, Советский Союз напоминает плывущий по морю корабль: *тошнит, а бежать некуда*. Запах этот шел от консервных фабрик, солящих известную на весь мир русскую икру. В дельте Волги располагался главный центр ее производства. Ну а в процессе ее соления огромные массы рыбьих внутренностей выбрасываются на берег, где они и гниют, наполняя округу зловонием. Сопровождаемые ароматами гниющей рыбы, мы причалили к астраханскому порту.

Некогда Астрахань была столицей одного из татарских каганатов, разбитого Иваном Грозным после победы над Казанским царством. Победа над Астраханским царством принесла Москве власть над всей Волгой. Борьба эта шла двумя этапами: первый совершен Иваном III в XV веке, когда его войсками в битвах с Новгородской республикой была занята Верхняя Волга до Оки. Процесс этот, безусловно, был бы задержан, окажи Ягеллонская династия своевременную помощь Новгороду, входившему тогда в Ганзейский союз. Второй этап был осуществлен в XVI веке Иваном Грозным, занявшим, как я уже писал, Казань и Астрахань. Хотя Грозный и проигрывал в битвах с гениальным венгром

Стефаном Баторием, ему сопутствовала военная удача в боях с татарскими княжествами.

В детстве и юности я часто слышал замечательную песню, ее мелодия и слова выражали и глубину русской души, и ее талантливость. Начиналась она словами:

Волга, Волга, мать родная,

Волга русская река...

В Астрахани мы должны были пересесть с речного парохода на морской. Сам город не произвел на нас сильного впечатления. Смард, хотя и не такой сильный, как в дельте, казалось, пропитал все вокруг. Нас разместили в какой-то второразрядной гостинице, сказав, что пароход на Баку будет только на следующий день. Пользуясь случаем возможности прибегнуть к услугам почты, мы написали и отправили массу писем нашим друзьям, оставшимся в Советском Союзе.

Приехав на следующий день на пристань, мы застали там толпу людей, ожидавших посадки на маленький, обшарпанный пароходик. Мы присоединились к толпе. Минут через тридцать на стоявший тут же помост забрался энкаведешник и стал читать список тех, кому позволено отплыть с этим пароходом. Услышав свою фамилию, нужно было поднять руку.

Толпа, в которой мы стояли, мало чем отличалась от лагерного этапа. Мне показалось странным зрелище, как польский посол, услышав свою фамилию, поднял вверх руку. Я подумал, было ли присоединение нас к толпе частью инструкций высшего руководства или просто — обыкновенным хамством местной администрации? Мне казалось, что в свете всего происшедшего в последние недели, этим жестом Советы лишний раз демонстрировали, как они мало считаются с польским эмиграционным правительством.

Астрахань стоит не на море, а на берегу волжской дельты. Река в этом месте так широка, что невозможно увидеть противоположного берега. Каспий же там очень мелок, и пароходам приходится выходить в море, плывя по узкому форватеру. Каюты на пароходе были неудобными и душными.

Но зато был повар, приготовивший из наших консервов неплохой ужин, с аппетитом съеденный нами в какой-то каюте, предназначенной, видимо, для обедов экипажа. Там стоял узкий стол, а по обеим его сторонам — такие же узкие лавки, на которых мы и расселись в страшной тесноте.

На восходе мы подошли к Дербенту, одному из двух главных городов Дагестана. Дагестан — это автономная республика со столицей Махачкалой, входящая в состав Российской Федерации. Конечно, автономия Дагестана — чистая фикция.

В юности я много слышал о красотах Дагестанской долины. Здесь, еще со времен Петра Великого, началась российская экспансия на Кавказ. Население здесь говорит на тюркских наречиях, исповедует ислам и не любит русских, особенно большевистский их вариант. С самого появления здесь русских не утихала партизанская война, в пятидесятых годах прошлого века, после призыва религиозного лидера Шамиля ко всему мусульманскому миру объявить России священную войну, перешедшая в войну подлинную и открытую. После революции советская историография представляла Шамиля видным борцом против колониализма, при Сталине его стали называть английским и турецким агентом.

Сталин медленно, но неустанно наполнял лагерь горцами, я об этом уже упоминал выше. Но они не стали для меня товарищами: больно у них был крутой и вспыльчивый нрав, особенно — у чеченцев. У меня была с ними даже драка, когда они хотели нас с моим русским товарищем согнать с места на нарах. Это еще один парадокс польской судьбы: поляки и украинцы в советских лагерях и ссылках вынуждены держаться русских — так легче выжить.

Первое впечатление от города было приятным. Я ожидал, что город будет похож на наш Бориславль, в котором я однажды побывал в 1929 году. Но здесь, в Баку, во всяком случае в том районе, где нас поселили, не было запаха нефти. С моря дул легкий бриз, приносивший не только морской воздух, но и доносивший запахи Каракумов. Во

всем — в природе, садах, манерах — ощущалась близость Ирана. Даже на улицах люди выглядели совершенно иначе. Черты лица местного населения были тонкими и очень приятными. Все здесь было удивительно и немного таинственно. Я был на рубежах того самого Востока, который так хотел всегда узнать.

Разместили нас в недавно построенной гостинице Интуриста. Но и здесь были некоторые проблемы: в одних номерах вода в ванной никак не хотела течь из кранов, зато в других она текла так, что не остановишь. Это была типичная проблема советских новостроек, о которых обычно писалось на последних страницах газет. Первые страницы были посвящены описаниям различных достижений и рекордов. Нам сказали, что судов до иранского порта Пехлеви в ближайшие дни не будет, но зато мы могли без ограничения заказывать в гостинице икру и водку, а по запросу администрация может оказать содействие в приобретении билетов в театр и на концерты.

Уже не помню, как долго мы жили в гостинице. Кажется, около недели. Кот попытался наладить контакт с нашими посольствами в Куйбышеве и Тегеране, но телефоны работали отвратительно, а на телеграммы просто не было ответов. В конце концов нам показалось, что мы фактически интернированы в наших номерах люкс. Иначе мы не могли объяснить поведение советских властей. Вечера мы вновь проводили за разговорами в номере посла Кота.

Мы старались как-то занять время вынужденного безделья: я и Ксаверий ходили купаться в море. И здесь, как и у Астрахани, море было мелким. Приходилось пройти около четверти километра по деревянным мосткам, пока дойдешь до киоска, где можно купить билет на право пользования кабинкой для переодевания. Но и здесь глубина была чуть выше пояса. На мостках были устроены лежаки, и на них было довольно много загорающих.

Однажды мое внимание привлекла молодая женщина с двухлетним ребенком на коленях. Была она, что называется, восточная красавица. Да и ребенок с большими черными

глазами был на редкость красив. Я просто не мог оторвать глаз от этой пары.

— Посмотри, какая замечательная модель для художника или фотографа, — сказал я Ксаверию.

В Баку был Дворец музыки, террасами сходящий прямо к морю, на них устраиваются концерты под открытым небом. Как-то мы узнали, что русский пианист, получивший первую премию на международном конкурсе имени Шопена в Варшаве, будет выступать на одной из террас. Ксаверий и я пошли на этот концерт. Ничего подобного я раньше не слышал, это был лучший концерт в моей жизни. Была теплая летняя ночь, кругом царил темнота, и только у фортепиано горели две свечи. Я по своей природе не артистичен, я не смог повторить даже простейшей мелодии. Правда, в детстве родители посылали меня учиться игре на скрипке и фортепиано, но уроки были прерваны Первой мировой войной и никогда больше не возобновились. Но все же музыка делает со мною необыкновенные вещи — я как бы переносусь в иной мир, забывая обо всем на свете. В тот вечер игра русского пианиста перенесла меня в эпоху романтизма, такую далекую от реальности, от шедшей всего в нескольких сотнях километров ужасной войны.

Терраса, на которой проходил концерт, была небольшой, на ней едва могли уместиться несколько сотен человек. Любопытно, что среди публики я не заметил татар и армян, хотя именно эти две народности превалируют в этой части Кавказа. Публика в основном состояла из русских. Было много высших офицеров в сопровождении интеллигентного вида дам. Все мы были очарованы музыкой и мастерством исполнения.

А я, разглядывая при свете месяца окружающих меня людей, вспомнил дореволюционную русскую интеллигенцию, среди которой прошло мое детство.

Сейчас мне вспоминается еще один концерт из произведений Шопена, тоже проходивший в колонии, только на этот раз — в британской, в Сингапуре. На нем тоже доминировали представители британской колониальной администрации,

но все же процент китайцев, малайцев и индусов был выше процента туземцев на концерте в Баку.

На следующий день после концерта Зингер, Ксаверий и я отправились в местный музей, где были хорошо представлены история и этнография Азербайджана и история развития Баку. Сопровождала нас в экскурсии по музею молодая сотрудница, только что закончившая исторический факультет. Она была недурна собой, а на наши вопросы отвечала живо и с юмором.

Я задумался, кто она по национальности. Не похожа ни на русскую, ни на татарку, ни на представительницу кавказских народов. Была она среднего роста, с большими черными глазами, светившимися умом и юмором. В Европе бы ее принимали за южную француженку, в Кракове или Львове — за венгерку. В конце концов я решил, что она армянка. Армения с запада граничит с Азербайджаном. А сами армяне, пожалуй, самая интеллигентная и древняя нация, за исключением, конечно, евреев.

По нашему единодушному решению, лучшим экспонатом музея была наша чичероне, и большинство вопросов было задано единственно, чтобы продлить беседу с ней. Прощаясь, я все же спросил ее, не армянка ли она. Я хотел было добавить, что и у нас в Польше живет довольно большая армянская колония, но она ответила: "Нет. Мы с вами одной национальности". Оказалось, она была внучкой или правнучкой одного из повстанцев, вынужденных после отбытия наказания поселиться на Кавказе*.

Однажды вечером нам сообщили, что на следующий день отплывает пароход, на котором мы сможем добраться до Пехлеви, иранского порта на южном побережье Каспийского моря. Плавание должно занять около суток — судно было таким же маленьким, как и то, на котором мы приплыли в Баку.

*Имеется в виду национальное восстание в Польше 1863 года. После его подавления большинство его руководителей было сослано царским правительством в Сибирь. (Прим. переводчика.)

Каюты были очень душными, а мне особенно не повезло — мое место было на верхней полке. Я почувствовал, что не смогу заснуть в такой духоте, и вышел на палубу. Я удобно расположился на бухтах каких-то канатов. Чуть в стороне от меня на такой же бухте расположилось двое людей. Они разговаривали на непонятном мне языке, может, по-армянски, а может, и на родном языке Сталина — по-грузински. Я сидел, прислушиваясь к звукам их разговора, смешивающегося с шумом бьющихся о борт волн. Я так и заснул, полусидя на канатах.

Проснувшись, я увидел на горизонте проступающие берега Ирана, в свете зари уже можно было рассмотреть очертания Пехлеви. Наш пароход не доплыл до причала каких-нибудь двести метров и встал на рейде. Команда спустила шлюпку, еще одна шлюпка подошла к нам с берега; кто-то о чем-то договаривался, казалось, даже спорил. Мы невооруженным глазом могли видеть все происходящее на причале. Там среди толпы стояли два офицера в тропических шортах, и кто-то даже решил, что это наши приехали из Тегерана встречать посла Кота.

Часа два спустя мы причалили к пирсу и началась разгрузка. Те из нас, кто не имел дипломатических паспортов, направились в помещение таможни. Первое, что бросалось в глаза, — порядок и чистота и развешенные повсеместно портреты молодого шаха.

Иран с 1941 года был под совместной советско-английской оккупацией, оккупанты вынудили шаха Реза Пехлеви отказаться от престола в пользу своего сына, весьма симпатичного, но очень молодого юноши. Реза был одним из выдающихся политиков нашего времени. Свою карьеру он начал хорунжим в отряде персидских казаков под командованием русских инструкторов. В 1917 году он встал во главе движения, боровшегося с русским влиянием на севере Персии. Он быстро дошел до высших воинских чинов и стал министром обороны и премьер-министром. После отречения от престола последнего шаха, представителя династии, правившей Персией с XVII века, он был выбран пар-

ламентом новым шахом и основал новую династию, приняв имя Пехлеви. Между двумя войнами он твердой рукой правил страной, наведя в ней порядок и сдерживая бунтующие горские племена. В экономической сфере он старался развивать местную промышленность, опираясь в основном на германские инвестиции, за что его и считали германофилом. Оккупация Ирана была обусловлена необходимостью создания транспортной магистрали для американских поставок в Советский Союз. Советы оккупировали весь Северный Иран и прежде всего — примыкавший к их границе Иранский Азербайджан. Англичане оккупировали Южный Иран, а Тегеран стал зоной совместной оккупации⁴⁷.

Здесь же, в Пехлеви, выгружались и части генерала Андерса, направлявшиеся в распоряжение английского командования на Ближнем Востоке. Добирались они сюда в основном морем из Красноводска, каспийского порта в Туркмении. Кроме солдат и офицеров, этими транспортами из России эвакуировалось около 25 тысяч членов их семей. Естественно, понятие *родственник*, они старались понимать как можно более широко, прилагая массу усилий, дабы вывезти из Советского Союза всех поляков, кому удалось пробраться в расположение Войска польского. В Пехлеви постепенно образовался лагерь эвакуированного польского населения. Отсюда они перевозились в лагерь под Тегераном, а оттуда — в британские колонии в Индии и Восточной Африке. Основную массу населения этих лагерей составляли пожилые люди и женщины с детьми. Ведь в 1940 году советские власти депортировали из восточных территорий Польши целые семьи, не исключая и восьмидесятилетних стариков. Обычно глава семейства тут же получал срок и отсылался в лагерь, а остальные члены семьи вывозились на поселение куда-нибудь в Казахстан.

Особенно много было среди депортированных жен польских военнослужащих, оказавшихся к тому времени или в немецком плену или в польской армии на Западе. Пережившие ссылки и лагерь, естественно, тянулись в расположение Андерса, где им оказывалась возможная помощь и содейст-

вие. Много среди них было бабулек, которые в жизни своей не показывали носа дальше границ родного повета. А тут были схвачены НКВД, депортированы, с огромным трудом пробрались к Андерсу и в конце концов нашли пристанище где-нибудь в британской Кении или Танганьике. Ближний и Средний Восток стали таким образом местом возрождения новой Польши.

Пока мы, то есть сами недавние узники советских лагерей, улаживали формальности с иранскими властями, Кот и Ксаверий поехали в лагерь польских беженцев. После проверки документов и поверхностного осмотра багажа нас направили в маленький одноэтажный домик, в котором размещалось английское офицерское казино и где нам после возвращения посла должен был быть подан обед. В казино в это время был только один английский военный, майор медицинской службы, индус в огромной чалме. Это была моя первая встреча с представителем британского колониализма, да еще в том районе, который я всегда считал местом соперничества Британии и России. И каким бы не было отношение кавказцев и народов Средней Азии к англичанам, все они в разговорах со мной высказывали надежду, что в результате советско-английского конфликта из-за сфер влияния в регионе их народы обретут независимость. Ну а британский империализм им виделся скорее освободителем, чем поработителем.

После возвращения посла и Ксаверия и после обеда мы узнали, что нам предстоит ехать в Тегеран по только что пробитой в горах дороге, которую еще очень мало использовали. Называлась она "дорогой шаха": шах несколько раз проехал по ней. Эта дорога проходила значительно восточней того пути, по которому шли войска Андерса и эвакуированные польские граждане. Их путь пролегал через город Казви и Тегеран. Части Андерса в основном направлялись на охрану нефтяных месторождений в северной части Ирака, и на своем пути им было никак не миновать столицы Ирана. Ну а эвакуированные сворачивали в Казви, на юго-восток, и двигались к лагерю под Тегераном.

Дорога шаха проходила в долинах Дамавенда — высочайшего горного хребта Ирана, снежные вершины которого видны были из столицы. В одном из дворцов на дороге для нас уже был приготовлен ночлег.

В Тегеран мы отправились на двух автомашинах: на легкой ехал посол, пани Липковска и еще кто-то из Тегерана, а остальные — на грузовике. С нами же ехал и прибывший из Тегерана офицер, имевший при себе массу различных пропусков, что, впрочем, учитывая, что страна была под советской оккупацией, было отнюдь не лишним. В кузове грузовика были устроены скамьи, и ехать было в общем достаточно удобно. В поездке нас ласкал слабый ветерок, попеременно приходивший то с моря, то с Эльбруса, отделявшего нас от Иранского плоскогорья.

Первым большим городом на нашем пути был Пешт, расположенный всего километрах в сорока от Пехлеви. Город этот довольно приятно выглядит, жители его неплохо одеты, и в глаза не бросается та ужасающая нищета, которую я наблюдал несколько лет спустя в Индии. Но главным отличием от СССР все же было отсутствие страха на лицах людей, так характерного всем в Советском Союзе. Иранская администрация нормально исполняла свои функции, и я ничего не слышал о депортациях населения, как это было в наших восточных землях и в Прибалтике. Видимо, поведение советских оккупационных властей здесь регулировалось какими-то договоренностями с Англией. Ну и кроме того, здесь не было и следа столь обычной в сталинской России извечной спешки.

От Пешта мы поехали на восток. Вокруг зеленели сады и поля, и я в первый раз в жизни увидел рисовые чеки. Ехали мы довольно долго, мне показалось, что мы заехали в предгорья — дорога стала виться по холмам. К месту ночлега мы приехали уже после захода солнца, и в темноте трудно было рассмотреть дворец. Но когда после ужина лакей в ливрее проводил меня в мою комнату, я был просто поражен роскошью ее обстановки. Особенно мне запомнилась ванна, сделанная из розового мрамора, впрочем, мо-

жет, это был и не мрамор. Но все равно, помыться после жаркой и пыльной дороги было огромным удовольствием. Я даже не удержался от повторения этого удовольствия на следующее утро. В самом деле, для человека, еще полгода назад бывшего в советском лагере, ванна была просто верхом роскоши.

Выглянув в окно, я был несказанно удивлен. Вчера вечером я был совершенно уверен, что дворец расположен в горах, а сейчас увидел зеленоватую гладь Каспия. Я вышел прогуляться в парк, спускающийся прямо к морю, но насладиться его красотами не удалось — завтрак был уже накрыт.

Завтрак был приготовлен в английском стиле и сервирован на большом круглом столе в одном из залов. После столь замечательно проведенной ночи у всех было чудесное настроение, и мы много шутили за столом. Зингер, прекрасно знавший историю русской революции, стал нам что-то рассказывать из жизни Ленина, называя его *дедом народов*. Этот титул происходил из титула Сталина — *отец народов*, и, следовательно, Ленин должен был быть дедом народов.

Слушая его рассказы, Кот шутливо обратился ко мне: "У вас там, в Вильно, ведь тоже был свой дед". Он имел в виду прозвище, данное легионерами Первой бригады Пилсудскому. На это я ответил, что наш дед не оставил, к сожалению, никого, кто мог бы получить имя отца. Ксаверий поддержал мою отповедь и даже начал ее развивать. В разговор вступил Зингер, и даже пани Липковска не удержалась и призналась в своих симпатиях к Пилсудскому. Оказалось, что Кот, бывший ярым противником групп, приведенных Пилсудским к власти после переворота 1926 года, взял с собой в дорогу их искренних почитателей.

В эту минуту вошел лакей и сообщил, что из Тегерана прибыл курьер с крайне важной депешей. Кот встал и вышел к курьеру. Беззаботное наше настроение сняло как рукой. Тень беспокойства пробежала по лицам присутствующих, и мы в молчании закончили завтрак.

После завтрака я вновь вышел в парк — отъезд был назначен только после обеда, и я хотел искупаться на прощание в море. Но скоро я понял, что близость его была только кажущейся и идти до него надо было около четырех километров. Ну а обратный подъем в гору, под лучами палящего солнца, был просто выше моих сил. Я вернулся во дворец. Навстречу мне попала Тереза Липковска, сказавшая, что почта принесла трагическое известие: сразу же после отъезда посла советские власти начали ликвидировать представительства посольства в различных районах страны, реквизируют присланные из Америки склады медикаментов и продовольствия, предназначавшиеся польским депортированным, и даже были проведены аресты среди работников наших представительств. Большинство наших сотрудников не имели статуса дипломатической неприкосновенности, кроме нескольких человек, прибывших из Лондона в 1941 году, да и то, почти все они были уже смены на своих постах бывшими советскими заключенными, и аресты среди них было проводить достаточно просто и безопасно.

Я уже писал, что Кот собирал в посольстве лучших представителей польской интеллигенции, а тех, кто обладал административными способностями, направлял на работу в представительства на местах. Теперь эти люди вновь попали в советские тюрьмы. Тень Эрлиха и Альтера вновь появилась над нашим посольством. Кот был просто потрясен, по словам Липковской, пришедшими из Куйбышева известиями. Он считал создание системы социальной помощи соотечественникам своей главной заслугой, сейчас его детище было нещадно разрушено.

Вся история с задержкой нашего отправления из Баку стала для меня совершенно ясной: советские власти давно уже приготовили план ограничения нашей деятельности и реквизиции наших складов. Для выполнения этого плана, что, кстати, было облегчено делом Роль-Янецкого, был выбран тот момент, когда посол будет в отъезде. Ведь было легче иметь дело с *исполняющим обязанности*, чем с самим

послом. До приезда нового посла его функции выполнял Ченрик Сокольников, бывший посол в Финляндии, работник МИДа с большим стажем, но, по общему мнению, человек по своему характеру пассивный. Сколько мне известно, он направил Наркоминделу категорический протест против этого очередного нарушения польско-советского договора 1941 года, а мог ли он сделать что-то большее, о том я судить не могу.

Можно, конечно, было апеллировать к заграничной общественности. Было это еще до Сталинградской битвы и до развертывания американских поставок, в которых Советы так были заинтересованы, так что они бы с международной реакцией посчитались, особенно с реакцией американской. В такой ситуации прямой обязанностью пресс-атташе было информировать иностранных корреспондентов обо всем происходящем, но наш атташе был где-то между Куйбышевым и Тегераном. Ну и все дипломатические шаги, естественно, запоздали — посол еще долго не мог ни с кем встретиться и объяснить ситуацию. Именно этим и объяснялась наша задержка в Баку. Наши предчувствия оказались безошибочны: мы действительно там были интернированы, только не в лагере, а в гостиничном номере-люкс. Но суть от этого не изменилась, Кот был оторван от внешнего мира, а все его шаги — блокированы.

Сейчас, в 1974 году, когда я пишу эти строки в Канаде, я не располагаю списком арестованных работников польских представительств. Тогда, в Тегеране, нам сообщили, что все они были отправлены в лагерь. Знаю только, что очень небольшая их часть была впоследствии освобождена, остальные пропали без вести, очевидно, они были расстреляны. То есть здесь мы стоим у новой, малой Катыни.

Название Катынь в этом контексте не только географический термин, но и символ тех групповых варварских расстрелов, что проводились НКВД. Ну а в то время, в августе 1942 года, название Катынь нам еще не было известно, хотя я и мог на карте примерно обозначить район вы-

грузки этапов польских военнопленных. Но мы все еще не знали правды.

Другим не менее важным вопросом, о котором в то время в окружении Кота предпочитали говорить вполголоса, был вопрос о новом командующем польскими вооруженными силами. Дело в том, что корпус генерала Андерса должен был объединиться с уже находившимися на Ближнем Востоке нашими подразделениями, и прежде всего — с Карпатской бригадой. И естественно, вставал вопрос о командующем этими объединенными силами. Причем вопрос этот был не только чисто военным, но и политическим. Новый командующий из-за коммуникационных трудностей сношения с Лондоном должен был быть и политиком, способным самостоятельно принимать решения. Как, например, это сделал Андерс, решивший в отсутствие Черчилля вывести свой корпус из Советского Союза. Скорее всего, кандидатурой Сикорского был генерал Зайонц, Кот же был на стороне Андерса.

Около полудня нам подали легкий ленч, который мы съели в полной тишине. Сразу же после ленча мы тронулись в путь. На этот раз дорога действительно шла в горах, петляя между скал. В дороге нас остановил советский патруль. Ехавший с нами поручик показал им пропуска, несколько красноармейцев забралось в кузов нашего грузовика, осмотрели его и разрешили ехать дальше. И мы еще раз убедились, что все еще находимся в советских руках. На заходе солнца мы остановились на ночлег где-то в горах, в полузаброшенном доме.

На следующее утро мы снова двинулись в путь, теперь дорога шла под гору. Вокруг нас были замечательные пейзажи, сравнимые разве с пейзажами, виденными мною спустя несколько лет во время путешествия по Кашмиру. Становилось все холоднее, по обеим сторонам дороги лежал снег — мы ехали на высоте трех тысяч метров над уровнем моря.

В глаза бросалось резкое различие Северного и Южного Приэльбрусья. Северная его часть была богата зеленью, южная же часть выглядела понуро и голо. В сумерки мы въехали на Иранское плоскогорье — что-то среднее между

пустыней и степью. Там мы увидели стаю волков, бегущую в каких-нибудь 150 метрах от дороги. Но это оказались не волки, а шакалы, и присутствие их говорило о близости поселений.

Скоро вдаль показались огни Тегерана. В городе не было затемнения, и меня поразило обилие световых реклам, я уж и забыл за последние три года об их существовании. Казалось, мы въезжаем в огромный и современный город. Через несколько минут мы уже подъехали к воротам нашего посольства. Нас встретил секретарь посольства Михал Тышкевич, я знал его еще до войны, он тоже прошел через советские лагеря. Я сказал ему о моем впечатлении от города. Он ответил, что и сам не может понять, что ему Тегеран больше напоминает — Париж или Вильно.

Моя дорога от зловещего Катынского леса к свободе закончилась.

ГЛАВА VII

РАПОРТ О ПРОПАВШИХ ОФИЦЕРАХ

В Тегеране Кот поселился в посольстве. Это была обширная вилла с большим садом, в котором располагалось еще два здания. Мы же разместились в гостиницах. И хотя мы с Ксаверием расположились в гостинице далеко не первого класса, была она очень милой и уютной. Наша гостиница была построена в форме четырехугольника с садом и рестораном в его центре. В комнатах были балконы, выходящие в сад, а еда была просто замечательной.

Примерно через неделю, благодаря помощи моего старинного приятеля по вилленскому университету, я переехал в армянский дом, где снял одну из комнат. Дом был с садом и фонтаном, окна комнаты выходили на фонтан и были сделаны таким образом, что жаркое полуденное солнце никогда не попадало внутрь и в жаркие дни в ней было можно отдохнуть в относительной прохладе.

Минутах в десяти ходьбы от моего дома был католический костел, служба в нем велась на французском языке. Еще ближе располагался закрытый пансион для девиц из аристократических иранских семей. Обучение там тоже велось по-французски. При пансионе существовала часовня, где ежедневно, в четверть седьмого утра, служили католическую утреню. По утрам в пансионе разливался чудесный запах кофе, приготовленного для ксандза. Когда я возвращался домой после службы, молодой армянин приносил мне чайник с кипящей водой, сыр и масло. Только прошедший то, что прошел я в СССР, и видевший то, что видел я, может оценить всю прелесть свободной молитвы и свободной жизни.

В Тегеране также был пункт регистрации военнообязанных польских граждан, которые по тем или иным причинам еще не были в армии. Ну а поскольку я приехал туда в качестве гражданского лица, я посчитал своим долгом зарегистрироваться в этом пункте. Меня поразила царившая в конторе атмосфера довоенного польского бюро, ощущение было такое, что я где-то в Лиде или в Новгородке. В бюро было мало мебели, несколько сержантов что-то писали, сидя за столами, еще один — печатал на машинке. Посетителей было мало: несколько поляков, которым удалось вырваться из Союза, и несколько польских евреев, давно уже живущих в Иране.

Мною занялся какой-то майор, типичный армейский бюрократ, расспросил меня о звании, прохождении службы, отличиях и наградах, а под конец спросил об образовании. Он так и спросил: "У вас есть образование?" Я ответил, что до войны был профессором.

— Я не спрашиваю, кем вы были, я спрашиваю, есть ли у вас аттестат о среднем образовании, — несколько нервно повторил майор.

Я на минуту замешкался, но потом, чтобы не создавать лишних трудностей, ответил утвердительно. Но это было не совсем точно. Дело в том, что я никогда не кончал польской школы, и в виленский университет я был принят на основании факта моей учебы в Московском университете в 1917 — 18 годах. В то время в польских университетах существовал обычай принимать таких, как я, при условии сдачи ими в течение года экзамена по польской истории и литературе. Ну а мне такого условия не поставили, следовательно, я и не мог утверждать о наличии у меня аттестата.

Вернувшись в посольство, я рассказал Коту и Ксаверию о своих сомнениях, имею ли я достаточно образования для офицерского чина. После, сидя на балконе, я вернулся в мыслях на двадцать лет назад, в 1919 год, когда я подавал заявление о зачислении меня студентом в возрожденный виленский университет.

Осенью девятнадцатого года я служил волонтером в артиллерийской батарее, принимавшей активное участие в обороне в районе Двины. От частой стрельбы у одной из наших пушек разорвало ствол, и командир батареи послал меня в Вильно в артиллерийские мастерские отремонтировать орудие. После оформления ремонта я вышел на улицу. Вильно в то время было счастливым и радостным местом, война с большевиками, казалось, идет где-то в другой части света, здесь же было тихо и спокойно. В газете я прочел о начале набора в университет и решил подать свои документы. В приемной комиссии мне сказали, что я должен обратиться к декану юридического факультета, его кабинет был в одном из крыльев здания. Позже тут разместилась семинария.

Перед кабинетом стояла очередь: несколько девушек, мужчины более чем солидного возраста, и несколько юнцов явно семитского типа. Молодежи не было — все они были в армии. Виленские же евреи заняли в битвах, проходивших в то время, нейтральную позицию и вполне могли отдалиться от учебы.

Тогда было правило, что военные могли проходить без очереди. Ну я и прошел в кабинет первым: на моих плечах, как свидетельство о военной службе, висел австрийский карабин. Впрочем, никто и не возражал. За небольшим столом сидел брюнет среднего роста, более похожий на француза или итальянца, чем на жителя Вильно. Я сказал, что в городе пробуду всего несколько часов, потом должен вернуться на фронт, но хотел бы перед отъездом подать документы о приеме в университет на факультет права и общественных наук. Он попросил мои документы. Я поставил в угол свой карабин, расстегнул мундир и снял с шеи небольшую ладанку с документами. Там у меня было свидетельство об окончании реального училища в Орле, свидетельство о сдаче мною экзаменов, подписанное попечителем Московского округа, и свидетельство о моей учебе в 1917 — 18 годах в Московском университете.

Брюнет все это посмотрел, сказал, что все мои докумен-

ты в порядке, и сообщил, что я принят. Он пожал мне руку, а я почувствовал, что это, без сомнения, важное событие в моей жизни.

И только выйдя из кабинета, я узнал, что этот брюнет — заместитель декана факультета, профессор Владислав Завадский, один из пионеров математической экономики. Позже, посещая занятия, я стал одним из поклонников профессора. Ну а после окончания университета в 1924 году я остался ассистентом при его кафедре. В начале тридцатых годов профессор получил портфель министра имуществ, а я — занял его пост в университете и читал лекции по его предмету, получив степень доцента кафедры. В начале 1939 года я произнес от имени университета речь над его гробом во время гражданской панихиды.

Но почему, разглядывая мои документы, профессор Завадский не поставил мне обычных условий по сдаче экзаменов по полонистике? Может, просто забыл, а может, сделал так и умышленно. Вообще-то, эти условия ставились выборочно. Ну а к явившемуся с фронта можно было подойти и более благосклонно, чем к другим. И я стал припоминать наших волонтеров-интеллигентов. Это были замечательные люди. Да и в этой войне наша армия в основном опиралась именно на добровольцев-интеллигентов.

В 1918 — 20 годах на университетских собраниях было решено, что служба в армии — обязанность каждого польского студента, но а не выполнившие своего долга считались исключенными из академического сообщества.

Конечно, далеко не все могли приспособиться к службе рядовым. Родился даже анекдот об интеллигенте в армии. Ситуация была прелюбопытнейшая: сформировалась армия, в которой большинство офицерского корпуса были бывшими офицерами русской или австрийской армии и не всегда имели достаточное образование, а рядовой и сержантский состав почти полностью состоял из студентов и бывших студентов, горевших желанием возродить Польшу. И если в то время, когда вся Центральная и Восточная Европа была погружена в хаос, Польша была единственным оплотом поряд-

ка, то это было во многом благодаря нашим интеллигентам, пошедшим служить в армию. И это была та армия, которая сломала хребет большевистским войскам, шедшим покорять Европу.

После войны многих бывших добровольцев зачислили в подпоручики запаса, а во время мобилизации 1939 года большая их часть была призвана в первый же день и направлена частью на фронт, частью — исполнять различные административные функции в тылу. Много их оказалось и в Козельске. НКВД старался получить полные сведения о каждом из пленных и, конечно же, узнал и об их добровольном участии в польско-советской войне. Видимо, таковой была инструкция. Во всяком случае, вопрос об участии в кампании 1920 года был одним из первых, задаваемых нам. Некоторые отрицали свою службу в то время, но едва ли им верили. НКВД был просто убежден, что все пожилые поручики и подпоручики — бывшие добровольцы двадцатого года. Повлияла ли эта уверенность на судьбу наших пленных? На этот вопрос трудно ответить.

Тогда, в Тегеране, мир еще не знал правды о Катыни. Сейчас же я склоняюсь к мысли, что Катынь была своего рода реваншем за 1920 год. Тогда большевистские отряды шли на Европу, Ленин был уверен, после поражения Польши вспыхнут революции в Чехословакии, Германии и Франции. Наша стойкость под Варшавой и у Немана задержала их марш на двадцать лет.

Это был подвиг армии, один на один боровшейся со своим гигантским соседом. Сейчас ни для кого не секрет, что своими победами в Европе в 1945 году Советский Союз во многом обязан Западу, и Рузвельт, и Эйзенхауэр несут за это ответственность. Но и еще в 1920 году Запад был в общем, готов к самоубийству: не только Ллойд Джордж, но и Эрнст Бевин — тогдашний лидер профсоюзного движения — были против нас, выступали против нашей борьбы с большевиками. Более того, английские докеры отказывались грузить транспорты с оружием для нас, а чехи — пропускать эти транспорты через свою территорию. При наших штабах

было несколько французских генералов, но помощи от них не было никакой — они имели опыт позиционной войны и были совершенными профанами в войне мобильной. Но мы тогда все же победили. И вот теперь у Катыви и где-то в районе Харькова Советы отплатили нам, расстреляв пленных офицеров.

Через несколько дней после нашего приезда в Тегеран Кот пригласил меня в посольство и в ходе беседы предложил написать подробную записку о судьбе пропавших офицерских лагерей. Он попросил меня не только изложить известные мне факты, но и описать действия и роль посольства в розыске пленных. Дело в том, что в армии Андерса было много нареканий на деятельность нашего посольства, не сумевшего-де добиться от большевиков ни информации о пленных, ни их освобождения. А среди гражданской эмиграции все это дело воспринималось как еще одно подтверждение политической некомпетентности кабинета Сикорского. Кроме того, следует помнить, что именно несогласие с политической линией Сикорского вынудило генерала Соснковского, самого влиятельного из соратников Пилсудского, и бывшего министра иностранных дел Августа Залеского уйти в отставку.

Кот сказал, что ему удалось вывезти из России ряд документов о деятельности посольства по освобождению и розыску пленных офицеров и что при написании своего доклада я могу ими пользоваться. Кот намеревался отправить мой доклад в Лондон и Вашингтон, нашему послу Чехановскому, дабы тот использовал его в нашей пропаганде.

После этого разговора с послом я провел несколько дней в посольстве. Я устроил себе на балконе нечто вроде кабинета и там изучал содержание папок с документами. Документы эти касались не только судьбы пленных, но и вообще вопросов выполнения польско-советского договора 1941 года. Около полудня я обычно делал небольшой перерыв и, наняв конные дрожки, отправлялся в открытый бассейн. После этого я обедал и возвращался к работе.

Однажды, когда я сидел погруженный в чтение докумен-

тов, к посольству подъехал автомобиль. Из него вышел наш посол в Иране Карол Бадер, видимо возвращавшийся с какого-то официального приема. Выглядел он, как всегда, очень солидно и представительно. Он поднял голову и увидел сушащиеся на перилах балкона мое полотенце и плавки. По выражению его лица я понял, это не самая лучшая декорация для главного входа в посольство. С тех пор я старался сушить их где-нибудь подальше от людских глаз.

Предоставленные мне послом Котом папки содержали в основном ноты посольства Наркоминделу, записи бесед Сикорского со Сталиным, Молотовым и Вышинским, нота нашего лондонского правительства послу Богомолу и рапорты ротмистра Чапского, ездившего по поручению Сикорского на встречу с высшим руководством НКВД в надежде найти хоть какие-то следы пропавших офицеров. Было в документах и упоминание обо мне, оно содержалось в ноте одного из руководителей нашего МИДа Казтана Моравского советскому послу в Лондоне.

Я не собираюсь сейчас излагать содержание документов: все они были после войны опубликованы нашими эмигрантскими властями и известны каждому, кто интересуется Катынью. Но тогда, в конце лета 1942 года, содержание этих документов помогло мне многое понять и увидеть масштабы колоссальной работы, проделанной нашим посольством и правительством по розыску пленных. Человек, несомый бурным потоком, едва ли сможет оценить размеры реки и силу течения, для этого надо выбраться на берег. Таким берегом для меня стали папки с документами посольства.

Характерно, что стандартным ответом советских руководителей на вопрос о судьбе пленных было заявление, что, дескать, все пленные, как и все остальные поляки, находившиеся в заключении, были освобождены. И если не все из них явились в расположение формирующейся польской армии, то советское правительство не может нести за это ответственности.

Это заявление некоторым образом соответствовало действительности. В самом деле, в Среднюю Азию, в расположе-

ние генерала Андерса, явилось некоторое количество бывших узников козельского, старобельского и осташковского лагерей. Но тут есть и еще один момент. Дело все в том, что, например, в Козельске, был не один лагерь, а несколько:

1. В октябре 1939 года там размещался лагерь для рядового состава, часть которых впоследствии освободили, а часть вывезли на различные работы;

2. В начале ноября 1939 года туда же привезли около 4200 офицеров, младших офицеров и гражданских лиц, которые пробывали в лагере до апреля — мая 1940 года;

3. После ликвидации этого лагеря летом 1940 года сюда вновь было привезено около тысячи офицеров и подхорунжих, захваченных в Литве. Все они вскоре были переведены в лагерь в Грязовце, под Вологдой, где уже было около 3 процентов бывших узников Козельска, Старобельска и Осташкова, переведенных туда в июне 1940 года.

Кроме того, к Андерсу пришло несколько офицеров, бывших в офицерском лагере во второй период его существования. Причем ни один из них не был в Грязовце. Все они были в индивидуальном порядке вывезены из Козельска, судимы, отбывали наказание и были освобождены по так называемой польской амнистии 1941 года. В то же время к Андерсу или в посольство не явился ни один из тех пленных, которых регулярно по 300 — 400 человек вывозили из Козельска в апреле — мае 1940 года.

Так же обстояло дело и с осташковским лагерем. Что стало с лагерем в Осташково, где было около шести с половиной тысяч пленных жандармов, полицейских и пограничников, совершенно неясно. И наиболее всего и посольство, и генерала Андерса занимала судьба тех офицеров, которых вывезли "нормальными" этапами. Тем паче, что их число составляло примерно 95 процентов от общего числа военнопленных. Но даже направление движения этапов было трудно узнать. Считалось, что они вывезены на восток. Примерная цифра отправленных с ними пленных (не включая осташковского лагеря) составляла около восьми тысяч офи-

церов. Но самым настораживающим зимой 1941 — 42 годов было не то, что никто из этих офицеров не объявился, а то, что советские власти упорно отказывались говорить об их судьбе.

В России достаточно лагерей, транспорты из которых возможны только во время летней навигации: это и лагеря на Иртыше, Оби, Енисее, Лене, Колыме. В Сибири много лагерей, удаленных от Транссибирской магистрали на несколько тысяч километров (Норильск, Дудинка, Игарка). Да и с Колымы транспорт возможен только в период короткой навигации в Охотском море. Сикорский в своих беседах со Сталиным и Кот в беседах с Вышинским выдвигали предположение, что пленные могут находиться в районе Северной Сибири, но ответ был один: там ни одного из офицеров нет. Тогда где же они?

Мы знали, что Советы располагали точными списками пленных и точными списками каждого этапа, ведь все они были спланированы и проведены централизованно. Выше я уже писал, что комендатура козельского лагеря заблаговременно получала из Москвы списки каждого из этапов. Значит, НКВД должен иметь в своих архивах точные сведения о составе, числе, направлении и судьбе каждого этапа. В этом смысле отказ советских властей дать какую-либо информацию о направлении движения этапов был просто непонятен. В этом отказе была какая-то таинственность.

И только после прочтения документов я понял, в чем была важность моего дела и почему Отто Пэр с такой осторожностью и кропотливостью организовал мою поездку в Куйбышев. Узнав, где я нахожусь, польское посольство фактически нашло единственного из восьми тысяч пропавших офицеров и, естественно, всеми силами старалось заполучить меня и узнать от меня о судьбе остальных пленных. Кроме того, мое пребывание в лагере опровергло утверждение Сталина, что все пленные освобождены. Естественным был и тот напор, с которым наше министерство иностранных дел в Лондоне добивалось моего освобождения. Этому были

посвящены ноты Казтана Моравского и нашего посла в Вашингтоне Едварда Рачиньского советскому послу Богомолу-ву. Тут надо оговориться, что после отставки Августа Залеского у нас долгое время не было министра иностранных дел и его функции исполнял посол Рачиньский. Кстати, это был единственный случай, когда наш МИД направлял Советам ноту о судьбе одного из пленных кампаний 1939 года. Я имею в виду, что нота целиком была посвящена моему делу и не касалась других пленных. Ну а поскольку польские власти располагали исчерпывающей информацией о моем месте пребывания, Советам не оставалось ничего иного, как освободить меня.

От меня посольство узнало, что, вопреки общему мнению, этапы, или, во всяком случае, часть их, покидавшая Козельск в апреле 1940 года, шли не на восток или на север, а на запад в направлении Смоленска, и разгружались они в нескольких километрах от города. Сразу же после этого Армии Краевой было поручено опросить местных жителей и железнодорожников и постараться отыскать следы пленных. Однако из документов следовало, что мои сообщения внесли мало ясности в дело.

Первыми, кто узнал о катынских могилах, были поляки, мобилизованные на работы в армии Тодта*; они даже установили на месте захоронений крест. Немецкая разведка заинтересовалась этим делом: ведь ей было известно, что польское командование недосчитывается примерно пятнадцати тысяч офицеров.

Особое внимание Кот просил меня уделить спискам про-

*Организация (армия) Тодта — организация, сходная по своим функциям и характеру с трудовыми армиями времен гражданской войны и с Трудовыми резервами, созданными в начале Великой Отечественной войны. В Тодт входили как немцы, освобожденные от службы в армии по состоянию здоровья, так и жители оккупированных территорий. Тодт занимался строительством дорог, зданий, заводов, расчисткой разрушенных во время бомбежек районов и т. п. Немалая заслуга в создании широко известных автобанов — скоростных шоссе — также принадлежит Тодту. (Прим. переводчика.)

павших офицеров. И до этого Кот просил армейские власти предоставить ему поименный список пропавших с указанием их должности и чина. Он неоднократно обращался с этим вопросом к начальнику польской военной миссии в СССР полковнику Окулицкому. Но написание таких списков было делом нелегким: польское армейское командование в Советском Союзе не располагало списками фронтовых частей и уж тем более не имело списков персонала эвакуированных на восток госпиталей. Единственным источником подобной информации могли служить показания тех, кто прошел через Козельск, Осташков и Старобельск, оказавшись в конце концов в Грязовце. Но и в этом случае было достаточно легко составить список высших офицеров, что же касалось младшего командного состава, то здесь дело было значительно сложнее.

Бывшие узники обычно помнили только имена своих соседей по нарам и приятелей, помнили они и фамилии некоторых других пленных, а вот их имена и звания почти всегда забывались. И все же, несмотря на все эти трудности, армейским властям удалось составить список из четырех тысяч имен, который Сикорский передал Сталину во время их встречи в декабре 1941 года. Ну а полный список пропавших и погибших офицеров так никогда и не был составлен.

Огромная заслуга в деле идентификации погибших от рук сталинских палачей польских офицеров принадлежит майору Адаму Мошиньскому, издавшему в 1948 году книгу под названием "Катынские списки", в которой содержится около десяти тысяч имен*. Я написал рецензию на эту книгу, и она под псевдонимом Ежи Лебедевский была опубликована в журнале "Культура"**. Но, насколько мне известно, никто никогда не составлял списков пропавших из осташковского

*Lista Katynska: Jency obozow Kozielsk — Starobielsk — Ostaszkw zagineni v Rosji Soweckej. Gryf Publications. London, 1949.

**"Kultura", 1949, т. 2/28 — 3/29.

лагеря полицейских, а их число превышало пять тысяч человек.

Ну а тогда, в августе 1942 года, Кот хотел так представить дело, чтобы ни у оппозиции, ни у будущих историков не было и тени сомнения, посольство сделало все, что было в человеческих силах, дабы добиться освобождения всех польских военнопленных. И документы, предоставленные мне, полностью подтверждали это.

Читая материалы посольства, я был крайне удивлен фактом, что среди присоединившихся к армии Андерса офицеров было много таких, которые проводили враждебную Советскому Союзу деятельность в разведке, либо были связаны с антикоммунистической политической деятельностью, либо участвовали в подпольных организациях в 1939 — 40 годах на оккупированных Советами польских землях. И как мне показалось, такого сорта людей было довольно мало среди расстрелянных пленных.

Правда, факт этот не был для меня новостью. С самого освобождения из лагеря в мае 1942 года я постоянно узнавал, что тот или иной участник антикоммунистического движения освобожден и служит у Андерса. В качестве примера могу привести майора, позднее — подполковника, Владислава Каминского, бывшего в Первую мировую войну легионером. После войны он закончил отделение права виленского университета, занимал пост председателя Союза резервистов, был выбран в Сенат от Виленского округа, а во время советской оккупации был заместителем коменданта Виленского округа Союза вооруженной борьбы (ZWZ). Сейчас же он командовал батальоном в корпусе наших войск в Средней Азии и высоко ценился как способный командир. Или подполковник Винцент Бонкевич, бывший начальник отдела Генерального штаба, занимавшийся разведкой в СССР; сейчас он был начальником Второго отдела в штабе Андерса. Еще одним таким человеком был мой знакомый по лагерю поручик Адам Тельман, приехавший как-то из Средней Азии в посольство. Он был адъютантом комендатуры Союза вооруженной борьбы во Львове, а сейчас служил в штабе у

Андерса. Полковник Любоджецкий был вывезен из козельского лагеря как особо опасный для советской власти "элемент", теперь он продолжал свою службу в юридическом отделе нашего корпуса.

Я даже не мог вспомнить среди погибших узников Козельска и Старобельска людей, так или иначе участвовавших в антисоветской деятельности. Но с другой стороны, ни одного из моих знакомых, так досаждавших мне в сентябре тридцать девятого года своими просоветскими высказываниями, я тоже не нашел в живых. Но и те из моих знакомых, кто не был настроен просоветски — подполковник Новосельский, капитан Павловский, капитан Ковшик, поручик Селецкий, — но и не имел за собой каких-либо действий против коммунистов, тоже так и не вышли на свободу из советских лагерей и никогда не присоединились к корпусу Андерса.

Дело представлялось мне таким образом, что советские власти, тщательно изучив каждого из пленных, разделили их на две группы: на тех, против кого можно выдвинуть обвинение в разведывательной или политической деятельности против СССР, и на тех, кто имел хорошую профессиональную квалификацию и никак не "насолил" Советскому Союзу. Большую часть пленных, подпадавших под первую категорию, вывезли из лагерей в индивидуальном порядке с целью предать их суду. Когда же в июле 1941 года был подписан советско-польский договор, они, что называется оказались под рукой, так как были в лагерях и тюрьмах. Их и освободили прежде всего.

Офицерский корпус армии Андерса состоял из двух групп. Во-первых, это были офицеры из лагеря в Грязовце, а во-вторых — освобожденные из советских лагерей и ссылок поляки, захваченные Советами как гражданские лица во время чисток на оккупированной польской территории, но имевшие офицерское звание. Многие из этих последних уже не были в состоянии нормально исполнять свои обязанности, но и нельзя было им отказать — служба у Андерса была для них единственным шансом выжить. В этой ситуации перед гене-

ралом Андерсом стояла нелегкая задача объединить всю эту разнородную массу людей в единый, полноценный и действующий армейский организм.

В Козельске же и в Старобельске были практически готовые к несению службы офицеры, обладавшие достаточным опытом и знаниями. Например, среди офицеров нашей Девятнадцатой пехотной дивизии все знали свое место и функции, и нам было бы довольно легко сформировать новое подразделение. То же самое можно сказать и о других группах пленных. Так, кавалеристы, с которыми я жил в одном бараке, представляли собой просто гармоничный и готовый к действию отряд.

Во время осенних событий 1939 года советские войска захватили много польских полевых госпиталей, персонал которых также был интернирован. Например, в Козельске было около трех сотен пленных военврачей. Эти кадры также легко могли быть приведены в действие, при условии предоставления им необходимого оборудования, что было совсем не трудно сделать за счет западных поставок. Причем эти госпитали могли бы быть полезны не только для польских подразделений, но и для самих русских. В английских частях на Ближнем Востоке ощущалась явная нехватка медицинского персонала, и мы могли бы заинтересовать и их в освобождении наших пленных военврачей.

Но что же случилось со всей этой огромной массой военных специалистов? Летом 1942 года в Куйбышеве многие считали, что их уже нет в живых. Посольство и генерал Андерс все еще надеялись, что, вопреки уверениям Сталина, они находятся где-нибудь в советских лагерях. Предположение об их убийстве после восьмимесячного довольно хорошего обращения в Козельске и Старобельске просто не приходило в голову ни мне, ни моим собеседникам. Ну и кроме того, мы знали, что в Грязовце отношение к нашим пленным было даже лучшим, чем до того. Да и мои собственные впечатления о советских тюрьмах и лагерях были все же несколько лучше, чем я представлял их себе до войны. Выйдя в апреле 1942 года на свободу, я думал, что,

несмотря на все ужасы виденного мною, в НКВД все-таки бывает некоторое уважение к человеческой жизни.

И я все еще помнил о проводившихся в Козельске перед началом ликвидации лагеря прививках против тифа и холеры. Делались они серьезно, через неделю после первой прививки вызывали на вторую, которая уже должна была дать полную гарантию от заражения. Ну разве имело смысл делать прививки обреченным на смерть людям? И уж совсем напрочь я исключал возможность расстрела пленных в апреле — мае 1940 года, всего месяц спустя после прививок. Хотя меня и настораживала виденная мною из вагона усиленная охрана этапов.

Существовало тогда предположение, что 90 процентов этапов, отправленных на Восток и в Сибирь, могли погибнуть. И это предположение не лишено было правдоподобия. Нашлись даже "свидетели" катастрофы, видимо, подосланные НКВД. Они-де видели отправку кораблей с пленными и слышали, что корабли эти затонули. Во всяком случае, в предоставленных мне Котом папках было несколько показаний таких "свидетелей".

Мое же сообщение, что этапы отправлялись на запад и разгружались в нескольких километрах от Смоленска, было в явном противоречии с этими сведениями. Во всяком случае, в отношении козельского лагеря. И особенно странным выглядело то, что никто из советских властей ни разу не упомянул об этих эшелонах, хотя и Сикорский, и посольство, и командование польского корпуса в СССР настойчиво добивались от них сведений о пленных и их судьбе. Удивило меня и отсутствие в папках моего сообщения о разгрузке эшелонов под Смоленском. Видимо, оно потерялось среди бумаг посольства.

К сожалению, у меня не осталось копии моего рапорта. Но его можно найти в архивах, оставшихся в Лондоне и в архивах посла Чехановского в Вашингтоне. В рапорте я был крайне осторожен в выводах. Хотя и высказал предположение, что часть пленных могла быть уничтожена НКВД. И тем не менее я не утверждал этого, напротив, я сооб-

шил о своих наблюдениях в советских лагерях и тюрьмах, которые, по моему мнению, опровергали возможность физического уничтожения наших офицеров. Да и в материалах посольства было достаточно противоречий, не позволявших создать полную картину происшедшего. Например, как можно было согласовать с таким допущением факт существования лагеря в Грязовце? Или почему были уничтожены пленные, не настроенные антисоветски, а участники антисоветского подполья остались в живых?

Но, с другой стороны, трудно было себе представить, что наши пленные живы и за все это время не дали о себе знать ни посольству, ни командованию корпуса Андерса. Трудно было и совместить распоряжения Москвы о персональном составе каждого этапа (чему я был свидетелем) и отказ той же Москвы дать какие-либо сведения о судьбе офицеров. Мы стояли перед загадкой, которую не так-то легко было отгадать.

И даже если допустить, что наши товарищи по оружию мертвы, это вовсе не означает, что они были убиты. Но если они погибли в результате катастрофы, то в чем причины молчания о ней? И снова загадка.

Написанный мною рапорт подчеркивал важность работы посольства в разгадке этой тайны, в поисках наших пленных, но я старался не выдвигать никаких гипотез. Я лишь ограничился заявлением, что вне всякого сомнения НКВД имеет достаточно информации на этот счет, но по каким-то причинам не желает ее нам передать.

Разгадка пришла через восемь месяцев, в апреле 1942 года, когда берлинское радио сообщило о находке в районе Косогор, в шестнадцати километрах от Смоленска, могил с останками польских офицеров*. Я в то время работал руководителем польского информационного центра на Ближнем Востоке в Иерусалиме. И вот однажды к нам пришел подполковник Краевский, руководивший службой радиоперехвата,

*В некоторых польских публикациях название Косогоры ошибочно переводится как Козьи Горы. (Прим. переводчика.)

и сообщил о только что переданном заявлении германских властей. Причем, расположение обнаруженных могил в точности совпадало с координатами, указанными мною в июне 1942 года в рапорте на имя начальника польской военной миссии в СССР генерала Воликовского.

Теперь все встало на свои места: и странный интерес Москвы к составу каждого этапа, и усиленная их охрана, и грубость конвоя, и отказ советских властей что-либо сообщить о пленных, — все теперь стало ясным, как Божий день.

Ясной стала и моя переоценка советской системы, ее гуманизма. Я слишком надеялся, что в сталинской России еще сохранилось уважительное отношение к человеку, к человеческой жизни, и надежды эти оказались тщетными. Я все еще был до этого дня под влиянием рассказов и уверений моих товарищей по заключению о якобы наступившей после смещения Ежова гуманизации НКВД. Именно поэтому, когда я писал рапорт в Тегеране, я старательно обходил возможность расправы над пленными офицерами.

Я тут же отправил шифротелеграмму Коту в Лондон, где он в то время руководил министерством информации нашего правительства. В шифрограмме я писал, что сообщение берлинского радио в точности подтверждает сведения, изложенные в моем рапорте польскому посольству в Куйбышеве в 1942 году. Мне кажется, Кот показал эту депешу Сикорскому и министру обороны Кукелю, но я не могу сказать, что именно она повлияла на решение правительства обратиться к Международному Красному Кресту с просьбой провести исследование катынских могил. Решение это, принятое 18 апреля 1943 года, стало формальным поводом к разрыву отношений между Советским Союзом и нашим правительством в Лондоне.

ГЛАВА VIII

КАТЫНЬ С ПЕРСПЕКТИВЫ ТРИДЦАТИ ЛЕТ

В предыдущих главах я описал то, что случилось со мною после начала Второй мировой войны: события, приведшие меня в Козельск, Катынь и, через Лубянку и Бутырку, в польское посольство в Куйбышеве и Тегеране. Постарался я и описать встреченных мною в то время людей. Сейчас я хотел бы попробовать проанализировать всю совокупность Катынской трагедии. При этом мне хотелось бы не только оперировать собственными впечатлениями, но и фактами тогда мне не известными, скрытыми от меня стенами тюрем и колючей проволокой лагерей.

Сейчас, обращаясь к своей памяти и анализируя все опубликованное о Катынской трагедии, я прихожу к выводу, что не все еще в ней ясно. Есть, впрочем, моменты, которые более или менее понятны, но есть и такие, понять которые можно будет только после открытия архивов сталинского периода.

Так, совершенно очевидно, что преступление в Катынском лесу совершено органами НКВД. Причем, было оно спланировано и согласовано на самом высоком уровне в Москве. В то же время едва ли можно обвинять в этом преступлении Красную армию, захватившую польских пленнх, но позже передавшую их НКВД. Собственно, никак иначе и нельзя интерпретировать события в Путивле, именно там состоялась передача пленнх из одного ведомства в другое.

К невыясненным аспектам относится вопрос о том, как соотносить расправу над пленными с тогдашней внешней и внутренней политикой Советского Союза. Вот я и хотел бы

ниже остановиться на всех этих аспектах Катынской трагедии — на ясных и неясных до сих пор.

Ответ на вопрос о том, кто совершил преступление в Катынском лесу, однозначен — НКВД. И ответ этот основывается не только на показаниях оставшихся в живых пленных, но и выводах трех комиссий — германской, международной и польского Красного Креста, проводивших в свое время изучение могил расстрелянных польских офицеров. Кроме того, над этим вопросом независимо друг от друга работало много историков, пришедших к такому же выводу.

Я бы выделил из всего обилия материалов по Катыни пять томов материалов специальной комиссии Конгресса США, изучавшей этот вопрос и опубликовавшей свои выводы в сентябре 1951 года. Внимательно изучив все материалы, члены комиссии — в нее входило четверо демократов и три республиканца — единодушно пришли к выводу, что убийство было совершено НКВД. Вывод этот был опубликован в декабре 1952 года*. Тот же вывод сделан и в опубликованном профессором Здиславом Шталем исследовании "Катынское преступление в свете документов"**. В предисловии к этой книге генерал Владислав Андерс особо подчеркивал тот факт, что Международный трибунал в Нюрнберге не признал обоснованными обвинения советского прокурора, выдвинутые им против германских военных преступников, которые-де виновны в Катынской трагедии. Ну а ежели немцы этого преступления не совершали, то кто же его совершил? Его мог совершить только тот, кто обладал на этой территории административной и политической властью. Такой властью, помимо немцев, обладали только Советы.

*USA House of Representatives. Select Committee on The Katyn forest massacre. "The Katyn Forest Massacre". Hearing before the Select Committee to conduct an Investigation of the Facts, Evidence and Circumstances of the Katyn Forest Massacre. 82-nd Congress, 1st — 2nd Session 1951 — 1952. Washington, US Government printing Office, 1952, pp. 2362.

**Z. Stahl. Zbrodnia Katynska w swetle dokument [w. Wyd. Gryf, London, 1948].

Первой серьезной индивидуальной работой на эту тему была изданная в 1951 году в Лондоне книга Юзефа Мацкевича с предисловием бывшего американского посла при нашем лондонском правительстве Артура Блисса Лэйна*. Блисс Лэйн был хорошо знаком с делами Восточной Европы, и он без лишних околичностей указывает на Советский Союз как на виновника этого преступления. Помимо своих литературных достоинств книга Мацкевича имеет и ряд других положительных сторон: она основана на личных впечатлениях автора, принимавшего участие в эксгумации и изучении трупов, и на его личных беседах с местными жителями. На показания двух из них следует обратить особое внимание. Я имею в виду показания Парфена Киселева и Ивана Кривозерцева.

Киселев рассказал о расстрелах польских рабочих из организации Годта еще до того, как немцы занялись этим делом. В книге Мацкевича даже есть фотография Киселева, сделанная во время его беседы с членом Международной комиссии профессором Орсосом, немного владевшим русским языком. Орсос в то время был профессором кафедры судебной медицины Будапештского университета. Комиссия работала в апреле 1943 года, т.е. еще до немецкой оккупации Венгрии.

Первым человеком, сообщившим в 1942 году германским оккупационным властям о существовании захоронений, был Иван Кривозерцев. Он был более разговорчивым и смышленным, чем другие местные крестьяне. Кривозерцев прекрасно понимал, что его ждет, если он попадет в руки большевиков, и поэтому, когда Красная армия стала с боями приближаться к Смоленску, он вместе с матерью и сестрой двинулся на Запад. В Польше в неразберихе эвакуации его сестра и мать потерялись, он так и не смог их потом найти. Самому же ему удалось пройти почти всю Германию, и

*Jozef Mackiewicz. The Katyn Woods Murders. Holis & Carter, 1951. В русском переводе, под названием "Катынь", книга издана в Канаде издательством "Заря" в 1988 году.

в конечном итоге он объявился в американской оккупационной зоне, где и обратился к властям, полагая, что информация, которой он располагает, может их заинтересовать. Но американцы никак не могли взять в толк, о чем речь, и решили передать его советским, которые, дескать, смогут разобраться и оценить по достоинству его заявления. Но и тут Кривозерцеву повезло. Он смог-таки сбежать от своих американских "доброжелателей" и найти польские части. Тут с него сняли обширные и детальные показания. Признание это позже было включено в сборник материалов под редакцией профессора Штала. Из Германии он был переправлен во Второй польский корпус в Италии, а оттуда он вместе с другими беженцами попал в Великобританию. В Англии он был зарегистрирован под именем Михаила Лободы*. Впоследствии Мацкевич встретился с ним и написал биографию этого простого русского крестьянина, тяжело пострадавшего во время коллективизации.

Кривозерцев умер при загадочных обстоятельствах. Еще в английском лагере для перемещенных лиц вокруг него начали крутиться какие-то русские, выдававшие себя за бывших пленных, которым-де удалось избежать депортации в Советский Союз. А потом, в октябре 1947 года, он был найден повешенным в сарае. Британская полиция признала случившееся за самоубийство. Мацкевич об этом случае написал несколько статей**.

Книга Мацкевича написана просто блестяще. Здесь и прекрасный язык, и свежесть впечатлений участника исследований происшедшего. Кроме того, он приводит в книге и советскую версию, наглядно и последовательно показывая ее лживость. Но у нее есть и недостаток — она была опубликована без предметного указателя и без ссылок на ис-

*The Crime of Katyn: Facts and Documents. London, Polish Cultural Foundation, 1965, pp. 239 — 240.

**Wiadomosci z 20 kwietnia 1958; Dodatek tygodniowy Ostatnich wiadomosci, 12 pazdziernika 1958.

точники, что совершенно необходимо для подлинно исторической работы.

Чисто научное исследование Катынского преступления написал профессор кафедры политологии Пенсильванского университета Дж.К.Заводный*. Книга эта опирается на весь доступный в то время материал, не исключая и советских источников, на беседы с людьми, так или иначе бывших связанными с польской проблемой и с Советским Союзом. Первые пять глав работы дают описание материалов и информации, а шестая глава — анализ этих данных. В этой шестой главе профессор Заводный приходит к выводу, что преступление было совершено отнюдь не немцами, а органами НКВД. Причем НКВД в данном случае выполнял распоряжение советского правительства. В VI и VIII главах Заводный проводит реконструкцию преступления, а в конце работы приводит список людей, так или иначе причастных к массовому расстрелу польских военнопленных.

В начале семидесятых годов шумный успех имела книга английского автора Луиса Фитца Гиббона "Катынь: беспрецедентное преступление" (Katyn: A Crime without Parallel). Книга эта, рассматривая расправу над польскими офицерами, заканчивается призывом создать Международный трибунал для суда над преступниками. Кроме того, в ней содержится аргументированная и беспощадная критика выводов советской Чрезвычайной комиссии, созданной в 1943 году для изучения катынских захоронений.

Заводный и Фитц Гиббон в своих работах приводят также сведения об обнаруженном ими в Западной Германии рапорте минского НКВД, сообщавшем о ликвидации трех лагерей польских военнопленных. Рапорт этот, вместе с другими документами, был захвачен гитлеровцами во время оккупации Минска. В рапорте содержатся даты ликвидации лагерей и названия частей, несших в них в это время карательную службу. И самое в нем любопытное — дата, 7 июня

*J. K. Zawodny. Death in the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre. University of Notre Dame Press, 1962.

1940 года. Фотокопия этого документа была опубликована в западногерманском еженедельнике "7 Tage" ("7 Tage"), издававшемся в Карлсруэ, 20 июля 1957 года. В нем же содержатся и указания на районы, где были ликвидированы лагеря: Козельск, Старобельск и Осташков.

Книга Фитца Гиббона имела большой резонанс в общественности и в английском парламенте. Причем этот резонанс еще более усилился тем, что выход ее совпал с выходом книги Заводного и показом телекомпанией Би-Би-Си-2 документального фильма о событиях в Катыни. Реакция на выход обеих книг была так сильна, что 21 апреля 1971 года депутат палаты общин английского парламента Эйри Нив обратился к правительству с требованием создать совместно с Конгрессом США комиссию для расследования катынской трагедии. Под этим требованием подписалось еще 224 депутата; это были и консерваторы, и социалисты. К ним присоединились и три депутата от Ольстера.

17 июня 1971 года этой же теме были посвящены дебаты в палате лордов, в которых принимало участие несколько десятков выступающих. Характерно, что ни один из них ни на минуту не сомневался в причастности Советов к убийству польских пленных. В июле того же года американский конгрессмен Роман Пучиньский призвал правительство США поднять этот вопрос, как предлагалось комиссией в 1952 году, на Ассамблее ООН. Спустя месяц, в августе, с таким же предложением выступил депутат австралийского парламента сенатор Кэйн.

В то время в британской прессе появилась масса материалов и откликов на дебаты в парламентах разных стран. Большинство откликов поддерживало позицию Фитца Гиббона, но были высказаны и сомнения в целесообразности выноса вопроса на рассмотрение Объединенных Наций. Постепенно публикации приобрели форму дискуссии. Лондонский корреспондент советского АПН Феликс Алексеев направил в редакцию "Таймса" письмо, в котором заявлял, что Катынское преступление было полностью выяснено на заседаниях Международного трибунала в Нюрнберге. Это заявление бы-

ло чистойшей ложью: я уже упоминал выше, что Международный трибунал отверг заявление советского обвинителя, пытавшегося доказать виновность немцев в расстреле военнопленных в Катыни.

Более того, со времени Нюрнбергского процесса не было найдено ни одного доказательства виновности немцев, зато появились новые свидетельства, обвиняющие Советский Союз. Возросший в связи с тридцатилетием катынского расстрела интерес к нему, видимо, послужил для английского министерства иностранных дел поводом к опубликованию некоторых документов из своих архивов. Это были два донесения английского посла при польском правительстве сэра Оуэна О'Мэйлли. Первый, датированный 25 мая 1943 года, и второй, от 11 февраля 1944 года, адресованный Антони Идену. Они содержат сведения, на основании которых О'Мэйлли приходит к выводу, что поляки были расстреляны русскими за год до оккупации Смоленской области фашистами.

Донесения эти мне напомнили мои встречи с О'Мэйлли в 1944 году. Мы встретились с ним на квартире английской журналистки Ирмы Даргенфилд. В то время среди наших эмигрантских кругов ходили слухи, что О'Мэйлли готовит специальный доклад о Катыни королю Георгу VI, очень заинтересовавшемуся этим делом. Во время нашей беседы я был поражен прекрасной информированностью посла, мне практически нечего было сказать, чего бы он не знал. Мне даже показалось, что он расспрашивал меня не столько для того, чтобы узнать что-то новое, сколько чтобы еще раз проверить собственные знания.

В первый рапорт, датированный маем 1943 года, включались и комментарии различных чиновников Форин Оффиса, через которых он прошел на пути к шефу — сэру Александру Кадагану. Во всех этих комментариях, предназначенных, кстати, для служебного пользования, бросается в глаза разрыв между моральными нормами и вытекающей из политической и военной ситуации необходимостью покрыть жестокости большевиков. В конце своего донесения сэр О'Мэйл-

ли пишет о некоторой мрачности перспектив Катынского дела. И этот его вывод сразу же вызывает воспоминания о холодной рациональности мышления британского государственного аппарата, перекликается с политическим цинизмом Рузвельта или с некоторыми оценками и высказываниями президента Никсона, сделанными им в узком кругу сподвижников, ставшими известными широкой публике в ходе расследования Уотергейтского скандала.

С другой стороны, оба этих донесения недвусмысленно дают понять, что британское правительство знало правду о Катыни еще в 1943 году. В книге Заводного также приводятся свидетельства того, что и американская разведка, и сам президент Рузвельт прекрасно знали, кто именно виновен в расстреле польских пленных. Отсюда следует, что и во время Тегеранской конференции, и позже, во время встречи Большой тройки в Ялте, оба западных лидера отдавали себе отчет, кому они отдают половину Европы. Это как раз и были те самые *мрачные перспективы*, о которых писал в своем донесении О'Мэйлли.

Не исключено, конечно, что в тех условиях выяснение правды о Катыни могло привести к кризису в отношениях между союзниками по антигитлеровской коалиции. Но совершенно очевидно, что этот кризис не мог помешать победе над Германией. Более того, этот конфликт мог ускорить консолидацию антитоталитарных сил по обе стороны фронта.

В 1972 году Луис Фитц Гиббон опубликовал свою новую работу*, включив в нее отзывы о своей первой книге и некоторые новые материалы, ставшие известными уже после ее выхода в свет. Одним из таких новых фактов стало свидетельство Абрама Видры. Видра, польский еврей, прошел через советские лагеря и смог, освободившись, попасть в Палестину, где опубликовал свое заявление. В нем он рассказывает о беседах с группой бывших офицеров НКВД, участвовавших в расстреле польских офицеров и ставших

*Louis Fitz Gibbon. The Katyn Cover-Up. Tom Stacey, London, 1972.

позднее его товарищами по заключению. По заявлению Видры, среди участвовавших в экзекуции солдат имели место нервные срывы и даже случаи самоубийства*. Я готов этому поверить: живо помню, какими голосами шептались об этом деле двое моих конвоиров на пути из Смоленска в Москву. Как говорится, не каждый палач жесток по природе. Конечно, в некоторых людях присутствует инстинктивное стремление к жестокости, но большинство все же так же инстинктивно с уважением относятся к человеческой жизни, и участие в таких массовых расправах, как было в Катынском лесу, вполне может привести к психическому расстройству.

На мой взгляд, известные перерывы между этапами из Козельска как раз и говорят о том, что руководство НКВД старалось дать возможность палачам психологически отдохнуть.

Летом 1972 года я смотрел по западногерманскому телевидению выступление Видры. Но я не все понял из того, что он говорил. Впрочем, это, видимо, связано с трудностями перевода, и полный текст его выступления наверняка можно найти в архиве телестудии в Висбадене.

Заявление Видры получило совершенно неожиданный резонанс. 31 июля 1971 года в газете "Дойче Национале Цайтунг" ("Deutsche Nationale Zeitung") появилась статья руководителя компартии Израиля Моше Снее, в которой он писал, что сам был польским офицером резерва, был взят большевиками в плен, но ему удалось бежать с этапа в 1939 году**. Эта статья вновь привела меня к воспоминаниям о том времени.

С Моше я познакомился в 1943 году в Палестине, бывшей тогда британской подмандатной территорией. До войны он носил фамилию Кляйнбаум, работал врачом и играл заметную роль в польском сионистском движении. Когда мы с ним познакомились, он был членом исполкома сионистского коми-

*Louis Fitz Gibbon, op. cit. pp. 42 — 44, 46, 143.

**Ibidem, p. 46.

тета и самым молодым руководителем хорошо законспирированной сионистской военизированной организации Хагана.

Моше рассказал, что этап, с которого он бежал, направлялся в Старобельск. В нашем разговоре он оговорился, что большая часть кадров для будущего еврейского государства — Израиля тогда еще не существовало — находится в Советском Союзе. Ну а когда после войны я узнал, что он переметнулся к коммунистам, мне стала понятна в свете этого замечания и логика его поступка. Он, очевидно, полагал, что таким способом ему удастся сломить воздвигнутые Советами преграды на пути иммиграции евреев из России. Ну а та помощь, которая была оказана Советским Союзом еврейскому антианглийскому подполью, только поддерживала его надежды. У меня нет на руках текста его заявления. Но зная его лично и учитывая, что заявление он сделал незадолго до своей смерти, о скором приходе которой он как врач, безусловно, знал, я не сомневаюсь в его правдивости. Умер он в 1973 году. Наши общие знакомые рассказали мне потом о его похоронах.

Многое сделал для выяснения обстоятельств Катинской трагедии и Тадеуш Виттлин, посвятивший этой теме ряд своих очерков*.

Сам Виттлин прошел через всю Россию, был в армии генерала Андерса и прекрасно знает и страну, и ее условия, и то настроение, с которым все мы разыскивали наших пропавших товарищей. Сборник его очерков носит на первый взгляд странное название — "Время остановилось в 6.30". Но это только на первый взгляд.

Название это взято из самого страшного свидетельства трагедии — найденного в могиле в Катинском лесу дневника майора Сольского. Последняя запись в нем датирована половиной седьмого девятого апреля 1940 года. Это было уже после прихода этапа в Катинский лес. Там был проведен еще один обыск, изъяты все ценные вещи, включая об-

*Thaddeus Wittlin. Time Stopped at 6.30. The Bobbs Merrill Co., New York, 1965.

ручальные кольца и часы, но письма и рукописи пленным разрешили оставить при себе. В дневнике майор Сольский записал, что во время обыска на его часах была половина седьмого вечера. Расстрел и связывание рук жертв перед ним, видимо, наступил несколькими минутами позже. Время для майора Сольского остановилось навсегда.

Выдержки из дневника были помещены в докладе Комиссии Конгресса США. Я о майоре Сольском уже вспоминал, описывая свою жизнь в Путивле и в Козельске. И до сих пор я не могу забыть этого человека. В сентябрьской кампании он состоял, сколько я помню, при штабе генерала Донб-Бернацкого*.

С майором Сольским мы жили в одном бараке в окрестностях Путивля, на территории какого-то свекловодческого колхоза. Он запомнился мне очень идейным человеком, с острыми чертами лица и огоньком в глазах. Не помню, какого он был роста — целыми днями он предпочитал лежать на верхних нарах, сняв ботинки и оставаясь в одних шерстяных носках. Как-то я спросил, что он постоянно пишет. Он ответил, дневник. Я сказал, что мне кажется это бесцельной тратой времени — едва ли такую рукопись удастся вывезти из Советского Союза. Трудно было тогда предположить, что выдержки из его дневника будут опубликованы в докладе Комиссии американского Конгресса. Сейчас я со стыдом думаю, что тогдашнее мое замечание было следствием слабости, вызванной обрушившейся на нас катастрофой. Майор же не отказался от борьбы, и его дневник стал одним из документов Истории.

В плену не он один вел дневник, но он был единственным офицером, ведшим записи до последней минуты, до последнего обыска. Кстати, сам факт изъятия ценных вещей говорил о близости расправы.

*При эксгумации трупов были обнаружены документы его принадлежности к 75-му пехотному полку. Видимо, со времени мобилизации он был причислен к штабу генерала Донб-Бернацкого (Adam Moszynski, Lista Katynska, Gryf, Londyn, 1949, str. 158). (Прим. автора.)

Еще один дневник был обнаружен на теле поручика Вацлава Крука. Виттлин в своей книге пишет, что еще двое пленных вели дневники: подпоручик Хенрик-Бруно Куминек, бывший до войны журналистом в Быдгошчи, и капитан Альфред Вилецкий, работавший до войны редактором Польской агентства прассовой. Поручик запаса Крук вел свои записи до момента высадки этапа на станции Гнездово; выдержки из его дневников также были включены в доклад Комиссии Конгресса США.

Стоит добавить, что как журналист Виттлин присутствовал на заседаниях Комиссии в Вашингтоне. Особое впечатление на него произвели показания кадрового американского офицера полковника Ван Вилта, он даже посвятил две главы своей книги его сообщениям. Полковник Ван Вилт попал в немецкий плен в Северной Африке. В 1943 году, не спросив его согласия, немцы доставили его под Смоленск, где он наблюдал за эксгумацией захоронений в Катынском лесу. Показания полковника заслуживают самого пристального внимания: совершенно очевидно, что у него не было особых симпатий к немцам, и ко всему, исходящему от них, он относился достаточно скептически.

Советская версия утверждает, что поляки были расстреляны летом 1941 года, а до этого они-де работали в окрестностях Смоленска на строительстве дорог. Полковник Ван Вилт, будучи профессиональным военным, при эксгумации обратил внимание на состояние обуви расстрелянных. Тогда он еще не знал о советских утверждениях, сейчас же он заявлял, состояние обуви было замечательным. Если же поверить Советам, то за почти пятнадцать месяцев, проведенных якобы пленными на строительных работах, они должны были так износить свои ботинки, что от них просто ничего бы не осталось. Это еще одно подтверждение лживости советской версии.

Пока полковник был в плену, он молчал о своих выводах, дабы не солидаризироваться с фашистами. Но как только он оказался в американской зоне оккупации, тут же обратился к американским властям с рапортом о своих катынских

наблюдениях. Его направили к заместителю начальника штаба генералу Бисселу, приказавшему Ван Вилту написать обо всем конфиденциальный рапорт и нигде не распространяться о своих выводах.

Кстати, Ван Вилт не был единственным американским офицером, располагавшим информацией о Катыхни, которому американские же власти приказали держать язык за зубами. В подобной ситуации оказался специальный представитель президента Рузвельта на Балканах Джордж Ирл, получивший много информации о Катынском расстреле во время своей миссии. Рузвельт категорически запретил Ирлу кому бы то ни было сообщать, рассказывать о том, что он узнал. Более того, когда, почувствовав, что он больше не в силах молчать, Ирл предпринял определенные шаги, он тут же был откомандирован в чине офицера флота на далекие тихоокеанские острова Самоа. Оттуда Ирл смог вернуться только после смерти президента Рузвельта.

Суровое наказание за распространение информации о расстреле пленных под Смоленском понес и еще один офицер американской армии — полковник Генри Шиманьский, бывший офицером связи при Польском корпусе на Ближнем Востоке*.

Все эти случаи стали известны во время работы Комиссии Конгресса и нашли отражение в ее материалах.

Очерки Виттлина не содержат никаких новых фактов, но безусловная их ценность в том, что они, обладая известными литературными достоинствами, помогают читателю лучше понять суть трагедии. Он не только преподносит замечательно подобранный материал, но и пытается проникнуть в психологию участников драмы. По-моему, книга Виттлина — это практически готовый сценарий для фильма о погибших польских пленных.

Все документы и выводы Комиссии Конгресса начисто отрицают заявления и выводы советской Комиссии по изучению Катынского дела⁴⁸. Комиссия эта была создана сразу же после освобождения Смоленской области осенью 1943 го-

*Zawodny, op. cit., chapter IX.

да, и ею уже изначально было сказано, что поляков расстреляли немцы. В компетенцию Комиссии, собственно, входила только констатация этого факта. Председателем ее был академик Бурденко, личный врач Сталина. Кроме того, в нее входили Митрополит Крутицкий Николай, известный писатель аристократического происхождения Алексей Голстой и еще несколько советских чиновников высокого ранга. Кстати, ни один из польских коммунистов не вошел в состав Комиссии. И это несмотря на то, что в то время в России действовал Комитет во главе с Вандой Василевской⁴⁹ и создавались отряды Берлинга.

Я и сейчас нисколько не сомневаюсь, что Комиссия была создана единственно с целью подписания заранее подготовленного в НКВД заявления. Полный текст этого заявления помещен в книге "Катынское преступление"* . Это довольно объемистый документ, прямо-таки пропитанный противоречиями. Я не буду здесь подробно все их разбирать, а ограничусь лишь несколькими, наиболее важными пунктами.

Так, по советской версии, около 11 тысяч пленных поляков содержалось якобы в каких-то лагерях под Смоленском, позже они были захвачены наступающими немецкими войсками. Однако это заявление сразу же порождает естественный вопрос: почему в 1941 — 42 годах советские власти не сообщили об этом ни польскому посольству, ни генералу Андерсу, ни Сикорскому, ни ротмистру Чапскому, специально занимавшемуся розыском пленных?

Во-вторых, в заявлении советской Комиссии содержится утверждение, что немцы в 1942 — 43 годах эксгумировали одиннадцать тысяч трупов, извлекли из их карманов все документы, датированные после мая 1940 года, перезахоронили их и только после этого вновь эксгумировали в присутствии специальной комиссии, дабы использовать это в "целях антисоветской пропаганды". Но трудно себе представить, что если бы действительно немцы занимались такой

*В русском переводе книга носит название "Катынь" и издана в Канаде издательством "Заря" в 1988 году. (Прим. переводчика.)

сложной и кропотливой работой, она бы осталась в тайне от разведки Армии Краевой, связанной со многими работавшими в организациях Годта в этом районе поляками.

Третье. Если и в самом деле, как утверждают Советы, для этой операции немцы использовали советских пленных и потом их расстреляли, то где их захоронение? Такой могилы в Смоленской области не найдено.

Четвертое. Комиссия польского Красного Креста заявила, что было обнаружено 4500 трупов, принадлежавших узникам козельского лагеря. Цифра 11 тысяч появилась в более раннем немецком сообщении, опубликованном еще до проведения детального исследования захоронений. Почему в таком случае Советы следуют германской ошибке? Ответ совершенно ясен — эта цифра полностью соответствует числу узников не только козельского, но и старобельского и осташковского лагерей. То есть, иными словами, заявление советской Комиссии препятствует дальнейшему выяснению судьбы узников Старобельска и Осташкова.

Пятое. Советская Комиссия так и не объяснила, почему, после якобы пятнадцатимесячного участия в строительных работах одежда и обувь пленных сохранилась в столь хорошем состоянии⁵⁰. Она также не объяснила, почему в этих работах, участвовали и инвалиды, как, например, генералы Менкевич и Богатыревич, арестованные советскими властями в своих квартирах во время советской оккупации Восточной Польши. Я хотел бы обратить здесь внимание на то, что в лагере в Грязовце польских офицеров, в соответствии с Женевской конвенцией, вообще не посылали на работы. Характерно и то, что в заявлении Комиссии называются места содержания пленных — лагерь особого назначения 1-ОН, 2-ОН и 3-ОН, но не указывается их местоположение*. Естественно, что такое голословное утверждение вызывает сомнение в его достоверности.

*В заявлении советской Комиссии сказано, что пленные содержались в трех различных лагерях на расстоянии 25 — 45 километров от Смоленска. Ни в тексте Заявления, ни в свидетельских показа-

Шестое. Заявление Комиссии о времени убийства офицеров (июль — август 1941 года) никак не объясняет, отчего в это время поляки были одеты в теплую одежду: офицеры были в шинелях, на многих было теплое белье*. Июль — август в континентальном климате России — время жары, а в могилах не было найдено ничего, подтверждающего, что пленные были расстреляны в такое время года. С другой стороны, апрель в этой местности — месяц довольно холодный. 30 апреля 1939 года, когда я сам был под Катынью, было солнечно и тепло, но на полях еще лежал снег. И нет ничего удивительного, что и пленные и солдаты НКВД были одеты в шинели. Правда, Комиссия польского Красного Креста нашла в одной из могил расстрелянных, одетых только в мундиры. Видимо, они принадлежали к последнему этапу в мае 1940 года, когда весна была уже в разгаре**.

Седьмое. В Заявлении советской Комиссии не содержится ни одного убедительного свидетельства, что на трупах обнаружены какие-либо документы или бумаги, датированные позже мая 1940 года. Я хотел бы обратить внимание читателя, что и в Козельске, и в Старобельске, и в Осташкове, и позже — в Грязовце — пленным была разрешена переписка с семьями. И тот факт, что переписка семей с теми пленными, которые позже были обнаружены в катынских могилах, прервалась именно в мае 1940 года, не только вызвал в Польше большое беспокойство, но и сам по себе достаточно красноречив. Факт и то, что ни одна из трех комиссий, изучавших катынские могилы — ни немецкая, ни комиссия польского Красного Креста, ни Международная комиссия, — не обнаружила в захоронениях ни одного доку-

ниях, включенных в него, нельзя найти ни единого указания на расположение этих лагерей. (*Прим. переводчика.*)

*Автор ошибается. В заявлении Специальной Комиссии время расстрела называется "осень 1941 года", без указания месяца. (*Прим. переводчика.*)

**Заявление доктора Мартина Воджиньского. *Zbrodnia Katynska w swietle dokumentow*, str. 157 — 188.

мента, датированного позже мая 1940 года. Вполне логично предположить, что расстрел состоялся именно в это время, в 1940 году.

Советская Комиссия громогласно заявила, что она, дескать, располагает девятью документами, датированными после мая 1940 года; в их число входят и три письма. Юзеф Мацкевич внимательно изучил эти документы и пришел к выводу, что в двух случаях речь идет о письмах, пришедших уже после расстрела и просто не врученных адресатам. В третьем случае упоминалось письмо офицера, вообще никогда не бывшего в Козельске — письмо Станислава Кучиньского к Ирине Кучиньской. И в общем представляется совершенно вероятным, что этот человек действительно еще жил 20 июня 1941 года (этим число датировано письмо) в какой-нибудь из советских тюрем. Вероятнее всего, речь идет о ротмистре Кучиньском, бывшем в старобельском лагере и вывезенном оттуда еще до начала его ликвидации. Допустимо и предположение, что его письмо было просто напросто задержано цензурой и позже представлено неким "доказательством". Я заявляю об этом так определенно оттого, что нет ни малейшего указания на присутствие Кучиньского в Катыни*. Но в захоронениях обнаружены останки профессора Стефана Кучиньского, а при нем найдено письмо к его жене Дануте. То есть совершенно ясно, речь идет о двух разных людях.

Кроме того, на телах жертв найдены квитанции об изъятии или комиссионной продаже ценных вещей заключенных. Квитанции эти выдавались в декабре 1939 года, но загадочным образом на их обратной стороне появились советские штампы, датирующие их выдачу мартом 1941 года. Безусловно, нет ничего более легкого, как проштамповать найденные квитанции, что и было сделано НКВД. Ну а члены Комиссии могли и не знать о подобных махинациях. Да и если бы даже кто-то из них и догадывался о правде, разве смог бы он пойти против всемогущего НКВД?

*Jozef Mackiewicz, op. cit., str. 214 — 216.

В трех других случаях речь также шла о каких-то квитанциях, которые легко могли быть сфабрикованы. Последним, девятым, документом был нательный образ Иисуса с надписью от руки на обратной стороне: "4 апреля 1941 года". Мне представляется совершенно очевидным, что все эти документы могли быть легко подделанными, и потому о них нельзя говорить как о бесспорных доказательствах.

Восьмое. В заявлении нет объяснения тому, отчего на некоторых трупах обнаружены раны, нанесенные четырехгранным штыком. Надо уточнить, что такие штыки были на вооружении Красной армии, в то время как в Вермахте были так называемые ножевые штыки*.

Девятое. В заявлении не объясняется, отчего Комиссия польского Красного Креста обнаружила на захоронениях молодые побеги деревьев, возраст которых был два-три года.

Десятое. Существует свидетельство о том, что Николай Бурденко в узком кругу друзей в 1946 году сказал, что принял руководство Комиссией по личному распоряжению Сталина, что Заявление он подписал под сильным нажимом, и что "еще немало в России таких Катыней". По его словам, тела пролежали в земле около четырех лет, т.е. расстрел имел место около 1940 года, не позже. Описание этого разговора было опубликовано русскими меньшевиками в их нью-йоркском бюллетене "Социалистический вестник" в июне 1950 года. Статья была подписана бывшим профессором Воронежского университета Б. Ольшанским. Ольшанский присутствовал при этом разговоре, вскоре после которого Бурденко скончался, а Ольшанский, посланный в командировку в ГДР, сумел выбраться на Запад. Он также давал показания Комиссии Конгресса США**.

Каждый, кто даст себе труд внимательно изучить документы и материалы, не найдет ни единого факта, опровергающего виновность Советов в Катынской трагедии. К тако-

*Свидетельство профессора Герхарда Бутца. Zbrodnia Katynska w swietle dokumentow, str. 110 — 112.

**Zawodny, op. cit., str. 157 — 158.

му выводу пришли все западные советологи. Сотрудник Оксфордского колледжа Святого Антония Рональд Хингли в своей книге о НКВД указывает, что нет тени сомнения в причастности органов советской госбезопасности к расстрелу польских пленных*.

Такого же мнения придерживаются и профессор Гарвардского университета Адам Бруно Улам, автор многих работ по новейшей советской истории, Роберт Конквест, известный английский советолог, и профессор Института международных отношений Генри де Монфор, выпустивший в 1966 году книгу "Расстрел в Катыни: русское или немецкое преступление"**. Их точку зрения разделяет в своих статьях в американской и швейцарской прессе доктор Дж. Эпштейн, сотрудник Гуверовского Института войн, революций и мира Калифорнийского университета. Он поместил в апреле 1974 года статью в западногерманской газете "Ди Вельт" ("Die Welt"), в которой заявляет, что расстрел польских пленных был заснят на пленку и каким-то образом попал в руки китайских коммунистов. По утверждению Эпштейна, в различное время китайские посольства в Париже, Варшаве и Лондоне располагали этим документом***. Впрочем, это утверждение нуждается в проверке.

По утверждению Александра Исаевича Солженицына, некоторые моменты расстрела соответствуют приемам, принятым в НКВД еще со времен Дзержинского. В качестве примера он приводит связывание рук и шеи жертв одной веревкой****. Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, пишет, что после Катыни Сталин всегда покидал зал во время исполнения

*Ronald Hingley, "The Russian Secret Police", London, 1970, p. 186.

**A. B. Ulam. Expansion and Coexistence. Praeger Publishers, 1974, pp. 343 — 344; Robert Conquest. The Great Terror. Pinguin Books, 1971 pp. 643 — 645; Henri de Monfort. Le Massacre de Katyn: crime Russe ou crime allemand. Edition de la Table Ronde, 1966.

***J. Epstein. Zur Wahrheit über Katyn. "Die Welt", 1.4.1974.

****"Survey", 1974, The Autumn Issue, p. 153.

сцены убийства в лесу в опере Иван Сусанин. Аллилуевой кажется, что ее отец испытывал такие же угрызения совести, как и Иван Грозный.

ГЛАВА IX

ДИАЛЕКТИКА КАТЫНИ

Собственно говоря, выяснение того, что Катынское убийство было осуществлено НКВД по приказу Москвы, лишь открывает завесу тайны этой трагедии. Чтобы понять исторический смысл случившегося, нужно ответить на вопрос: *для чего Москве потребовалось физически уничтожить польских военнопленных офицеров?* Кстати, этим вопросом задается и Заводный, и выдвигает несколько гипотез на этот счет.

На первый взгляд, ответ чрезвычайно прост. Так, Константин Фитц Гиббон в предисловии к книге своего брата пишет, что это было вызвано стремлением большевиков уничтожить цвет польского народа. Сталин вообще предпочитал физически уничтожать всех, кто, по его мнению, может повредить консолидации его власти. Именно этим объясняются проведенные им в 1937 — 38 годах массовые чистки среди старых большевиков и командования Красной армии. Польские пленные офицеры представляли не только элиту своего народа, но и, безусловно, стали бы резко противиться планам Сталина в Восточной и Центральной Европе. И именно оттого они должны были быть уничтожены. Что же, хотя такая трактовка и представляется довольно логичной, она не отражает всего комплекса Катынской трагедии.

Советская политика — и внутренняя и внешняя — вся насквозь пропитана диалектической казуистикой. Диалектика Гегеля и Фейербаха, воспринимающая все сущее методом тезис-антитезис-синтез, не только заняла место государственной философии в СССР, но и стала чем-то вроде го-

сударственной религии. И все развитие общественных наук в Советском Союзе целиком опирается на эту пресловутую диалектику. Процесс этот начался еще при Ленине и достиг особенного развития во время Сталина.

Противоречия такого подхода особенно сильно проявлялись тогда, когда теория сталкивалась с действительностью. Теория утверждала, что советское общество неотвратимо движется к коммунизму, а в действительности создавалась сугубо тоталитарная система, стремящаяся проникнуть в мельчайшие детали частной жизни граждан. И это проникновение тоже, как ни странно, находило объяснение: дескать, государство должно окрепнуть, а после этого начнет отмирать.

Громогласно провозглашался лозунг борьбы за мир, а тем временем создавалась огромная армия. Милитаризация Германии была начата Гитлером только в 1934 году, но еще в двадцатых годах остатки кайзеровского генерального штаба тайно сотрудничали с большевиками, разрабатывая вопросы тактики ведения будущих войн.

Сразу после революции крестьяне получили землю, но уже в конце двадцатых годов ее у них стали отбирать. Отбирали и большую часть скотины, а самих крестьян загоняли в колхозы, система хозяйствования в которых очень напоминала крепостное право.

Коммунистическая доктрина провозглашает право каждой нации на самостоятельное культурное развитие. Революция, как известно, преобразовала Российскую империю в союз республик, в нем для народностей с более низким уровнем культуры были созданы автономные республики. Начали создаваться школы, где преподавание велось на местном языке. Создавались национальные университеты. Сталинская Конституция 1936 года даже "предоставила" республикам право выхода из Союза ССР. Но одновременно с этими процессами в конце двадцатых годов тысячи национальных деятелей культуры были отправлены в лагеря по обвинению в "буржуазном национализме". В национализме были обвинены и многие руководители республиканских компартий. Выше я

уже описал свой этап в 1941 году, в котором мне довелось встретиться с осужденными членами ЦК компартии Казахстана. В начале двадцатых годов, когда Центральная Литва вошла в состав Польши и там были закрыты белорусские школы, многие деятели белорусской культуры перебрались в Минск, получив кафедры в тамошнем университете. Но всего несколько лет спустя все они были сосланы в лагеря, а некоторые — расстреляны.

Катынская трагедия также носит отпечаток диалектики. Первое время к пленным относились довольно неплохо, и условия их содержания в козельском лагере были сносными. С каждым из пленных проводились индивидуальные беседы. Часто в приятельском тоне их расспрашивали об образовании, работе, службе, семье. Многие выходили после бесед в огромном удивлении: часто следователь был солидно подготовлен и знал практически все о своем "собеседнике". Пленным было предоставлено право переписываться с родными и друзьями.

После окончания следствия было объявлено о предстоящей ликвидации лагеря. Каждому пленному были сделаны прививки против тифа и холеры, и после этого 95 процентов из них были расстреляны. Примерно три процента нашли прибежище во вновь созданном лагере в Грязовце. Позднее туда прибыло еще примерно тысяча офицеров, захваченных во время оккупации Литвы летом 1940 года. Всем им была подарена жизнь. Отношение к пленным вновь стало хорошим. А несколько десятков специально отобранных офицеров из козельского и старобельского лагерей даже были поселены в так называемой "вилле роскоши".

Как все это объяснить? Была ли противоречивость действий советских властей заранее запланирована или это было отражением изменения их отношения к Польше? Нескоординированность действий можно объяснить явно пронемецким настроением Сталина и столь же явным антинемецким настроением большинства партийцев. Грязовец и Катынь в моем понимании загадки одного масштаба.

Предположение, что Сталин хотел выбить лучшую часть

польской интеллектуальной элиты, представляется логичным. Но ведь именно такие люди доминировали в Грязовце. Вот несколько примеров. Из Козельска туда попал бывший декан отделения права виленского университета, депутат Сейма профессор Вацлав Комарницкий. Из Старобельска был выбран известный художник Юзеф Чапский, происходивший к тому же из аристократической семьи. В Осташкове таким избранником судьбы стал сын знаменитого композитора капитан Бронислав Млынарский.

Непонятно и поведение НКВД в подготовке этапа пленных: почему было впустую израсходовано четыре тысячи прививок? Возможно, конечно, что транспортный отдел НКВД просто не имел представления о том, куда и зачем эти этапы снаряжаются. И, видимо, существовало распоряжение, в целях избежания эпидемий, делать прививки всем этапирваемым пленным.

Символом диалектичности Катынской трагедии было и поведение комбрига Зарубина, описанное мною в очерке, помещенном в "Катынском преступлении". Хотя я и допускаю, что не он был автором тройного решения судьбы пленных поляков: Катынь, Грязовец, Малаховка. Эта сторона трагедии также ждет своего исследователя.

Однако я хотел бы здесь подчеркнуть, что те, с кем Зарубин часто встречался и любил беседовать, все они нашли свою смерть в Катынском лесу. Так, например, случилось с профессором Вацлавом Комарницким, с которым Зарубин особенно любил встречаться. Комарницкий был мобилизован в качестве военного юриста, попал в плен, и по особому распоряжению Зарубина, несмотря на свой чин подпоручика, был переведен в полковничий барак. Примерно в это же время в лагерь прибыла большая группа польских военных юристов. Среди них был второй председатель Верховного суда Польши Похорецкий, бывший и по возрасту и по положению много старше Комарницкого. Но Зарубин им практически не заинтересовался. Похорецкий так и остался жить в общем бараке среди младших офицеров. Мне казалось, интерес комбрига к Комарницкому вызван прежде

всего симпатиями последнего и его участием в блоке народных демократов, бывших, как известно, довольно просоветски настроенными. Впрочем, марксизм им был совершенно чужд. Ну и комбриг старался понять, насколько в будущей политической игре такие люди могут быть полезны Советам. Мое впечатление основывалось на рассказах самого Комарницкого, которому представлялось, что время террора уже миновало и Россия начинает постепенно принимать цивилизованный облик.

Особенно лагерные власти благоволили к полковнику Кюнстлеру, бывшему командиру артиллерии в армии Донб-Бернацкого во время сентябрьской кампании 1939 года. В последние дни боев он руководил подразделением, подорвавшим мост через Буг в районе Дорохуска, что сильно затруднило отступление немцев из Волыни на Запад. Полковник был кадровым военным, и политруки отзывались о нем, как об очень перспективном офицере. Да и сам Зарубин говорил с ним чаще и больше, чем с любым другим пленным.

В моей памяти полковник Кюнстлер тесно связан с бывшим командиром саперов армии Донб-Бернацкого полковником Тышиньским. Тышиньский совсем не был похож на профессионального военного, зато производил впечатление образованного инженера. С обоими, Кюнстлером и Тышиньским, я познакомился в теплушке на пути из Путивля в Козельск. Первый был молчалив и почти ничего о себе не рассказывал. Тышиньский же был разговорчив, от него я узнал, что его семья владела имением в Плебани. Это каких-нибудь километров двадцать от имения моего тестя, в том же самом Моледчном повете, где за две недели до войны я гостил с женой и детьми. Мы быстро нашли много общих знакомых. И в Козельске мы часто виделись с полковником Тышиньским, и всегда у нас находилось о чем поговорить.

Однажды в марте 1940 года я нашел его греющимся на весеннем солнышке у стены одного из лагерных барачков. Я подсел к нему и стал расспрашивать, не известно ли ему что о судьбе нескольких высших офицеров. Он ответил, что с ними ничего плохого не произошло, все они сейчас в Ста-

робельске и с ними установлен контакт. Я уже не помню, что именно он мне тогда сказал, но в его словах чувствовался оптимизм, внушенный его последней беседой с комбригом. Это была наша последняя встреча перед ликвидацией лагеря.

Признаться, я, выехав из Советского Союза, не был сильно удивлен известием, что и Тышинский и Кюнстлер были отобраны и из Козельска переведены в уже упоминающуюся "виллу роскоши". В 1943 году в каирском кафе я случайно встретил полковника Кюнстлера, и он рассказал мне о своей жизни после Козельска. В Малаховке он подписал какое-то заявление в адрес советских властей, был помещен в тюрьму, а после — очутился в Грязовце.

Сейчас, спустя тридцать лет, мне представляется возможным диалектически соединить в единое целое три аспекта Катыни: саму Катынскую трагедию, Грязовец и Малаховку.

Наблюдения за пленными младшими офицерами и за рядовыми показывают, что в большинстве своем они были настроены явно враждебно и к СССР, и к коммунизму вообще. Естественно, что после уничтожения Польского государства, — а это было официальной целью Советского Союза, — они, во время создания новой польской армии, вполне могли стать источником разного рода сопротивления советской политике. Память о 1929 годе еще не выветрилась, и в лагерях было достаточно ветеранов той войны. Ну а то, как отметили пленные 19 марта 1940 года — именины Пилсудского, — ясно давало представить себе, каковы чувства ветеранов. Короче говоря, если бы Советы решились разыграть польскую карту и создали бы под своим командованием польские подразделения, у них явно не было бы избытка желающих вступить в эти части.

В последние месяцы существования козельского лагеря интерес НКВД к пленным существенно ослаб, зато возрос интерес к штабным офицерам, которых пытались склонить к сотрудничеству, сделав из них некий организационный костяк. Прежде всего это относилось к офицерам штаба армии

”Пруссия”, полностью, за исключением командующего, попавшим в советский плен. Именно таким образом Кюнстлер и Тышинский оказались в группе привилегированных пленных, что, кстати, потом отразилось на их карьере в армии Андерса, особенно после ее выхода из СССР. Я нисколько не сомневаюсь, что оба они дали обширные показания, которые, видимо, и до сих пор хранятся где-то в архивах, оставшихся после нашей армии на Востоке. И безусловно, знакомство с этими показаниями могло бы пролить дополнительный свет на советское отношение к польскому вопросу в начале сороковых годов.

Понимание диалектики Катюни важно, на мой взгляд, не только для понимания советско-польских отношений, создания моральной их картины, но это и важная социологическая проблема. Понимание ее может помочь разобраться в различиях Советской России и России дореволюционной.

Политика царской России вовсе не была диалектичной. Она часто была политикой силы, но в отношении Польши она иногда смягчалась, благодаря тому, что моральные идеалы и классовая солидарность наших обществ иногда оказывалась сильнее этнических разногласий. Хотя связь нашей аристократии с аристократией российской и не могла изменить направление русской политики, но, например, действия Чарторыйского и Велькопольского часто приводили к ее смягчению в отношении Польши и ее народа.

Если говорить о противоречиях в немецкой оккупационной политике, то все они были следствием разности в целях и уровне оккупационных чиновников, а отнюдь не следствием противоречивости политики самого Гитлера, который часто вообще не имел отношения к принятию конкретных решений на этой территории. Об этом достаточно хорошо сказано в работе Александра Даллина и в повести Юзефа Мацкевича ”Не надо громко говорить”*. Иными словами, беспорядочность и жестокость немецкой политики были следствием по-

*Alexander Dallin. German Rule in Russia 1941 — 1945. London, 1957.

исков единой линии, в то время как в советской политике они были следствием самой системы. Ну а в какой связи все это находится с диалектическим материализмом и его философией — это один из фундаментальных вопросов для тех, кто решил изучить коммунистическое движение и его принципы. И именно поэтому диалектика Катэни должна стать одной из важнейших тем в работе советологов.

ГЛАВА X

ХОТЕЛ ЛИ ХРУЩЕВ СКАЗАТЬ ПРАВДУ О КАТЫНИ?

Не совсем ясно и отношение советского руководства к Катынской трагедии. Ну, например, почему Хрущев не воспользовался удобным случаем и не включил ее в список преступлений Сталина, оглашенный им в своей знаменитой речи в феврале 1956 года на XX съезде КПСС?

Текст выступления Хрущева достаточно хорошо известен⁵¹. Он был почти сразу же разослан всем известным деятелям коммунистического движения и лидерам "стран народной демократии" и скоро оказался в руках западных корреспондентов. В своей речи Хрущев рассказал почти обо всех ликвидациях виднейших коммунистов во время так называемых чисток. Например, из 139 человек, избранных на XVII съезде в Центральный Комитет, 98, или 70 процентов, были арестованы и расстреляны в 1937 — 38 годах. А из 1966 делегатов того съезда 1108 были арестованы по различным политическим обвинениям в последующие несколько лет. Он отметил и ослабление Красной армии: из пяти маршалов трое были расстреляны*, проведены чистки и среди среднего командного состава.

После речи Хрущева среди советских военных началось движение за реабилитацию многих видных военачальников,

*Были расстреляны маршалы Тухачевский, Блюхер и Егоров; в живых остались любимцы Сталина Ворошилов и Буденный. Оба они были совершенными профанами в вопросах ведения современной войны. (Прим. автора.)

репрессированных в сталинское время. Тогда в свет вышла книга в память маршала Тухачевского, был сделан проект памятника маршалу Блюхеру, начали производиться подсчеты числа жертв репрессий. Цифра эта, кстати, достигла тридцати пяти тысяч офицеров различных званий и рангов, физически ликвидированных в 1937 — 41 годах*.

И если бы к этим цифрам было добавлено еще десять тысяч польских офицеров и пять тысяч полицейских, едва ли что-то бы изменилось, только дело Катыни оказалось бы закрытым, а международная общественность — успокоенной. Ведь с того момента, как советское правительство признает ответственность своих предшественников, международное положение СССР не только не ухудшится, но, напротив, окрепнет.

Так отчего же советское руководство все еще возлагает вину на немцев, якобы расстрелявших польских пленных осенью 1941 года?

В шестидесятых годах ходили слухи, что, дескать, Хрущев предлагал Гомулке, тогдашнему первому секретарю ПОРП, включить Катынь в список сталинских преступлений. Гомулка якобы отсоветовал Хрущеву: едва ли после такого признания можно будет справиться с польским общественным мнением, если до этого сам вопрос был под запретом, не разрешалось даже дискутировать о нем — все было ясно, в расстреле повинны фашисты. Это слухи, как было в действительности, я не знаю.

В речи Хрущева на XX съезде нет ни слова о Катыни, да и вообще, она касается только чисток внутри ВКП(б). Правда, Хрущев назвал необоснованными репрессии против бывших троцкистов, признавших ошибки и вставших на "ленинский" путь. Но он, с другой стороны, ни словом не обмолвился о судьбах тех, кто к моменту чисток придерживался троцкистской платформы. Кстати сказать, из анализа

*Leonard Shapiro. The Communist Party of the Soviet Union. Vintage Books, 1960, p. 420; Ronald Hingley. The Russian Secret Police. Hutchison of London, 1970, p. 170.

речи вовсе не следует, что Хрущев категорически исключал возможность массовых репрессий, если они "соответствуют целям государства". Ну а отсюда совершенно очевидно, на XX съезде и речи о Катыни быть не могло.

В то же время я не исключаю вероятности, что позднее Хрущев и был готов обнародовать правду о Катыни. Об этом говорят несколько моментов. Прежде всего, после XX съезда в Советском Союзе изменился подход к исторической науке. Она начала писаться если и не с полной объективностью, то, как минимум, с некоторой долей истины. А ведь во времена Сталина история, и особенно — новейшая история, были просто пропитаны ложью.

Если же писать о последнем этапе войны, то просто невозможно обойти молчанием Катынь, ставшую важным элементом политической жизни того времени и даже вышедшую на рассмотрение Международного трибунала в Нюрнберге. Однако, если ее описывать в стиле Заключения советской комиссии, то советский читатель, привыкший находить истину между строк, легко докапался бы до правды — так неубедительны ее утверждения. Александер Верт, очень просоветски настроенный публицист, после своего довольно долгого путешествия по СССР писал, что для советских людей Катынь — открытая тайна. "Это как нарыв, о котором мы предпочитаем молчать", — сказал ему один из ведущих советских писателей*. Другой его собеседник при упоминании о Катыни вспомнил о массовых расстрелах в 1945 году северных корейцев, обвиненных в сотрудничестве с японскими оккупантами. Правда, он добавил, что такие массовые расправы над противниками скорее были исключением, чем правилом. Вполне естественно возникает вопрос: не лучше ли официально и открыто признать свою ответственность и тем кончить дело?

Одним из главных моментов, помешавших Хрущеву раскрыть правду, на мой взгляд, были его собственные интересы в борьбе за власть. После своего выступления на XX съезде

*Alexander Werth. Russia: Hopes and Fears. Pelican Original, 1969.

он оказался в таком положении, что его судьба полностью зависела от развития процесса десталинизации. Правда же о Катыни могла бы помочь этому процессу, бывшему довольно популярным вначале, но позже натолкнувшемуся на сильное сопротивление со стороны партийной бюрократии. И необходимо помнить, что партийная бюрократия, или партаппарат, это по сути дела правящий класс современной России, имеющий свои экономические и социальные привилегии и цепко держащийся за них. Еще в начале пятидесятых годов бывший вице-президент Югославии Милован Джилас дал блестящую характеристику этой социальной группе, названной им "новый класс"*.

Именно партаппарат и политическая полиция, известная в разное время под разными названиями (ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ), и являются той силой, которая удерживает народы СССР в тисках партийной диктатуры. Тут надо добавить, что, по мнению западных обозревателей, во времена Хрущева было около четверти миллиона профессиональных партийных работников^{52**}. Аппарат этот был создан Сталиным — Генеральным секретарем Центрального Комитета^{***}, или, иными словами, главным партийным администратором — более чем за тридцать лет. Уничтожив старых партийцев, соратников Ленина, он привел к власти новое, консервативное поколение послушных исполнителей. Я употребляю здесь термин *консервативное* в значении консерватизма к тем условиям, в которых они были воспитаны, т.е. у новых руководителей напрочь отсутствовало стремление к каким бы то ни было переменам. На XVIII съезде ВКП(б) Ста-

*Milovan Dzilas. Nowa klasa wyzyskiwaczy. Instytut Literacki, Pariz, 1957.

**Shapiro, op. cit., pp. 525, 573.

***На XVII съезде в 1934 году титул Генерального секретаря был заменен на Первого секретаря, что указывало на стремление большинства делегатов снизить роль Сталина, ставшего к тому времени практически диктатором. Многие исследователи предполагают, что последовавшие за тем репрессии были реакцией Сталина на пробы ослабления его власти. (Прим. автора.)

лин заявил, что со времени предыдущего съезда более пятисот тысяч членов партии получили новые назначения*. Александр Исаевич Солженицын в романе "Раковый корпус" дает неплохое описание социального состава современного советского общества, показывая и психологию правящего класса.

Речь Хрущева была воспринята партаппаратом с некоторым облегчением: они более не опасались за свою личную судьбу, им была гарантирована безопасность, в то время как при Сталине для многих из них освобождение от занимаемой должности автоматически означало приговор и лагеря. То есть некоторое ограничение власти тайной полиции полностью отвечало интересам правящего класса. Когда же процесс десталинизации начал расширяться, партократия почувствовала беспокойство — наступление на сталинизм могло вылиться в наступление на их собственные позиции, в наступление на саму систему партийной диктатуры. И следует помнить, что люди того поколения были воспитаны в "духе любви к вождю", они были уверены, что жестокости его правления были уравновешены его "мудростью и заботой о людях". Советская версия марксизма вообще резко отлична от того марксизма, который исповедовали западные коммунисты, старые большевики, меньшевики и т. д. Коммунистическая идеология отрицает необходимость эксплуатации человека человеком, но она ничего не имеет против уничтожения человека человеком, особенно если это отвечает "интересам пролетарского государства".

Царская Россия тоже часто бывала жестокой, но там жестокость смягчалась исповеданием христианства и гуманистичным влиянием этой религии на все стороны жизни государства. Православная Церковь, хотя и была коррумпирована и со времени Петра Великого подчинена светской власти, все же играла заметную роль в обществе, давая людям понять различия добра и зла. Например, Православие предполагало навещение узников, особенно в дни Церковных

*Shapiro, op. cit., p. 417.

праздников. Я сам помню, как в детстве видел целые возы подарков, посланных на Рождество от купцов заключенным. Позже я видел, что в русских госпиталях раненые немцы и австрийцы видели такие же ласку и уход, что и русские солдаты.

В Советской же России, крестьянин, подавший кусок хлеба "кулацкому" ребенку, умирающему с голода, рисковал попасть в число "подкулачников" и угодить в лагерь. Но нынешнее поколение партийной бюрократии воспитано так, что коллективизация в их глазах это не цепь беспричинных жестокостей, а "героическое" время строительства нового общества. И надо признать величайшей заслугой польских коммунистов, что после войны они не допустили развала польской деревни.

Чтобы понять ментальность тех слоев партийного руководства, которое восприняло десталинизацию и участвовало в ней, следует помнить, что и для них с именем Сталина связывались не только массовые репрессии, но и героические достижения страны в экономике и политике. По их мнению, хотя Сталин фактически и дезорганизовал перед войной Красную армию, все же спустя несколько лет она именно под его, Сталина, руководством разбила фашистов. Сталин физически уничтожил большинство сподвижников Ленина, но при нем СССР стал сверхдержавой, Сталин был беспрецедентным преступником, но он же стал и символом "прогресса". Даже Хрущев не избежал противоречий в своем выступлении на XX съезде. И что выйдет из этого посева, мы еще увидим, пока об этом рано говорить.

ГЛАВА XI

КАТЫНЬ И СОВЕТСКО-НЕМЕЦКИЙ СОЮЗ

Во время Катыньских событий Советский Союз был верным союзником Третьего рейха, неукоснительно соблюдавшим все положения советско-германского договора 1939 года. Имело ли это какую-либо связь с расстрелом польских пленных? Станислав Миколайчик, бывший одно время вице-премьером созданного Сталиным польского правительства и позже эмигрировавший на Запад, сказал Заводному, что, по его информации, в 1939 — 41 годах между Германией и Советской Россией было соглашение принять польских военнопленных*. Это заявление Миколайчика полностью согласуется с моими наблюдениями в Козельске. В то время в лагере постоянно циркулировали слухи, что нас скоро выдадут немцам. Но мне это предположение казалось нереальным: для чего Германии несколько тысяч пленных офицеров, если, по Женевской конвенции, они не могли их использовать на работах, но должны были взять на довольствие.

Более близкими к истине мне казались слухи, что выданы будут только офицеры, бывшие родом из Центральной Польши. Они и содержались отдельно от других — в монастыре. Отсюда следует, что решение о расстреле пленных было принято Советами позже, после отказа немцев принять их на свое попечение.

С другой стороны, известны случаи передачи польских офицеров в обратном направлении, т.е. передачи их нем-

*J. K. Zawodny. Death in the Forest. The Story of the Katyn Forest Massacre, p. 128.

цами в руки советских. В Козельске было около семидесяти офицеров, попавших в плен в районе Бреста и переданных отступавшими оттуда германскими войсками Красной армии. Сейчас я уже не помню фамилий этих людей, но живо помню их рассказы.

Оборона Брестской крепости была длительной и упорной, ее гарнизон сдался немцам только после того, как кончились боеприпасы. Попав в немецкий плен, они не испытали никаких лишений. Их даже принял немецкий генерал, командовавший штурмовыми войсками, и выразил свое восхищение их солдатским мужеством. Спустя несколько дней их собрал немецкий комендант лагеря и сообщил, что хотел бы попрощаться — он уезжает, и скоро сюда придут иные подразделения, которые и примут лагерь. Вскоре немецкие караулы действительно были заменены на советские, а несколько позже поляки были этапированы в козельский лагерь.

При этом мне запомнилась любопытная деталь. Среди пленных в Бресте был и приехавший туда на автомобиле по частным делам премьер-министр Швятлский. С ним приехал то ли его брат, то ли свекр, но оба были в армейских мундирах и потому включены в число пленных. Немцы ему сообщили о предстоящей передаче пленных советским, и в порядке исключения, разрешили ему и его спутнику вернуться в Варшаву. Таким способом полковник Швятлский избежал участи других пленных, расстрелянных в Катынском лесу.

Не исключено, что советско-германские отношения имели влияние на судьбу польских военнопленных и с другой стороны. Перед войной в Советах наблюдалось некоторое разногласие в отношении к Германии между Сталиным и партийной интеллигенцией. Я был в России во время обеих мировых войн. В 1940 году, и по моим наблюдениям, и по рассказам моих сокамерников, я почувствовал, что тогда враждебность русской интеллигенции к Германии была много выше, чем во время Первой мировой войны. Я хотел бы подчеркнуть, что это касается именно интеллигенции русской, а не украинской или какой-либо иной, и партийных аппа-

ратчиков, а не широких народных масс. Нерусская интеллигенция тогда была склонна видеть в немцах скорее не врагов, а освободителей.

В начале 1941 года я был в этапе на Север. Вместе со мною ехал недавно арестованный советский комдив. Он хорошо ориентировался в событиях лета и осени 1940 года, и по его мнению, с тех пор как Гитлер отказался от высадки на Британских островах, война для него уже была проиграна. И успехи Вермахта во Франции ничего не могли изменить. Настроен этот комдив был явно антинемецки, и мне показалось, он легко мог найти общий язык с польскими пленными.

Сталин в то время старался всячески упрочить советско-германские связи. Это было довольно легко сделать на основе договора 1939 года, ставшего фактически договором о военном союзе. Есть немало указаний на то, что союз с Гитлером был для Сталина не только политической, но и психологической целью. Известный британский советолог и историк пишет, что, по всей видимости, Гитлер был единственным человеком, которому Сталин мог доверять*.

Советский историк А. М. Некрич⁵³, сотрудник института марксизма-ленинизма АН СССР, выпустил в 1965 году книгу, в которой пытается найти причины поражений Красной армии на начальных этапах войны**. По мнению автора, вся ответственность ложится прежде всего на Сталина, легкомысленно относившегося к донесениям советской разведки о повышенной концентрации немецких войск на новой советско-германской границе. Донесения эти вызвали странное действие: Сталин предпринимал шаги против их авторов. Когда расстрелянный позже Гитлером за причастность к покушению на него в июле 1944 года германский посол в Москве Шуленбург, старавшийся всячески избежать войны с

*Ronald Hingley. The Russian Secret Police. Moscowite, Russian and Soviet Political Security Operations, 1965 — 1970. Hutchinson, 1970, p. 189.

**R. Hingley, op. cit., p. 12.

Россией, сообщил советскому послу Деканозову о подлинных намерениях Гитлера, последний отказался передать эти сведения в Москву*. Кстати, сам Деканозов был расстрелян позже вместе с Берия. Без сомнения, Деканозов прекрасно понимал, что таким сообщением он только подставит себя под удар.

Маршал Тухачевский в своем докладе, поданном в ВЦИК СССР в 1936 году, подчеркивал опасность немецкой политики вооружения. Но сам был обвинен в сотрудничестве с германской разведкой и расстрелян в 1938 году. Этот исключительно одаренный военный, бывший офицером в царской армии, многими считался Наполеоном русской революции. Конечно, Сталин посчитал своим долгом убрать с дороги такого сильного противника.

Трудно представить себе мысли Сталина, но единственной логичной дорогой развития его политики после Великого террора могло быть только соглашение с Гитлером. Правда, я, в отличие от Збигнева Бжизинского, не уверен, что чистки — неотъемлемый элемент каждой тоталитарной системы**. Если же говорить о чистках 1936 — 38 годов, то они, на мой взгляд, стали следствием расхождений между партийным аппаратом, это был кризис доверия между Сталиным и созданной им самим огромной бюрократической машиной. Этот кризис доверия нашел свое выражение во многих фактах: в переименовании поста, занимаемого Сталиным на XVII съезде, в выступлении лидера украинской компартии Постышева, о котором вспоминал в своей речи на XX съезде Хрущев и т.д. Кстати, на XVII съезде руководитель Ленинградской партийной организации С. М. Киров пользовался большей популярностью, чем Сталин, и многие видели в нем желанного преемника на посту Первого секретаря.

Но еще до того, как новая оппозиция приняла организо-

*A.Nekrich. June 22 1941. University of South California Press, 1988.

**Zbigniew Brzezinski. The Permanent Purge. Harvard University press.

ванную форму, Сталин ответил репрессиями. Первыми пострадали старые большевики, привыкшие к известной независимости оценок, теоретики марксизма, партийные интеллектуалы и ряд видных военачальников, отличившихся во время гражданской войны. Этот процесс прекрасно описал Леонард Шапиро в своем фундаментальном труде "Коммунистическая партия Советского Союза", в котором 22-я глава, названная "Победа Сталина над партией", целиком посвящена чисткам.

Совершенно очевидно, что чистки не только повлияли на внутреннюю политику СССР, но и отразились на его внешней политике. Логичным было отдаление России от демократических государств и сближение с диктаторскими режимами, и прежде всего — с гитлеровской Германией. Точная дата начала контактов между Сталиным и Гитлером неизвестна, но в любом случае это должно было произойти до подписания пакта Молотов — Риббентроп.

Вероятно, первая проба сближения была сделана членом личного секретариата Сталина Давидом Канделаки, посетившим в декабре 1936 года Шлахта. Однако ни сам Гитлер, ни его министр иностранных дел фон Нойрат тогда не проявили особого энтузиазма. Кажется, что сам Канделаки позже угодил в лагерь и более о нем ничего не было слышно*. Примерно в это же время НКВД сфабриковал документы, "подтверждающие" сотрудничество маршала Тухачевского и ряда советских генералов с немецким Генеральным штабом.

И вновь все было в полном согласии с "диалектикой" Сталина: в случае союза с Гитлером собственный генералитет мог стать угрозой для обоих диктаторов.

В начале 1939 года люди, близкие к польским троцкистским кругам, утверждали, что в этих кругах циркулируют настойчивые слухи о возможном скором союзе СССР, Германии и Японии. Целью-де этого союза должен стать раздел Британской империи. Гигантский промышленный организм,

*Robert Conquest. The Great Terror. Penguin Books, 1971, p. 298 — 300.

созданный в Советском Союзе ценой невероятных расходов и жертв, должен был служить самым темным силам международной политики.

Любопытно, что между германским и советским диктаторами возникло что-то вроде взаимной симпатии, что, впрочем, не заставило Гитлера отказаться от своих целей на Востоке. Шпеер в своих воспоминаниях пишет, что после возвращения в августе 1939 года Риббентроп был просто восхищен оказанным ему в Москве приемом. В присутствии Шпеера он сказал Гитлеру, что со Сталиным и его окружением чувствовал себя, как среди старых партийных товарищей*. Уже после начала советско-германской войны Гитлер сказал Шпееру, что из всех советских руководителей только Сталин кажется ему равным**.

Чистки 1936 — 38 года позволили Сталину преодолеть внутреннее сопротивление сближению с Германией, но первые шаги в этом направлении были все же предприняты в конце 1938 — начале 1939 года. Особое внимание во время чисток уделялось коммунистам из соседних с Германией стран и участникам гражданской войны в Испании. Так, в Москву были вызваны лидеры Польской компартии, и почти весь Центральный комитет ПКП был физически уничтожен. В 1940 году мои сокамерники утверждали, что все находившиеся в Советском Союзе венгерские коммунисты также были в заключении, а многие — расстреляны. Известнейшим из них был руководитель венгерской революции 1919 года Бела Кун. Он, видимо, в то время еще был жив и содержался в каком-то политизоляторе на юге России. Матиаша Ракоши, как я уже писал на страницах этой книги, я встретил в одном из северных лагерей в 1941 году.

В начале 1941 года я сидел в одной камере в Бутырьках с членом Центрального комитета Германской компартии. В конце того же года в одном из лагерных госпиталей я встретился с молодым советским офицером. Он воевал в интербрига-

* Albert Speer. *Erinnerungen*. Propyäen Värslag. Berlin, S. 183.

**bidem, S. 319.

дах в Испании, и почти сразу же после возвращения в СССР был арестован. Его отец, генерал, также был репрессирован. Этот молодой офицер открыто обвинял Сталина в провале испанской революции. Джордж Кеннан, известный специалист по России и бывший американский посол в Москве, пишет, что перед началом Второй мировой войны практически все высшее советское военное командование было подвергнуто чисткам*.

И тем не менее ни иностранные коммунисты, ни ветераны испанской гражданской войны не были важнейшим препятствием на пути советско-германского сближения. Основным препятствием скорее были массы советской интеллигенции и партийная бюрократия, точнее — их антигерманский и антинемецкий настрой. Кроме того, у Сталина не было идеологической концепции, которая могла бы объяснить союз с Гитлером. Огромная пропагандистская машина Советского Союза по-прежнему оперировала понятиями борьбы с фашизмом, верности ленинизму и т. п. Тут хочется отметить, читать произведения Ленина, т. е. приобщаться к этому самому ленинизму, в советских тюрьмах в то время было запрещено.

В 1940 году мне представилась исключительная возможность сравнить подходы и политические оценки интернированных в Козельске польских офицеров и представителей советской администрации, которых я довольно встретил в Лубянке. Поляки были настроены на борьбу с Германией, и в этом свете Россия представлялась им естественным союзником. Их мало интересовал марксистский анализ общества гитлеровского рейха, но их взгляды тем не менее были близки с взглядами русских интеллигентов.

Безусловно, такое сходство оценок было замечено не только мною и наверняка нашло свое отражение в рапортах комбрига Зарубина, изучавшего наших пленных в Козельске. Логично будет предположить, что настрой польских офицеров был принят во внимание и когда на высшем

*George F. Kennan. *Russia and the West*. Mentor Book, p. 292.

уровне, т. е. на уровне Сталина и Берия, принималось решение об их судьбе.

В козельском лагере содержалось более трехсот пленных польских врачей, много инженеров, техников, агрономов. То же самое можно сказать и о старобельском лагере. Если бы польские пленные дольше оставались в СССР, им пришлось бы подыскивать применение, направлять их на работу на заводы и фабрики. Но это, в свою очередь, привело бы к усилению антигерманских настроений среди советского населения: ведь невозможно было бы избежать контактов поляков с местным населением, и рот полякам тоже не заткнешь. А такое усиление антигерманских настроений противоречило планам Сталина. Пожалуй, это был один из главных элементов, приведших к принятию решения о физической ликвидации военнопленных поляков.

Хотелось бы отметить, что стремление Сталина к союзу с Гитлером явно противоречило идеалам Октябрьской революции. Троцкий назвал эти шаги политикой Термидора, сравнивая с Великой французской революцией и ее поражением.

Парадоксально, но факт. Польские офицеры, бывшие бесконечно далекими от марксизма и его противоречий, пали жертвами этого самого марксизма, жертвами его контрреволюционного течения. Фактически они были уничтожены по одному поводу с руководителями ЦК КПС.

Подводя итоги, мне кажется, есть возможность назвать следующие элементы, повлиявшие на принятие советским руководством решения о ликвидации польских офицеров:

1. Решение о расстреле вероятнее всего было принято самим Сталиным в конце февраля — начале марта 1940 года. Довольно сомнительной представляется версия, по которой Берия или Меркулов могли самостоятельно принять такое решение — слишком велика была ответственность. Вероятно также допущение, что немалую роль в процессе принятия решения сыграл фактор стремления к укреплению советско-немецкого союза. Однако у нас до сего дня нет свидетельств, что немцы были поставлены в известность о судьбе польских военнопленных.

2. Мне представляется возможным утверждать, что создание лагеря в Грязовце и "виллы роскоши" в Малаховке произошло без специального решения Сталина. Они, скорее всего, были просто следствием свойственного Советскому Союзу диалектического подхода к политическим событиям.

3. Вскоре после Катынского расстрела отношение к полякам со стороны советских властей резко изменилось. Стоит также подчеркнуть, что вообще к полякам применялись довольно мягкие методы следствия, пытки к ним, по сравнению с русскими заключенными, применялись много реже. Во второй половине 1940 года было много слухов, что осужденным на смертную казнь полякам ее заменили на более мягкие виды наказания.

После нападения Гитлера на Россию высшие эшелоны власти в СССР стали серьезно сомневаться в правильности решения о ликвидации польских офицеров. Вполне возможно, что и до этого Меркулов был искренен, говоря Берлингу, что "с поляками поспешили". Во всяком случае, захваченных в это время в Литве польских военных уже не расстреливали, а доставили в лагерь в Грязовце.

Мне кажется, что одним из факторов смягчения отношения к полякам было занятие Гитлером Франции. В самом деле, Гитлер, занятый войной на Западе, не был страшен Советскому Союзу. Гитлер, ставший хозяином всей Европы, становился опасным. Поляки в такой ситуации могли пригодиться, а это, в свою очередь, исключало ликвидацию пленных.

В феврале 1941 года следствие по моему делу было закончено, закончено в довольно мягких тонах, и следовательно разговорился со мною. Разговор наш носил самый общий характер, но все же я нашел в его словах нотки опасения и неверия в советско-германский союз. Я посмотрел на стену кабинета. Там висела карта Югославии, вся утыканная разноцветными флажками, обозначающими, видимо, советскую агентурную сеть. Я подумал, такая экспансия в зоне германских интересов явно не может быть расценена Гитлером иначе чем провокация.

Дело было как раз в то время, когда Сталин изо всех сил старался сохранить союз с Гитлером. И я до сих пор задаюсь вопросом: отдавал ли Сталин себе отчет, что деятельность его разведки и пропагандистской машины явно провоцирует Гитлера? Особенно, если учесть, что германский диктатор вовсе не был подлинным государственным мужем. Хотя он и подчеркивал постоянно свою политическую проницательность, все его решения принимались под действием эмоций. Он был еще более, чем Сталин, подчинен собственной фразеологии и легко впадал в гнев и истерику.

Таким образом, чтобы избежать вооруженного столкновения, Сталину следовало быть крайне осторожным и не стоять на пути немецкой экспансии. Кроме того, равновесие советско-германских отношений, несмотря на явно прогитлеровскую ориентировку Сталина, было чрезвычайно слабым. В свою очередь, диалектика Катюни может быть полностью понятна только при учете этого слабого равновесия в советско-германском союзе.

ГЛАВА XII

РОССИЯ И ПОЛЬША

Разгадка Катынской трагедии не только важна сама по себе, она важна еще и с точки зрения истории отношений между Польшей и Россией — двух соседних государств, тесно связанных друг с другом и имевших немало конфликтных ситуаций на протяжении веков. Я не верю в существование "вечных" и "постоянных" врагов, но следует признать, что некоторые факты и события могут ухудшать отношения между народами для целых поколений и могут приобрести еще более мрачную окраску с исторической перспективы. Могут они и оказать влияние на принимаемые в будущем решения. Есть в истории и элементы чисто эмоционального характера, они тоже играют не последнюю роль в политической жизни. Конечно, не все они толкают на войны, есть среди них и те, что способствуют укреплению дружбы и доверия.

На мой взгляд, в польско-российском историческом споре есть некоторая неточность. Спор этот начался еще во времена Ивана III, и основными сторонами в нем были Московская Русь и Великое княжество Литовское. Ну а после того, как литовские великие князья получили польскую корону, а литовско-русское население — их вотчины, оно стало все более и более полонизироваться, спор этот превратился в спор между Польшей и Россией. Даже во времена разделов Польши большая часть шляхты все еще мыслила категориями Великого княжества Литовского, — государства давно переставшего существовать и исчезнувшего с политической карты Европы.

Пушкин в своем замечательном стихотворении, посвящен-

ном ноябрьскому восстанию, писал именно о реванше Литвы. Пилсудский в начале двадцатых годов, по мере того как польские границы продвигались на Восток, также пытался возродить единство земель бывшего Великого княжества, не зависимо от варшавского правительства и Сейма. Но после поражения под Киевом ему пришлось оставить эти попытки.

Описанный мною ранее спор с Ксаверием Прушиньским как раз и заключался в том, что он готов был во имя дружбы с Россией зачеркнуть великолитовские традиции нашей истории. Я же считаю, что эта традиция была и есть органичной частью того, что я называю родиной.

Сейчас возрождение Великого княжества Литовского, казавшееся таким возможным в 1919 году, отошло в прошлое. Но на повестку дня стал вопрос независимости Украины, Белоруссии и Прибалтийских государств. И трудно сказать, как эта проблема отразится на советско-польских отношениях. Да и сама Польша, вышедшая из огня Второй мировой войны, это уже не Польша Пилсудского, она уже не является носителем великолитовской традиции.

В течение последних двухсот лет польский народ многое претерпел от России. Но следует и признать, что множество поляков до самой Первой мировой войны жило в России, любило русских женщин, участвовало в промышленном и культурном развитии страны, многие из польских офицеров дошли до генеральских званий в русской армии, немало польских ученых преподавало в российских университетах и т. д. Я сам принадлежу к поколению, прошедшему через русскую школу, и знаю больше стихов Лермонтова и Пушкина, чем Мицкевича и Словацкого. И хотя еще школяром я стал участвовать в польском национальном конспиративном движении, был полностью захвачен идеями Пилсудского, я все же не потерял любви к русскому народу, искусству и литературе.

Даже если взять наши лагерные воспоминания, не все в них окрашено в мрачные тона. В козельском лагере было несколько офицеров, попавших в плен ранеными, они с боль-

шой теплотой вспоминали уход и заботу русских врачей в госпиталях, где их лечили. Мои личные лагерные впечатления подтверждают, что врач там скорее друг заключенного, чем его враг. У меня остались самые лучшие воспоминания о моих сокамерниках по Лубянке и Бутырке. И все это важно иметь в виду, когда Катынская трагедия рассматривается с исторической перспективы.

И если мы говорим о советской системе репрессий и террора, следует помнить, ни Сталин, ни Берия не были русскими. Вспомните, Сталин, как и Екатерина II, так и не смог избавиться от акцента; люди старшего поколения это хорошо помнят. Дзержинский — творец советской тайной полиции и системы тюрем и террора — был польским дворянином, его преемником стал тоже представитель польского дворянства — Менжинский. И после Менжинского вновь пришел выходец из Польши — польский еврей Генрих Ягода*. И только после него к руководству тайной полицией пришел русский Ежов, но и он был вскоре заменен грузином Берия. Одна из самых мрачных фигур сталинизма — главный обвинитель на всех показательных политических процессах, виновный в расстрелах множества соратников Ленина, — Андрей Вышинский — тоже был польского происхождения, хотя и утверждал, что не знает польского языка.

Сегодняшняя Польша связана с Россией не только своим географическим положением и участием в так называемом лагере социализма, она связана с народами России и общей надеждой: Польша только тогда получит свободу, когда в самой России произойдут перемены. Уже никто не может молиться о войне, как это делал во время великого переселения народов Мицкевич, ведь будущее человечества сейчас полностью зависит от того, в чьих руках находится оружие массового уничтожения. Но даже если на минуту представить, что Польша полностью свободна распоряжаться своей судьбой, то опять она будет связана с Россией: польская промышленность во многом зависит от по-

*Ronald Hingley. The Russian Secret Police. London, 1970, p. 157.

ставок сырья из России. Следовательно, в любых условиях обеим странам следует стремиться к тому, чтобы связи между ними были основаны не на страхе, как в настоящее время, а на взаимном доверии и уважении друг друга.

Катынская же трагедия — это камень преткновения, могущий на века испортить отношения между двумя странами. Широко известно, что число евреев, уничтоженных гестапо, намного превышает число ликвидированных НКВД поляков. И тем не менее отношения между Германией и Израилем были нормализованы. И это произошло потому, что послевоенные германские правительства и все население Германии безапелляционно осудили жестокости гитлеровского режима.

Советский Союз признал и осудил целый ряд преступлений Сталина: реабилитированы маршалы Блюхер и Тухачевский, ряд видных коммунистов, сподвижников Ленина. Хрущев осудил массовые депортации крымских татар, некоторых кавказских народностей. После этого им частично было разрешено вернуться на прежние места жительства⁵⁴. Были расстреляны Берия и Меркулов — главные подручные Сталина в его преступлениях. И все же до сих пор СССР не признает ответственности за убийство польских военнопленных, апеллируя к выводам сталинской Чрезвычайной комиссии.

Но всему миру известно, что не только выводы Комиссии были всего лишь фиксацией заранее подготовленного решения НКВД, но и сама Комиссия не имела фактически никаких полномочий. Единственное, что ей было позволено, это, опять-таки по сценарию НКВД, "описать", как именно были расстреляны немцами пленные польские офицеры. И каждый русский, независимо от его партийной принадлежности, должен стремиться заставить свое правительство признать ответственность за эту трагедию, не сваливать вину на немцев, а открыто признать, что расстрел был произведен органами НКВД по приказу Сталина.

Простейшим выходом из создавшегося тупика было бы создание смешанной советско-польской комиссии, которая бы смогла разобраться в нагромождении лжи, покрывшим Ка-

тынское дело. Сам факт признания ответственности за совершенное преступление вовсе не означает, что следует создать суды, наказать виновных — уже достаточно преступлений Сталина было осуждено на XX съезде КПСС, XXI съезд постановил вынести саркофаг с его телом из мавзолея⁵⁵. А главные участники трагедии — Берия и Меркулов, — как я уже сказал, итак были расстреляны по приговору советского суда. Правда, судебное заседание по их делу было закрытым и нам неизвестно, выдвигалось ли против них обвинение в соучастии в Катынском расстреле.

Катынское дело только тогда можно считать закрытым, когда весь российский народ осудит это преступление и тех, кто его совершил. Но сначала надо узнать правду о Катыни и выяснить все до конца.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹Польская войсковая организация (ПОВ) [Polska organizacja wojskowa] — конспиративная организация, основанная Йозефом Пилсудским в Варшаве в августе 1914 года из военизированных групп Стрелецкого Союза (Związek strzelecki) и Польских стрелковых дружин (Polski drużyny strzelecki). Организация действовала на территории Польши, Галиции и России, проводя диверсионную и разведывательную деятельность в расположении частей русской армии. Основной целью организации была борьба с Россией за независимость Польши. Главным комендантом ПОВ (командующим) был Пилсудский, а после его ареста в июле 1917 года — Е. Рыдзь ("Śmigły"). После занятия германской армией Польши часть членов ПОВ вступила в I Бригаду польских легионов. Организация насчитывала в 1917 году около 13 тысяч членов. Формальным верховным органом ПОВ был организованный Пилсудским в декабре 1915 года Народный центральный комитет. В конце Первой мировой войны ПОВ перестала быть подпольной организацией и принимала участие в передаче власти в Галиции от австрийской оккупационной администрации и в разоружении германских частей в Польше. В декабре 1918 года вошла в состав польской армии. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

²Данцигский (Гданьский) коридор — название в 1919 — 45 годах полоски земли шириной от 30 до 200 км, полученной Польшей по Версальскому договору для выхода к Балтийскому морю. По тому же договору Гданьск был провозглашен "Вольным городом Данцигом" под протекторатом Лиги Наций.

³Падеревский Игнацы (1867 — 1941) — польский политический деятель, композитор и пианист. Входил в состав Польского национального комитета — организации, фактически приведшей Польшу к получению независимости; был представителем комитета в США с 1917 года. В январе — ноябре 1919 года премьер-министр и министр иностранных дел Польши. Подписал от имени польского правительства на парижской конференции Версальский договор 1919 года. В 1936 году участвовал в создании оппозиционного блока умеренно-правых партий — так называемый "Фронт Морж". С января 1940 года был председателем Сейма в эмиграции. Как композитор и пианист пользовался мировой славой, автор опер "Манру" и "Шакунтала", других произведений.

⁴Густав Штресеманн (1879 — 1929) — германский дипломат и политический деятель. В 1902 — 1918 годах был председателем Союза германских промышленников, в 1907 — 1912 и 1914 — 1924 годах — депутат Рейхстага, в августе — ноябре 1923 года — рейхсканцлер, в 1923 — 1929 годах — министр иностранных дел. Выступал за сотрудничество с СССР, подписал с СССР Торговый договор 1925 года и Договор о нейтралитете и ненападении в 1926 году.

⁵Локарнские договоры были подготовлены на проходившей 5 — 16 октября 1925 года в Локарно (Швейцария) конференции министров иностранных дел Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Польши и Чехословакии; подписаны 1 декабря в Лондоне. На конференции было парафировано девять документов, наиболее важен из которых Рейнский гарантийный пакт, обязывавший подписавшие его страны сохранять в Европе границы, установленные Версальским мирным договором, и соблюдать условия демилитаризации Рейнской области.

Были также подписаны франко-польский и франко-чехословацкий договоры, по которым Франция обязалась предоставить помощь Польше и Чехословакии в случае нападения на них Германии. Правда, оказание помощи обуславливалось согласием на это Лиги Наций. 7 марта 1936 года Германия в одностороннем порядке денонсировала Рейн-

ский гарантийный пакт и ввела свои войска в Рейнскую область.

⁶Жорж Сорел (1842 — 1922) — французский мыслитель, теоретик анархо-синдикализма. Главный труд — ”Размышление о насилии” (1908).

⁷Рапальский договор подписан Чичериним, возглавлявшим советскую делегацию на генуэзской конференции, и специальным представителем германского правительства Ратенау 16 апреля 1922 года в итальянском городе Рапалло. По договору стороны обязались предоставить друг другу статус наибольшего благоприятствования в торговле, решать спорные вопросы только мирным путем. Кроме того, Германия признавала национализацию германской государственной и частной собственности, произведенную после Октябрьской революции. Однако, по мнению историков Михаила Геллера и Александра Некрича, наибольшее достижение советской дипломатии заключалось в том, что, подписав договор, между РСФСР и Германией устанавливались дипломатические отношения и тем самым разбивалось единство капиталистических держав в дипломатической блокаде РСФСР. Действие договора было распространено также на союзные с РСФСР советские республики согласно соглашению между ними и Германией, подписанному 5 ноября 1922 года.

⁸Эдвард Рыздь-Щмиглы (1886 — 1941) — в 1917 — 18 годах комендант (начальник) Польской войсковой организации. Во время советско-польской войны 1920 года — главнокомандующий польскими войсками. После военного переворота 1926 года назначен Пилсудским генеральным инспектором армии. После смерти Пилсудского в 1935 году получил пост главнокомандующего и фактически был военным диктатором. В сентябре 1939 года бежал за границу.

⁹Восстание Костюшко, или восстание 1794 года, — национально-освободительное восстание польского народа под предводительством генерала Тадеуша Костюшко (1746 — 1817) против польского магнатства, захватившего власть в результате переворота после Тарговицкой конференции 1792 года и против интервенции России и Пруссии, осу-

ществивших в 1793 году второй раздел Польши. Целью восстания было получение независимости и воссоединение с отторгнутыми польскими землями, восстановление польской конституции 1791 года. Восстание было подавлено русскими войсками под командованием А. В. Суворова, вслед за чем произошел третий раздел Польши и она перестала существовать как государственное образование. Большая часть Польши вошла под именем Царства Польского в состав Российской империи.

¹⁰ Абиссинская война — итало-эфиопская война, пятая по счету, начавшаяся нападением итальянских войск 3 октября 1935 года на Эфиопию из итальянской колонии Эретрея. Во время войны итальянские войска применяли запрещенные виды оружия — отравляющие газы, от которых погибло около 275 тысяч эфиопов. Применение газов и других варварских методов войны заставило Лигу Наций 7 октября 1935 года признать Италию агрессором и ввести против нее жестокие экономические санкции. 5 мая 1936 года итальянцы заняли столицу Эфиопии Адис-Абебу и провозгласили создание нового колониального владения, в которое помимо Эфиопии входили Эретрея и Итальянское Сомали. 15 июля 1937 года Лига Наций сняла санкции с Италии. Итальянцы были изгнаны из Эфиопии в результате партизанской войны в 1941 году.

¹¹ Имеется в виду советско-польская война, называемая, с легкой руки Сталина в советской историографии "третьим походом Антанты". С зимы 1919 года польские войска вступают в частые конфликты с армиями Украинской и Белорусско-Литовской республик (следует помнить, что дело происходило до создания в 1922 году единого союзного государства), и к концу августа 1919 года польские войска выходят на линию Вильно — Львов — Минск. Опасаясь оккупации больших территорий, 11 августа 1919 года правительство Ленина через посредничество польского коммуниста Мархлевского вступает в секретные переговоры с правительством Пилсудского. Однако переговоры к успеху не привели и были прерваны 14 декабря 1919 года. Пилсуд-

ский на переговорах фактически выдвинул ультиматум, требуя признать: сохранение предварительной линии границы, прекращение коммунистической пропаганды в польской армии и прекращение военных действий против Петлюры. Ленин принял все пункты, кроме последнего, что и привело к провалу переговоров. 17 апреля 1920 года Пилсудский отдает приказ о наступлении на Киев, а 21 апреля подписывает договор о военном сотрудничестве с Петлюрой. 7 мая Киев был взят поляками, но уже 12 июня отбит частями Красной армии, во главе которых стояли бывшие офицеры царской армии Тухачевский, Корт, Лазаревич, Сологуб и Сергеев. В июле на специальном заседании Политбюро принимается решение о вторжении в Польшу, против выступил только Троцкий. 23 июля создается Польский революционный комитет во главе с Мархлевским и Дзержинским. 28 июля частями Красной армии взят первый крупный польский город — Белосток. 14 августа наркомвоенмор издает приказ "Вперед на Варшаву!" Этот призыв скоро превратился в лозунг "Даешь Берлин!" Однако советские войска были остановлены под Варшавой и разбиты. 12 октября 1920 года в Риге был подписан советско-польский мирный договор, по которому Польша продвинула свои границы далеко на восток, даже дальше, чем летом предлагалось лордом Керзоном. Главком Каменев так характеризовал причины поражения: "Красная армия протянула руку польскому пролетариату, но протянутой руки пролетариата не оказалось. Вероятно, более мощные руки польской буржуазии эту руку куда-то далеко-далеко запрятали". Более серьезный анализ показывает, что основных причин поражения было две: огромный подъем патриотизма в Польше, вызванный завоеванием независимости, и ужасающая несогласованность действий частей и фронтов [в операции участвовало два фронта] Красной армии.

¹²Польская социалистическая партия (ППС; Polska partia socjalistyczna) основана на съезде польских социалистов в Париже 21 ноября 1892 года, там же был утвержден Проект программы партии. Первые конспиративные организации

партии появились в Варшаве в 1893 году. В марте 1893 года прошел I съезд ППС в Вильно. Основной целью и задачей партии называлась борьба за независимость и суверенность Польши. На V съезде (1900 год) произошел раскол, образовалась группа так называемых "старых" (Пилсудский, Василевский и другие). Имела несколько печатных изданий, главными из которых были "Работник" ("Rabotnik") и "Рассвет" ("Przedświt"). На IX съезде в Вене произошел новый раскол партии, появились ППС-левица и ППС-революционная фракция ("старые"). На прошедшем в мае 1920 года XVII съезде первоочередной задачей партии было провозглашено создание "рабочего правительства в мирных условиях и предоставление народу широких демократических свобод в рамках парламентарного правления". После майского 1926 года переворота Пилсудского ППС перешла в оппозицию режиму. После принятия в 1935 году нового избирательного закона и Конституции ППС завязала контакты с компартией, считая принятые документы антидемократичными. На XXIV съезде (1937 год) ППС приняла новую программу, провозгласив своей целью "достижение диктатуры пролетариата". С 1924 года входила в состав II Интернационала. ППС активно участвовала в организации обороны Варшавы в сентябре 1939 года. Во время Второй мировой войны фактически представляла собой разрозненные группы, в Лондоне располагался заграничный комитет ППС, руководимый Либерманом и другими. На освобожденной от немцев территории проводила политику возрождения партии, активно участвовала в подготовке и проведении в 1946 году референдума о судьбе государства. Осенью 1946 года Центральный комитет во главе с Циранкевичем принял решение об объединении с Польской рабочей партией. Решение было подтверждено на XXVIII съезде (ноябрь 1948 года). Новая партия получила название Польская объединенная рабочая партия (ПОРП).

¹³ Аллан Фрэнсис Брук (1883 — 1963) — английский фельдмаршал [с 1944 года]. Во Второй мировой войне был командующим английским корпусом во Франции, в 1940 — 1941 го-

дах — командующий войсками метрополии, в 1941 — 1946 годах — начальник имперского генерального штаба. Автор книг и статей по стратегии и тактике боевых действий.

¹⁴Владислав Андерс — польский политический и военный деятель. Во время Первой мировой войны служил в царской армии. В начале Второй мировой войны командовал Новоградской кавалерийской бригадой, а с 12 сентября 1939 года — оперативной группой польской кавалерии. 1939 — 1941 годах был интернирован в СССР, после подписания советско-польского военного договора командовал польским корпусом в СССР, вместе с которым и вышел в 1942 году на Ближний Восток. Причиной выхода частей Андерса послужили глубокие расхождения между ним и советскими властями во взглядах на будущее политическое устройство Польши и на роль польских войск в войне.

¹⁵Краков (Kra^ow) в XI — XVI веках был столицей Польши и резиденцией польских королей; в 1815 — 1946 годах — центр Краковской республики.

¹⁶Ягеллонская династия (Jagellonowie) — королевская династия в Польше в 1386 — 1572 годах, в Великом княжестве Литовском — в 1377 — 1401 годах, в Венгрии — в 1440 — 1444 годах, в Чехии — в 1471 — 1526 годах. Основатель династии — князь Владислав Ягайло (1350 — 1434).

¹⁷Армия Краёва (Armija Krajowa), криптоним SZK (Вооруженные силы страны, sily zbrojne w kraju) — конспиративная военная организация на польской территории, подчинявшаяся Лондонскому эмигрантскому правительству. Костяк организации составляла организованная 27 сентября 1939 года в Варшаве Служба спасения Польши (SZP), получившая позднее, в январе 1940 года, название "Союз вооруженной борьбы", руководимый польской эмиграцией в Париже. После оккупации гитлеровцами Франции командование переместилось в Лондон, и во главе его встал генерал Сикорский. АК была организована по территориальному принципу, в Польше командовал ею Главный комендант. Первым комендантом был М. Карашевич-Токаржевский ("Доктор"), а комендантом в Париже — генерал Соснковский (до

30 июня 1940 года). Комендантами в Польше были: генерал Ровецкий ("Грот"), арестован гестапо 30 июня 1943 года, до падения варшавского восстания — генерал Коморувский ("Вурдо"), генерал Окулицкий ("Неджвядек"). Общим планом деятельности АК предусматривалась подготовка и проведение всеобщего вооруженного восстания, разведывательная и диверсионная деятельность. В ноябре 1943 года АК приступила к реализации плана "Буря", предусматривавшего удар по немецким оккупантам и подготовку условий перехода власти в Польше в руки лондонского эмигрантского правительства. Первым элементом операции было варшавское восстание, потопленное гитлеровцами в крови. Причиной поражения восстания было не только слабое вооружение и подготовка восставших, но и полное бездействие Советской армии, спокойно наблюдавшей с противоположного берега Вислы за расправой над восстанием; советское наступление на Варшаву началось только после поражения восставших. Причины этому были в противоречиях Сталина и лондонского правительства, которое он не признавал и подготовил уже ему замену из своих марионеток. АК распущена приказом главного коменданта Л. Окулицкого 19 января 1945 года.

¹⁸СССР не был членом Четвертой Гаагской конвенции 1907 года и не признавал Положения и обычаи ведения сухопутной войны и правил обращения с военнопленными, являющиеся приложением к этой конвенции. Более того, доверенными уставами Красной армии сдача советских солдат и офицеров рассматривалась как измена Родине и соответственно наказывалась — вплоть до расстрела. Это послужило причиной того, что советские военнопленные были в худшем, по сравнению с военнослужащими других стран, положении. Международный Красный Крест, не получая от СССР средств на их содержание, не мог осуществлять помощь советским пленным. То же самое зачастую происходило и с пленными, захваченными Красной армией, советский Красный Крест не принимал никакой помощи и средств на их содержание, и вопреки международному праву и обычаям, они

полностью подпадали под действие советских законов. Безусловно, такой подход порождал массу злоупотреблений, жестокостей и беззаконий. После окончания Второй мировой войны большинство советских военнопленных были схвачены органами НКВД и СМЕРШа, осуждены и отправлены из немецких лагерей в лагеря советские. Причем, они отбывали наказание и после подписания СССР в 1949 году Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Надо заметить, что обеими конвенциями, и 1907 и 1949 года, предусматривалось оказание медицинской помощи нуждающимся военнопленным и запрещение использования их на любых видах работ, кроме работ по уборке помещений, в которых они содержались.

¹⁹“Кормушкой” на тюремном жаргоне называлось небольшое отверстие в двери камеры, через которое заключенным передавалась пища. Многие узники сталинских тюрем пишут в своих воспоминаниях, что часто, особенно в 1937 — 1938 годах, кормушка была единственной связью камеры с внешним миром, даже параша [ведро с крышкой для оправки] иногда выносилась только раз в неделю, независимо от того, как быстро она наполнялась.

²⁰В “Архипелаге ГУЛАГ” Солженицына и в “Крутом маршруте” Евгении Гинзбург упоминаются каменные шкафы, в которых люди могли либо только стоять, либо только сидеть, в зависимости от конструкции шкафа. Эти помещения применялись в качестве карцеров и иногда в качестве одного из элементов допросов. Есть свидетельства, что некоторые заключенные проводили до трех недель в этих шкафах. Однако других свидетельств о существовании железных шкафов-карцеров в мемуарной и советологической литературе найти не удалось. Безусловно, отсутствие упоминаний о них никак не может ставить под сомнение свидетельство Свяневича.

²¹Б. Яковлев в своем фундаментальном труде “Концентрационные лагеря в СССР”, изданном в 1983 году канадским издательством “Заря” об этом периоде в истории советских лагерей пишет следующее: “Этот период (1939 — 1940 года)

ознаменовался новым притоком заключенных, арестованных еще во времена ежовщины, но задержанных в следственных тюрьмах.

О созданных в этих годах закрытых изоляторах имеются разноречивые сведения. По-видимому, никому из них не удалось достичь свободного мира. Созданы эти изоляторы были в различных отдаленных местах Советского Союза. Заключенные в них, по ряду сообщений, не принуждались к тяжелому труду и при поступлении становились "номерниками", теряя свои установочные данные.

В этот период лагеря пополнились следующими контингентами:

1. Польским офицерством, избежавшим Катинского уничтожения;
2. Советскими военнопленными, освобожденными из финского плена;
3. Депортированными из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

В 1940 году в лагерях были произведены массовые расстрелы по норме указанной ГУЛАГом — пять процентов от общего числа заключенных”.

²²Николай Ежов занимал пост наркома внутренних дел с 25 сентября 1937 года по декабрь 1938-го, заменив на этом посту Генриха Ягоду. Краткий период "работы" Ежова в НКВД тем не менее был, пожалуй, самым страшным для советского народа. Взяв на вооружение выступление Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, провозгласившим борьбу со "шпионами и диверсантами", Ежов и партийное руководство привели страну в состояние постоянной напряженности, всеобщей шпиономании, подозрительности. Террор принял в это время плановый характер, все местные подразделения НКВД получали спущенный им план по аресту и ликвидации "врагов народа". Однако очень скоро Ежов выполнил свою функцию палача и стал более не нужен Сталину. В июле 1938 года Ежов совместил обязанности наркома НКВД и наркома водного транспорта, а Берия был назначен заместителем наркома НКВД. В декабре того же года Берия был назначен наркомом НКВД. Ежов, в

отличие от своего предшественника Ягоды, не был объявлен шпионом или врагом, он просто "исчез" из советской печати и общественной жизни. Достоверных данных о его дальнейшей судьбе нет.

²³Всеволод Николаевич Меркулов — заместитель наркома НКВД. С 1941 года, после отделения от НКВД наркомата госбезопасности (НКГБ) Меркулов был назначен наркомом госбезопасности, в 1946 году он был обвинен Сталиным в некомпетентности и заменен на этом посту Виктором Абакумовым. Расстрелян вместе с Берия в декабре 1953 года.

²⁴Имеется в виду так называемая *прожарка* — камера для дезинфекционной обработки одежды и вещей заключенных посредством высокой температуры или пара. Судя по воспоминаниям бывших эзков, в тридцатых — пятидесятых годах прожарка была единственным применявшимся методом дезинфекции в советских тюрьмах и пересыльных пунктах. Известна прожарка и не прошедшим через тюрьмы. В санпропускниках, во время Великой Отечественной войны, она широко применялась и была известна в народе под названием *вошебойки*.

²⁵Милован Джилас — видный деятель югославской компартии. Член КПЮ с 1932 года, с 1937-го — член ЦК КПЮ, с 1940-го — член Исполкома ЦК КПЮ. Активно участвовал во Второй мировой войне, неоднократно бывал в составе югославских военных делегаций в СССР (на основе своих встреч со Сталиным написал в 1961 году книгу "Разговоры со Сталиным"). После победы над фашизмом вошел в состав Временной народной Скупщины (парламента), получив пост министра по делам Черногории. В начале 1953 года он становится одним из четырех вице-президентов Югославии, а в конце того же года председателем Союзной народной Скупщины. В 1953 году, после опубликования своей статьи в газете "Борба", где он обвинил партию в перерождении и в превращении ее в правящий класс, он вошел в открытый конфликт с властями. В январе 1954 года он был решением пленума Союза коммунистов Югославии смещен со всех своих постов, а в марте — исключен из партии. В

1956 году он открыто одобрял Венгерское восстание, за что был осужден на три года заключения, после выхода в свет "Разговоров со Сталиным" (1961) был вновь осужден за "разглашение государственных тайн" на семь лет. Освободился он из заключения в 1966 году, но не был восстановлен в гражданских правах. Основным его трудом, безусловно, можно считать книгу "Новый класс", в которой он подробно разрабатывает и обосновывает появление и существование в социалистических странах нового паразитического класса бюрократов из числа партийных и государственных аппаратчиков (номенклатуры).

²⁶Генерал Владислав Сикорский (1881 — 1943) — премьер-министр и военный министр Польши в 1922 — 1923 годах, премьер-министр польского эмигрантского правительства в 1939 — 1943 годах. 30 июля 1941 года подписал в Лондоне соглашение о возобновлении дипломатических отношений с СССР. Этим соглашением предусматривалась организация на советской территории "польской армии под командованием, назначенным Польским правительством с согласия Советского правительства". Предусматривалось также, что эта армия должна была действовать под оперативным командованием Верховного командования СССР. Формальным документом, легализовавшим создание польской армии на советской территории, было подписанное советским и польским Верховными командованиями 14 августа 1941 года в Москве советско-польское военное соглашение. Под надуманным предлогом проведения польским эмиграционным правительством "антисоветской" политики Сталин порвал дипломатические отношения с правительством Сикорского 25 апреля 1943 года. Историки и советологи же склоняются к обоснованию этого шага Сталина ввиду подготовки им почвы для создания просоветского марионеточного правительства в Польше. Разрыв отношений мотивировался советскими властями "необоснованным и провокационным" обращением правительства Сикорского к Международному Красному Кресту с просьбой принять участие в исследовании катынских могил, эксгумации трупов и следствии, которое нача-

ли проводить немецкие оккупационные власти в Смоленске.

²⁷В данном случае позиция автора не совпадает с точкой зрения многих советологов. Так, например, Б. Яковлев в своей работе "Концентрационные лагеря СССР" приводит даже классификацию тюрем в СССР: следственные тюрьмы, внутренние тюрьмы, изоляторы, тюрьмы особого назначения. Кроме того, несколькими статьями Уголовного кодекса РСФСР и других республик в то время, как и ранее и позже, предусматривалось для некоторых родов преступлений именно тюремное заключение с выводом или без вывода на работы. Советская юридическая литература называет тюрьмы *одним из видов исправительно-трудового учреждения* (см.: Юридический энциклопедический словарь. М., 1984, с. 377); различаются тюрьмы по режиму содержания (общий и строгий), которые в свою очередь различаются "количеством свиданий, посылок, получаемых заключенным, размером денежных сумм, которые могут расходоваться для приобретения продуктов и предметов первой необходимости".

²⁸Особые совещания, судебные коллегии ОГПУ (на местах они назывались Особые тройки ОГПУ) были созданы сразу же после реорганизации 6 февраля 1922 года ВЧК в ОГПУ. Однако наибольшую активность особые совещания и тройки развили во времена ежовщины (1936 — 1938). Впрочем, особые совещания активно действовали вплоть до смерти Сталина, проводя политику массового террора на советской земле и на территориях, вошедших в состав СССР после Великой Отечественной войны. Так, по оценке Н. Семенова (Советский суд и карательная политика. Мюнхен, издание Института по изучению истории и культуры СССР, 1953, с. 131), только в 1933 году Особыми совещаниями было осуждено более трех миллионов человек. Особые совещания фактически были органами внесудебной расправы, они часто руководствовались не Уголовным кодексом, а специальными инструкциями или попросту называли сроки, как говорится, с потолка. Сама процедура судебного следствия была превращена в фарс: судебного разбирательства как

такового не было, не представлены были в суде и прокурор и защитник, и т. д. Например, как пишет Евгения Гинзбург в своих воспоминаниях, на разбирательство ее дела и вынесение приговора у тройки ушло всего семь минут, причем приговор был подписан и приготовлен заранее (см.: Евгения Гинзбург. Крутой маршрут. Книга 1-я. Нью-Йорк, 1985, с. 170 — 173).

²⁹Следует пояснить, что автор фактически находился в руках органов госбезопасности, а не НКВД. De jure ГУГБ после смерти Менжинского, по личному распоряжению Сталина в 1934 году, вновь вошло в состав НКВД, однако de facto госбезопасность пользовалась самостоятельностью и автономностью, имея полную финансовую и оперативную свободу. Кроме того, комплекс так называемых "антисоветских" и политических статей Уголовного кодекса входил в сферу деятельности именно госбезопасности, в то время как собственно уголовные преступления — в сферу деятельности НКВД. Более подробно об этом можно узнать из книги Джона Баррона "КГБ".

³⁰Борис Викторович Савинков (1879 — 1925) в 1903 — 1917 годах член партии социалистов-революционеров, один из руководителей Боевой организации эсеров, организовавший и участвовавший во многих террористических акциях этой организации. Занимал пост товарища (заместителя) военного министра Временного правительства. Занимался писательской деятельностью, в 1914 году опубликовал роман "То, чего не было". Руководил многими вооруженными выступлениями против большевиков. В результате операции ОГПУ в 1924 году был заманен провокатором на территорию СССР, арестован и судим. Многие историки, особенно в довоенное время, склоняются к мысли, что самоубийство Савинкова в лубянской тюрьме было инсценировкой ОГПУ. Подтверждают эту версию и некоторые свидетельства, но говорить о ее достоверности до открытия архивов КГБ не имеет смысла.

³¹Статья 58⁶ в то время выглядела следующим образом: "Шпионаж", т. е. передача, похищение или собирание с

целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным организациям и частным лицам, влечет за собой —

лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжкие последствия для интересов СССР, — высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства СССР и изгнанием из пределов СССР, навсегда, с конфискацией имущества.

Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям или лицам, указанным выше, влекут за собой —

лишение свободы на срок до трех лет.

Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной считаются сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом Советом Народных Комиссаров СССР по согласованию с Советами Народных Комиссаров Союзных республик и опубликовываемым во всеобщее сведение”.

Как видно, не надо быть специалистом в области права, чтобы понять, подобная статья, особенно в условиях тоталитарной диктатуры, может трактоваться как угодно и применяться к кому угодно. Кроме того, как справедливо заметил А. И. Солженицын, в России засекречено все, вплоть до ”количества баранов”, а упоминаемый в примечании к статье перечень никогда в истории СССР, вплоть до сегодняшнего дня, не был опубликован. Да и сам Уголовный кодекс был и остается одним из самых дефицитных изданий, купить и ознакомиться с которым практически невозможно. И тем не менее самое главное в этой статье, как и во многих других, это ужасающая расплывчатость терми-

нологии и самого определения преступного деяния. Единственное, что четко описано, — виды и меры наказания, но и они, судя по воспоминаниям жертв сталинского террора, не соблюдались, а приговоры и сроки наказания выносились произвольно и могли быть скорректированы администрацией лагерей и тюрем.

³²Подтверждения словам автора о необходимости получения следователем разрешения на проведение пыток нам не удалось найти ни в мемуарной литературе, ни в исследованиях о советской следственной и пенитенциарной системе. Напротив, все говорит о том, что применение пыток с 1917 года почти до 1954-го, а после этого имели место случаи применения "недозволенных" методов ведения следствия и допросов. В сороковых же годах, вплоть до начала войны, был широко распространен изуверский лозунг великого пролетарского писателя Максима Горького "Если враг не сдается, его уничтожают". Достаточно обратиться к свидетельствам, приведенным в "Архипелаге ГУЛАГ", чтобы понять, что никакого разрешения на проведение пыток никто не спрашивал. А вот процент раскрытых "врагов народа", раскрытых "преступлений" с каждого следователя спрашивался, и они, следователи, были кровно заинтересованы *любыми* средствами получить нужные показания от своих жертв. Подтверждения этому можно найти и в материалах советского общества "Мемориал". Впрочем, некоторый перерыв в деятельности НКВД действительно имел место, но вызван он был отнюдь не милосердием Лаврентия Павловича Берия, а широкой волной арестов и чисток внутри самого НКВД, что, собственно, и повлияло на некоторое снижение волны арестов среди гражданского населения сразу после назначения Берия на пост наркомвнудела.

³³Это заявление автора можно оспаривать. Подавляющее большинство историков и советологов в своих исследованиях приводят факты *массового и тотального* применения пыток к политическим заключенным и "социально чуждым элементам" практически с самого рождения советского государства, если быть абсолютно точным, то применение пы-

ток, как и захват и расстрел заложников, были санкционированы большевистским правительством в сентябре 1918 года во время провозглашения так называемого "красного террора". То же самое подтверждают и жертвы советских репрессий. Например, в документальном фильме "Власть Соловецкая" бывший узник Соловецкого лагеря особого назначения, ныне академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, вполне откровенно говорит о применении пыток в конце двадцатых — начале тридцатых годов, т.е. задолго до Ежова. Есть, правда, свидетельства о некотором смягчении террора сразу же после назначения на пост наркома внутренних дел Лаврентия Берия, но спустя буквально несколько месяцев террор достиг прежних размеров. Применение пыток практиковалось и при Берия в самых широких масштабах. Кстати сказать, "применение недозволенных методов ведения следствия" было одним из пунктов обвинения на суде против самого Берия и его подручных в декабре 1953 года. Во всяком случае, по официальной советской версии, поскольку судебное заседание, проходившее под председательством маршала Ивана Конева, было закрытым и материалы его нигде и никогда не были опубликованы. На XXII съезде выступающие и сам Никита Хрущев заявляли о применении пыток органами НКВД и госбезопасности, при этом не делалось никакого деления на "до Берия" и "при Берия". Интересующихся мы отсылаем к архивам общества "Мемориал" в Москве, где они смогут получить полную информацию из воспоминаний жертв террора о пытках, лагерях и других "прелестях" первых сорока лет советской власти.

³⁴До начала шестидесятых годов СССР был единственной страной, где признание подследственного считалось достаточным основанием для его осуждения, а преступление — раскрытым. С легкой руки ведущего советского "специалиста" по праву академика Андрея Януарьевича Вышинского признание вины считалось "царицей доказательств", а получение признания в ходе предварительного и судебного следствий — главной задачей правосудия. (См.: А. Я. Вышинский. Судебные речи. Москва, 1948; его же Теория совет-

ского государства и права. Москва, 1939.) Любопытно будет добавить и кое-что о самом Вышинском. Он был, пожалуй, единственным меньшевиком, сохранившим высокое государственное положение и умершим естественной смертью. Летом 1917 года Вышинский работал в департаменте полиции и возглавлял "охоту" на Ленина и других видных большевиков, организованную Временным правительством. В сталинское время он был государственным обвинителем на всех крупных политических процессах, начиная с процесса в мае 1924 года над ленинградскими судебными работниками (процесс Сенина-Менакера и других).

³⁵Усть-Вымьский лагерный комплекс (Коми АССР) состоит из 22 лагерных отделений, мужских и женских, расположен вдоль железной дороги Котлас — Ухта. Лагерь расположен в зоне хвойных лесов с резко континентальным климатом. Средняя температура января —16°, июня +16°. Группа лагерей числится в советских реестрах под номером 243. Управление лагеря находится в поселке Вожаель при лагпункте №242/8. Все заключенные пользуются в лагере правом раз в месяц отправить письмо и раз в месяц получить, количество получаемых посылок не ограничивается. В лагере есть БУРЫ (бараки усиленного режима, карцеры), центральный изолятор находится в Вожаеле. Большинство заключенных работает на лесозаготовках и на деревообрабатывающем комбинате, некоторые работают также на нефтеразработках и в сельском хозяйстве. Труд заключенных оплачивается. Есть возможность делать покупки в лагерном ларьке. Каждое лагоотделение имеет штрафные команды. Лагерь действует по сегодняшний день.

³⁶Действительно, с самого рождения советского государства заключенные как в официальных юридических документах, так и в пропагандистских материалах делились на две категории: на социально близких, или так называемых оступившихся, куда входили уголовники, и на "врагов", т. е. лиц, совершивших политические преступления. В зависимости от масштаба и характера экономического преступления совершившие его включались в первую или, что было чаще,

во вторую группу. Для социально близких сроки были меньше, а условия содержания — лучше, чем для политических. За примерами далеко ходить не надо, не стоит даже заглядывать в юридическую литературу. Достаточно вспомнить популярный роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок", где Остап Бендер, узнав, что Шура Балаганов промышляет воровством, спрашивает его, сколько раз он за *этот год* судился, и получает ответ, два раза. В самом деле, по большинству уголовных преступлений уголовными кодексами 1922 и 1926 годов предусматривалось наказание в виде исправительных работ сроком от полугода до трех лет. Причем и это мизерное наказание, по сравнению с наказанием за политические "преступления", могло быть снижено "принимая во внимание социальное происхождение, слабую политическую сознательность или малограмотность обвиняемого".

³⁷Автор в данном случае ошибается. Учредительное собрание было созвано 5(18) января 1918 года, в тот же день в петроградском Таврическом дворце прошло первое его заседание. На этом заседании делегаты Учредительного собрания не признали и не утвердили ни одного из декретов советской власти, т. е. большевистского правительства. Это послужило причиной закрытия Учредительного собрания в пятом часу утра 6(19) января, а в ночь с 6(19) на 7(20) января 1918 года был принят экстренный декрет ВЦИК о роспуске первого российского парламента, избранного в ходе подлинно демократических выборов.

³⁸Подобные слухи имели хождение с самого введения смертной казни большевиками в конце 1917 года (смертная казнь была отменена Временным правительством, отмена ее подтверждена постановлением Всероссийского Съезда Советов 8 ноября 1917 года [См: "Правда" ("Рабочий путь"), 9 ноября 1917 года] и восстановлена в конце 1917 года. Первое официальное сообщение о смертном приговоре и приведении его в исполнение опубликовано "Правдой" в номере от 23 июня 1918 года в сообщении об осуждении и расстреле по приговору Революционного трибунала ВЦИК на-

морси Щасного). Летом 1988 года переводчик данной книги беседовал с одним из основателей и активных участников группы "Мемориал" Юрием Самодуровым. По словам Самодурова, в материалах группы нет ни одного свидетельства о неприведении смертных приговоров в исполнение; не удалось найти этому достоверных подтверждений и в исторической и мемуарной литературе.

³⁹Летом 1988 года в Москве проходила встреча-семинар советских и польских историков, посвященная изучению "белых пятен" в истории советско-польских отношений. Однако вопрос о Катыни, хотя и рассматривался, остался нерешенным. В своих выступлениях по советскому телевидению участники встречи заявили, что нет оснований сомневаться в выводах специальной комиссии, занимавшейся рассмотрением этого вопроса в конце войны, и что расстрел польских офицеров был осуществлен гитлеровскими войсками в 1941 году. Никаких ссылок на документы, архивные материалы или на другие экспертные мероприятия при этом не делалось.

⁴⁰Здесь стоит обратить внимание читателя на то, что НКВД и НКГБ принимали косвенное участие в войсковых операциях: именно этим двум ведомствам подчинялись советская разведка и контрразведка, специальные формирования СМЕРШ, заградительные и трофейные отряды. Кроме того, в непосредственных боевых операциях участвовали подразделения НКВД и милиции; по некоторым сведениям, Штаб партизанского движения или диверсионная деятельность на оккупированных территориях также координировалась НКВД и НКГБ. Но, безусловно, это примечание не имеет своей целью обелить Берия, Меркулова и иже с ними.

⁴¹Автор, видимо, несмотря на свое пребывание в лагерях и изучение СССР, не достаточно четко себе представляет размеры сталинских репрессий, которые свободно попадают под определение геноцида. По самым скромным подсчетам, основанным на анализе советских переписей населения, только в кампании по "уничтожению кулачества как класса" погибло около трех миллионов человек. При этом

надо учитывать, что, как признается сейчас в Советском Союзе, результаты переписей тридцатых годов были сфабрикованы. А сколько миллионов погибло в застенках НКВД и в лагерях ГУЛАГа? На этот вопрос пока нет ответа. Кстати, репрессии и уничтожение собственного народа во все не было характерной чертой только советской истории. То же самое происходило в Монголии, ставшей в 1922 году на социалистический путь развития и поддерживавшей самые тесные связи с СССР, при Чойбалсане, в европейских социалистических государствах, бывших после войны фактически вотчинами Сталина и проводившими политику сталинизма. Есть и еще один момент. Фактически, в нарушение Версальского договора, СССР помогал вооружаться Германии: на советских судостроительных верфях строились подводные лодки для германского флота, немецкие офицеры обучались в советских военных высших учебных заведениях. Есть сведения о том, что Сталин проводил в 20-х годах политику финансовой поддержки нацистов, т.е. способствовал появлению гитлеризма и всех его проявлений.

⁴²Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше, России) — социал-демократическая партия националистического толка. Основана в Вильно в 1897 году. С 1898 года входила в РСДРП, а с 1906 года получила статус автономной организации в составе РСДРП. Бунд и их лидер Михаил Исаакович Либер (Гольдман) (1880 — 1930) поддерживали "экономистов" и меньшевиков. Либер в 1907 — 1912 годах входил в состав ЦК РСДРП. В 1917 году стал членом Петросовета и ВЦИК. После Октябрьской революции отошел от политической деятельности. За поддержку "экономизма" и из-за идеологических расхождений на VI партконференции в Праге Бунд был исключен из состава РСДРП. После Февральской революции Бунд поддерживал политику Временного правительства, а после Октябрьской революции пошел на открытую конфронтацию с большевиками. В 1920 году лидеры Бунда заявили о своем отказе от борьбы с советской властью, а в 1921 году — о самороспуске партии, после чего некоторая часть бундовцев вошла в

РКП(б); практически все они были ликвидированы в ходе чисток тридцатых годов.

⁴³По советско-германскому секретному протоколу от 23 августа 1939 года Финляндия попадала в сферу интересов СССР. Основываясь на поддержке Германии, 5 октября 1939 года СССР передал Финляндии следующие требования: обменять принадлежавшую финнам территорию на Карельском перешейке на советскую территорию в Карельской АССР и предоставить СССР право аренды полуострова Ханко. Дело в том, что Сталин таким путем старался отодвинуть границу от Ленинграда (она пролегла в 32 км, т.е. город был досягаем для тяжелой артиллерии), закрыть доступ к городу со стороны моря и обезопасить Мурманскую железную дорогу. Хотя в действительности со стороны Финляндии не было никакой угрозы, советские требования были переданы фактически в ультимативной форме. 13 ноября были прерваны советско-финские переговоры: финны не хотели отдавать Ханко в аренду и тем самым фактически попадать в зависимость от СССР. 28 ноября Советский Союз денонсировал советско-финский договор о ненападении, и 13 ноября советские войска начали военные действия. Кстати, именно советская агрессия против Финляндии послужила поводом для исключения 14 декабря 1939 года СССР из Лиги Наций. 12 марта 1940 года был подписан советско-финский мирный договор, по которому СССР получал Карельский перешеек, г. Выборг, Выборгский залив с островами, западное и северное побережье Ладожского озера с городами Кексгольм, Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском заливе, западные части полуостровов Рыбачий и Средний. Кроме того, СССР получил в аренду полуостров Ханко, где были созданы советские военно-морские, военно-воздушные базы и военные гарнизоны. Желание вернуть утраченные территории и было основным поводом вступления Финляндии в войну с СССР на стороне Германии. По мирному договору с Финляндией 1947 года советско-финской границей признавалась линия, предусмотренная договором от 1.1.1941; при этом Финляндия "подтвердила

возвращение СССР области Петсамо (Печенга)". По этому же договору СССР получил в аренду территорию Порккала-Уд, где были созданы советские военные базы. Территории эти были возвращены Финляндии 28 октября 1955 года после подписания между СССР и Финляндией специального соглашения о выводе советских войск с этой территории и отказе от прав на ее использование.

⁴⁴Согласно не подлежавшему разглашению *Плану развития народного хозяйства СССР на 1941 год (Приложение к постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) №127 от 17 января 1941 года)*, захваченному фашистами в Смоленском округе ВКП(б) и ныне находящемуся в США, НКВД обеспечивал 50% заготовок леса в важнейших лесодобывающих областях Советского Союза. По тому же плану предприятия НКВД предусматривалось добыть только в районе Ухты 250 тысяч тонн нефти; заключенные производили 40% союзной добычи хромитовой руды (150 тысяч тонн). О доле участия НКВД в экономической системе страны можно судить и по бюджетным ассигнованиям. Так, на 1941 год на нужды НКВД направлялось 6810 миллионов рублей, или 18% бюджета, больше, чем на нужды любого другого наркомата. В своей книге "Принудительный труд и экономическое развитие" автор приводит следующие цифры распределения рабочей рабочей силы в СССР в 1941 году:

на горношахтных работах	1,0 млн. человек
поставка заключенных	
по договорам промышленности	1,0 млн. человек
строительные работы	3,5 млн. человек
сооружение и обслуживание лагерей,	
изготовление лагерного инвентаря	0,6 млн. человек
лесоповал	0,4 млн. человек
сельское хозяйство	0,2 млн. человек

(S. Swianiewicz. *Forced Labour and Economic Development.*
London, 1965, p. 39.)

При этом следует учесть, что сведения эти далеко не полные, среди западных исследователей цифры общего числа

заклученных в довоенном Советском Союзе колеблются от 4 до 10 миллионов.

⁴⁵11 марта 1941 года по инициативе президента Франклина Д. Рузвельта был принят закон о поставках государствам антигитлеровской коалиции вооружения и продовольствия по принципу так называемого ленд-лиза. По этому закону США осуществляли поставки в 42 страны. На 31 декабря 1945 года размер поставок превысил сумму 49 млрд. долларов, причем сами США получили обратную помощь в размере 7346 миллиона долларов. Из общей суммы помощи Великобритания и страны Содружества получили 30,7 млрд. долларов, Франция — 2,4 млрд. долларов, гоминьдановские власти в Китае — 1,3 млрд. долларов. Поставки в СССР начались в конце 1941 года, в дальнейшем они осуществлялись на основе советско-американского договора 1942 года. На 30 сентября 1945 года общий их размер составил 9,5 млрд. долларов. По ленд-лизу в Советский Союз поставлялись танки (Шерман и др.), самолеты (Авиа-Кобра и др.), орудия, автомобили, продовольствие, медикаменты и другие товары. Кстати, знаменитый советский летчик Александр Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, летал на истребителе американского производства. По советским данным, суммарный объем американской помощи не превысил 4% от производства однотипных товаров в СССР, по западным оценкам, он составлял от 15 до 20%. Так, только с сентября 1941 года по июнь 1942 года 16 морскими конвоями через Мурманск в СССР было доставлено три тысячи самолетов, четыре тысячи танков, 30 тысяч машин, 42 тысячи тонн авиационного бензина и масла, 66 тысяч тонн горючего и около 800 тысяч тонн других грузов. За все время поставок в Советский Союз было отправлено 18,7 тысяч самолетов, 10,8 тысяч танков, 9,6 тысяч артиллерийских орудий, 401,4 тысячи автомашин, 44,6 тысячи металлорежущих станков, 2599 тысяч тонн нефтепродуктов, 517,5 тысяч тонн цветных металлов, 172,1 тысячи тонн кабеля и провода, 1860 паровозов, 11,3 тысячи железнодорожных платформ. В мае 1945 года США прекра-

тили поставки в европейскую часть СССР, но продолжали их, в связи с предстоявшим вступлением Советского Союза в войну против Японии, в районы Севера и Дальнего Востока. В 1947 году американские поставки в СССР были полностью прекращены. В 1947 — 48, 1951 — 52, 1960 и в 1972 году между СССР и США велись переговоры о выплате Советским Союзом задолженности по оплате поставок. В 1972 году американцы назвали сумму советской задолженности в 722 миллиона долларов. Однако, несмотря на подписанное 18 октября 1972 года соглашение о погашении задолженности, Советский Союз до сих пор не производит выплат. Более того, СССР связывает начало выплат с предоставлением ему статуса наибольшего благоприятствования в торговле; без этого, по заявлениям советских властей, выплаты производиться не будут.

⁴⁶Арнольд Джозеф Тойнби (1889 — 1975) английский историк и социолог. Основатель теории круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций, каждая из которых проходит аналогичные стадии возникновения, роста, надлома и краха. Движущей силой этого процесса является "творческая элита", увлекающая за собой "инертное большинство". По его мнению, прогресс человечества заключается в духовном совершенствовании, эволюции от примитивных анимистических религий через универсальные религии к единой всеобщей религии будущего. Основной труд — "Исследование истории" (1934 — 1961).

⁴⁷Немцы Поволжья имели не только культурную автономию, но и имели собственную автономную республику. 19 октября 1918 года в составе РСФСР была образована Трудовая коммуна немцев Поволжья, позднее получившая статус Автономной области с центром в городе Маркс (до 1920 года — Баронск). 19 декабря 1924 года автономная область преобразована в Автономную республику немцев Поволжья с центром в городе Энгельс. АРНИ входила в состав РСФСР и просуществовала до 28 августа 1941 года, когда решением Сталина была упразднена, а население было обвинено в сотрудничестве и сочувствии Гитлеру. До упразднения

АРНП занимала площадь в 28,8 тысяч кв. км и ее населяло 605 тысяч человек. С 1942 года начались массовые депортации поволжских немцев в Казахстан, продолжавшиеся почти до 1954 года. 28 августа 1965 года вступил в силу Указ о реабилитации поволжских немцев (опубликован 5 января 1965 года).

Однако до сих пор, несмотря на многочисленные требования и обращения немецкого населения, им не возвращена автономия. В Советском Союзе выходит единственная и малопопулярная газета на немецком языке "Neues Leben", очень мало немецких национальных школ, нет немецких театров и других культурных учреждений, как это было до войны. Все это послужило причиной массовой репатриации немцев в ФРГ и частично в ГДР. По некоторым оценкам, около 15 — 20 тысяч немцев выезжает ежегодно из СССР на постоянное жительство в ФРГ.

⁴⁸Советские и английские войска вошли в Иран 25 августа 1941 года.

⁴⁹26 января 1944 года в "Правде" появилось "Сообщение Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров". В нем, в частности, говорилось: "Данными судебно-медицинской экспертизы с несомненностью устанавливается:

а) время расстрела — осень 1941 года;

...Выводы из свидетельских показаний и судебно-медицинской экспертизы о расстреле немцами военнопленных поляков осенью 1941 года подтверждаются вещественными доказательствами и документами, извлеченными из катынских могил".

В состав Комиссии входили: академик Н. Н. Бурденко (председатель), академик Алексей Толстой, Митрополит Николай, Председатель Всеславянского комитета генерал-лейтенант А. С. Гундоров, Председатель Исполкома союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца С. А. Колесников, Нарком просвещения РСФСР академик В. П. Потемкин, Начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии генерал-

полковник Е. И. Смирнов, председатель Смоленского облизполкома Р. Е. Мельников.

⁵⁰Ванда Василевска (1905 — 1964) польская писательница, лауреат Государственных премий СССР (1943, 1946, 1952), депутат Верховного Совета СССР (1940). Во время войны занималась созданием альтернативного просоветского польского правительства. Член КПСС с 1941 года. Хотелось бы также обратить внимание на две неточности автора. Николай Бурденко был известным военным хирургом, но никогда не был личным врачом Сталина. По словам советского историка Роя Медведева, Сталин вообще старался обходиться без врачей. И второе. Алексей Толстой не имеет никакого отношения к графскому роду Толстых и к аристократии вообще. Писатель Иван Бунин в своих воспоминаниях ("Окаянные дни" и "Под серпом и молотом") пишет, что все "графство" Толстого было чистой фикцией, да и сам он был очень не чист на руку. Так, причиной его возвращения из эмиграции в СССР, по словам Бунина, была афера с продажей им несуществующего имения в России, повлекшая за собой шумный скандал. Митрополит Николай также не отличался моральной чистоплотностью, хотя к концу жизни изменил свою политику компромисса с режимом и умер в опале. Нам кажется, что едва ли можно доверять выводам Комиссии, состоящей из таких людей.

Полковник польской армии Берлинг был захвачен Красной армией в плен в 1939 году, содержался в Лубянской внутренней тюрьме. 30 октября 1940 года с ним и еще несколькими польскими офицерами встретились Берия и нарком НКГБ Меркулов. В ходе беседы они предложили полякам участвовать в возрождении новой Польши, т.е. такой, какая существует в наше время, и в создании польской армии на территории СССР. Берлинг дал свое согласие и высказал соображение, что несколько тысяч пленных польских офицеров могут оказать существенную помощь в деле возрождения польских вооруженных сил. На это, как пишет в своей книге "Катынь" Юзеф Мацкевич, Меркулов ответил: "Да, поторопились мы с ними, поторопились..." На следую-

щий день, 31 октября, он и еще четырнадцать польских офицеров были переведены на дачу в подмосковном поселке Малаховка (поляки называли ее "дачей роскоши"). Там их снабдили литературой, проводились политзанятия. Позже, правда, выяснилось, что из пятнадцати человек только Берлинг оправдал возложенные на него надежды. После подписания советско-польского договора 1941 года СССР был на грани отказа от концепции Демократической Польши, и все пятнадцать офицеров были отправлены в расположение корпуса генерала Андерса. Однако вскоре, как сказано в приказе №36 по польской армии на Востоке, Берлинг дезертирует со своего поста в Красноводске и предлагает Сталину свои услуги. Этим же приказом Берлинг навечно лишается звания польского офицера. В 1943 году он получает от Сталина чин генерала и продолжает формировать Войско польское, ставшее, как и сам Берлинг, послушным орудием в руках СССР. После 1944 года о Берлинге нет никакой информации.

⁵¹В Заключении судебно-медицинской комиссии, подписанном 24 января 1944 года главным судебно-медицинским экспертом Наркомздрава СССР В.И.Прозоровским, профессором судебной медицины 2-го Московского медицинского института В.М.Смоляниновым, профессором патологической анатомии Д.Н.Воропаевым, старшим научным сотрудником танатологического отделения Государственного научно-исследовательского института судебной медицины Наркомздрава СССР П.С.Семеновским и старшим научным сотрудником судебно-медицинского отдела того же института М.Д.Швайковой, говорится:

"Судебно-медицинская комиссия, основываясь на результатах судебно-медицинских исследований трупов, приходит к следующему заключению:

По раскрытии могил и извлечению трупов из них установлено:

е) ткань одежды, особенно шинелей, мундиров, брюк и верхних рубашек, хорошо сохранилась и с большим трудом поддается разрыву руками;

ж) у очень небольшой части трупов (20 из 925) руки оказались связанными позади туловища с помощью белых плетеных шнуров.

...Судебно-медицинское исследование трупов, проведенное в период с 16 по 23 января 1944 года, свидетельствует о том, что совершенно не обнаружено трупов в состоянии гнилостного распада или разрушения и что все 925 трупов находятся в сохранности — в начальной стадии потери трупом влаги (что наиболее часто и резко было выражено в области груди и живота, иногда и на конечностях; в начальной стадии жировоска; в резкой стадии жировоска у трупов, извлеченных со дна могил).

⁵²Имеется в виду так называемая "Секретная речь Хрущева на XX съезде КПСС", произнесенная им на закрытом заседании 25 февраля 1956 года. Речь эта до сих пор не была опубликована в официальной советской печати, нет ее и в Стенографическом отчете XX съезда. Правда, в 1988 году по инициативе Эстонского народного фронта Речь была опубликована в Таллине. Но доступ к этой публикации также ограничен — она была опубликована по-эстонски. Стоит также заметить, что Речь на XX съезде была только началом наступления на сталинизм. Наиболее полно, в подробностях преступления того времени были названы на XXII съезде, уже после укрепления положения Хрущева. Впрочем, и на XX, и на XXII съездах речь шла только о преступлениях тридцатых годов. До того и после того вроде бы все было в рамках законности, народ героически строил коммунизм, а со стороны руководства страной имели место лишь, так сказать, единичные случаи отступления от "ленинских норм".

⁵³Здесь, видимо, стоит говорить не только о партийном аппарате, но обо всей правящей верхушке, включая высшие эшелоны власти профсоюзов, государственных организаций, комсомола и т.д. То есть о всех тех, кого известный историк Михаил Восленский обозначает паразитирующим классом — номенклатурой. Причем, со времени Хрущева этот класс значительно разросся. 1 октября 1987 года, высту-

пая в Мурманске, Михаил Горбачев назвал колоссальную цифру номенклатурных работников — 18 миллионов, или по одному на каждые шесть человек самостоятельного населения. Чуть раньше, в еженедельнике "Аргументы и факты" (№35, 5 — 11 сентября 1987 г.), появилась статья, в которой указывалось, что именно номенклатурные работники, отобранные по их идеологическим, политическим и административным способностям, и являются основным элементом управления страной. Правда, неделю спустя после выступления Горбачева в программе Московского телевидения "Вопросы теории. Механизм торможения", с участием главного редактора партийного журнала "Коммунист" С. В. Колесникова, номенклатура была названа одним из сильнейших тормозов политики перестройки. И автор совершенно прав, говоря, что этот новый класс всячески сопротивляется любым переменам, любой гласности. Достаточно вспомнить кампанию в советских газетах перед XXVII съездом против номенклатурных привилегий, которая заглохла буквально через пару недель, а закрытые Горбачевым распределители вновь открылись и стали исправно работать. По мнению многих западных советологов, этот небольшой на первый взгляд эпизод почти на год затормозил горбачевские реформы. И еще сейчас номенклатура яростно сопротивляется не только перестройке, но и десталинизации, которые, строго говоря, так или иначе приведут если не к искоренению номенклатуры, то, минимально, к сокращению ее привилегий и власти.

⁵⁴Имеется в виду изданная московским издательством "Наука" в 1965 году книга А. М. Некрича "1941. 22 июня". В этой работе автор возлагает всю вину за поражения в начале войны на Сталина, уничтожившего цвет советского армейского командования, и на бездарность Буденного и Ворошилова. Кстати, книга послужила поводом к эмиграции А. М. Некрича на Запад. Дело в том, что книга, написанная с позиции антисталинизма, пришлась не ко двору тогдашним советским правителям, проводившим явную политику реабилитации Сталина и сталинизма. Ее появление было началом

полосы травли автора. Позже книга была изъята из всех локальных библиотек, а в центральных — переведена в так называемые отделы спецхрана.

⁵⁵Несмотря на то, что крымские татары действительно были реабилитированы, несмотря на создание осенью 1987 года специальной комиссии Президиума Верховного Совета СССР во главе с А. А. Громыко и несмотря на постоянные петиции, обращения, голодовки и демонстрации крымских татар, им до сих пор не разрешено вернуться в Крым. Более того, те из них, кто все же пытается поселиться на родине предков, высылаются по месту жительства в административном порядке. Такова ситуация и с другими депортированными народами.

⁵⁶Постановление о мавзолее В. И. Ленина, в котором предусматривается вынос оттуда саркофага с телом Сталина и захоронение его у Кремлевской стены, было на самом деле принято на XXII съезде КПСС (см.: Материалы XXII съезда КПСС. Москва, 1962, с. 449).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	7
Гл. 1-я. Надвигающаяся буря	11
Гл. 2-я. Мобилизация	45
Гл. 3-я. От Петркува до Катыни	52
Гл. 4-я. От Катыни до Куйбышева	121
Гл. 5-я. Куйбышев	226
Гл. 6-я. Дорога в Тегеран	272
Гл. 7-я. Рапорт о пропавших офицерах	304
Гл. 8-я. Катынь с перспективы тридцати лет	321
Гл. 9-я. Диалектика Катыни	341
Гл. 10-я. Хотел ли Хрущев сказать правду о Катыни?	349
Гл. 11-я. Катынь и советско-немецкий союз	355
Гл. 12-я. Россия и Польша	365
Примечания	370

